

АЛЕКСЕЙ ХОМЯКОВ / ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

АЛЕКСЕЙ ХОМЯКОВ

ИЗБРАННЫЕ
СОЧИНЕНИЯ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

АЛЕКСЕЙ ХОМЯКОВ

ИЗБРАННЫЕ
СОЧИНЕНИЯ

ПОД РЕД. ПРОФ. Н. С. АРСЕНЬЕВА



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

1955

SELECTED WORKS
OF ALEXEI KHOMYAKOV
Edited by PROF. NICHOLAS ARSENIEV

Copyright, 1955, by
CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.

Printed in the United States of America

А. С. ХОМЯКОВ

(Его личность и мировоззрение)

1.

14-го мая 1954 г. исполнилось сто пятьдесят лет со дня рождения А. С. Хомякова. Алексей Степанович Хомяков (1804-1860) — один из руководящих деятелей в истории русской культуры и русской духовной жизни 19-го века. Поэт, историк-мыслитель, богослов, сельский хозяин, общественный деятель (один из тех, кто подготовили освобождение крестьян), горячий патриот и вместе с тем человек вселенской широты духа, горячо верующий христианин и проповедник духовной свободы и честности мысли и уважения к научному мышлению (ибо Истина одна, и люди призваны служить ей в свободе духа), один из основателей «славянофильского» течения, и вместе с тем тесно связанный с западной культурой, педагог по призванию в своем воздействии на пытливые, жаждущие истины и честного подхода к ней молодые души, и рыцарь духа — вот как многосторонне проявилась его богатая личность. Друг поэтов Веневитинова и Языкова, писателя-романтика князя В. Ф. Одоевского, братьев Киреевских (Ивана — философа и Петра — собирателя народных песен), семьи Аксаковых, приятель Пушкина, историка Погодина, фольклориста и слависта Гильфердинга, а также Чаадаева, Грановского и молодого Герцена (несмотря на резкое различие во взглядах с тремя последними), вдохновитель деятелей эпохи Великих реформ Ю. Самарина, А. И. Ко-

шелева, князя Черкасского, председатель Общества Любителей Российской Словесности, приветствовавший в 1859 г. вновь избранного в его члены молодого Льва Н. Толстого, — Хомяков теснейшим образом связан со своей эпохой, с ее цветением, борением, исканиями, ее культурными и общественными мечтами, усилиями и достижениями. Но он не растворяется в своей эпохе, он вырастает за пределы ее — своей духовной устремленностью, своей жадной служения Высшей Правде.

2.

Хомяков родился 1 мая 1804 года в Москве на Ордынке. Отец его, Степан Александрович, человек очень образованный, составил в с. Богучарове превосходную библиотеку, особенно французских авторов 18-го века. Тон в семье задавала мать Мария Алексеевна, рожденная Киреевская, которая спасла семью от разорения (отец очень расстроил хозяйственные дела семьи), была необычайно энергична, умна, сильна духом. Сын сравнивал ее с суворовскими солдатами, «с их силой неисчерпаемой и неукротимой». Она же руководила и воспитанием детей и оставила в их душе неизгладимый след. Она была очень высокого нравственного уровня, была глубоко религиозна. Мария Алексеевна научила сына с ранних лет «всем сердцем участвовать в молитве о единении Церквей». Однажды она призвала своих уже подрастающих сыновей и взяла с них торжественное обещание сохранить целомудрие до вступления их в брак; того из них, кто не сдержит слова, она грозила лишить своего благословения. Но все сыновья сдержали это слово. Наполеоновские войны, пожар Москвы в 1812 году и кампания 1813-1815 гг. произвели огромное впечатление на Алексея и его брата Федора. Они собирались сражаться с Наполеоном. Поэтому оба были разочарованы, узнав о сражении под Ватерлоо. «С кем мы пойдем сражаться?» — спрашивал Федор.

«Я подыму славян», — отвечал 11-летний Алексей. Живя с начала 1815 года в Петербурге, мальчики усиленно учились дома под руководством французского аббата-эмигранта *abbé Bouvin*, большого знатока латыни. Алексей 14 лет читал в подлиннике «Германию» Тацита и старался переводить оды Горация и отрывки из Вергилия. Он изучал одновременно греческий язык у своего гувернера Арбэ, греческого патриота, агента Общества Филэлленов. Преподавателем русской литературы юных Хомяковых был драматург Жандр, друг Грибоедова. Уже рано Алексей стал интересоваться богословскими вопросами, и любил спорить. Однажды читая одну папскую буллу, он заметил в ней орфографическую ошибку и спросил бедного *abbé Bouvin*: как же это Папа непогрешим, если он делает орфографические ошибки? После двух лет, проведенных в Петербурге, Хомяковы вернулись в Москву. Алексей закончил свое среднее образование под руководством профессоров, затем поступил в Московский Университет и окончил его со степенью кандидата математических наук. Но мечты его школьного возраста не покидали юношу. В один зимний вечер 1821 года он решил бежать из дома, чтобы сражаться за греков. Он запасся 30 рублями, ножом, который спрятал в сапог, и подложным паспортом (который ему доставил филэллен Арбэ). Но верный дядька Артемий следил за своим барчуком и сразу после бегства сообщил отцу в Английский Клуб, что уже полночь, а «Алеши всё нет». Опросили старшего брата Федора, бросились искать 17-летнего беглеца и нашли его уже за Серпуховской заставой.

Алексей Степанович заканчивал университет с очень солидным научным багажом: у него были серьезные познания в области точных наук, истории и литературы. Кроме древних языков, он хорошо знал немецкий, свободно писал и говорил по-английски и по-французски. Одновременно вместе со своими друзьями и сверстниками из кружка Веневитинова («Общества любомудрия», как они себя называли), Хомя-

ков с увлечением занимался философией, особенно романтической философией Шеллинга и близких к нему мыслителей, хотя основы его религиозного мирозерцания определились уже с ранних лет. В 1827 году кружком молодых людей стал издаваться «Московский вестник», наполненный статьями по философии, истории культуры и литературы, где Хомяков стал печатать свои первые стихи ярко романтической окраски. Но Хомяков еще не был уверен, что его призвание — в умственной деятельности. Весной 1822 года 18-летний Алексей, по совету отца, поступает в Астраханский кирасирский полк в Ново-Архангельске, а с осени 1822 года переходит в Кавалергардский полк. Молодой офицер встречается с будущими декабристами. Он с ними разделяет их горячие национальные чувства, но всякое насильственное внедрение западных форм правления, которыми увлекались будущие декабристы, и особенно всякая идея насильственного военного переворота ему глубоко неприемлемы, и он полемизирует с ними. По семейным преданиям, он вел в полку аскетическую жизнь: спал на голых досках, вместо подушки клал себе под голову огромный лексикон. Через два года (1824 г.) он выходит в отставку, но поступает опять на военную службу в 1828 году, когда Николай Павлович призывал русских людей взяться за оружие «на защиту Святой Православной Церкви и Отечества». Хомяков отличился в битве под Шумлой. Характерно, что при преследовании бегущего неприятеля он дважды заносил руку с палахом для удара, но не мог решиться ударить бегущего (срв. его позднейшее стихотворение “*Ritterspruch — Richterspruch*”). В январе 1830 года после заключения мира Хомяков окончательно покидает военную службу и возвращается в Москву, деля отныне свое время между Москвой и деревней. Но еще до участия своего в войне в 1825-1826 гг., молодой Хомяков провел 18 месяцев в Париже, занимаясь особенно литературой и живописью и посещая французские театры. В конце 1826 года Хомяков по-

кинул Париж и вернулся в Россию через Северную Италию (Милан, *Isola Bella*), Швейцарию и славянские страны Австрии. Это путешествие по славянским странам оставило в нем неизгладимое впечатление, он «был принят, — пишет он впоследствии, — в славянских землях, как любимый родственник, посещающий свою семью» (Сочинения, т. I, стр. 97). Вернувшись в Россию, Хомяков пишет ряд стихотворений. С большим успехом ставится на сцене написанная им еще в Париже лирическая трагедия «Ермак», а в 1832 году он заканчивает другую трагедию «Димитрий Самозванец» с большим уже, по сравнению с первой драмой, развитием и характеров и драматического действия. Но призвание Хомякова не лежало в этой области — это он вскоре понял. Он обладал двумя великими дарами — яркости, горячности и мужественности мысли, несравненным даром живого слова, будящего, покоряющего умы и сердца. Это до известной степени предопределило дальнейший путь деятельности Хомякова.

5 июля 1836 года Хомяков женится на Екатерине Михайловне Языковой, сестре поэта Языкова. Он был необыкновенно счастлив в семейной жизни. Жена была «солнцем» его жизни. Я нарочно более подробно остановился на этом первом, формационном периоде его жизни, когда в значительной степени выработался его характер и сложились его убеждения, чтобы в самых кратких чертах добавить несколько фактов, касающихся второй половины его жизни.

Большое впечатление производит на него путешествие в Англию в 1847 г. В 1852 г. умирает его жена, это для него — огромное нравственное потрясение, но жизнь его не останавливается, в скрытых глубинах своих она переходит на более высокий план, внешне продолжается кипучая умственная, общественная, литературная, педагогическая жизнь. Алексей Степанович умирает еще во цвете лет — 22 сентября 1860 г. от неожиданного острого заболевания холерой. Когда ему накануне кончины стало вдруг лучше и приятель

сказал ему в ободрение: «Смотрите, какой хороший у вас стал вид, как глаза у вас посветлели», — Хомяков ответил: «А завтра как посветлеют!» Его жизнь есть редко встречающееся проявление необычайного и последовательного посвящения себя и своих сил единой высшей цели — проповеди и словом и делами той Высшей Правды, которой он служил всем своим существом.

Несколько слов еще о литературном наследстве Хомякова и о настоящем сборнике избранных его сочинений.

Из стихотворений Хомякова, относящихся к раннему его, романтическому периоду, выбраны только немногие; зато стихотворения зрелого возраста помещены почти полностью.

Из религиозных его сочинений, занимающих второй том Полного собрания, помещен краткий очерк изложения веры (обозначаемый обыкновенно двумя первыми словами текста: «Церковь одна») — одно из самых замечательных религиозных писаний Хомякова. Из его трех знаменитых «Писем Православного христианина о западных исповеданиях» (написанных по-французски и напечатанных в 1853 г. в Париже, в 1855 г. и 1858 г. в Лейпциге и отдельной книгой в 1872 г. в Лозанне) приведены большая часть первого письма и отрывки из второго и третьего.

Из его публицистических и историко-философских и историко-культурных статей, занимающих в Полном собрании сочинений 1900 года два тома (I и III), выбрано только несколько.

Я старался привести побольше его писем (частью целиком, частью в выдержках), этих документов неосценимого значения для истории русской духовной жизни и культуры. Они занимают весь VIII том Полного собрания сочинений. Целая эпоха и личность самого Хомякова встают из этих писем, таких ярких и непосредственных. Некоторые самые замечательные

его свидетельства о ценностях и реальностях духовных мы находим в его письмах.

Сочинения Хомякова перепечатаны из восьмитомного Полного собрания 1900 года изданного под редакцией его сына — Д. А. Хомякова.

Из книг о Хомякове самая замечательная вышла на французском языке в 1939 году: A. Gratieux "A. S. Khomiakov et le Mouvement Slavophile". Tome I: "Les Hommes" (XXXIV & 197 pp.); Tome II: "Les Doctrines" (265 pp.). Paris, Les Editions du Cerf (29, Bd. de Latour-Maubourg). Gratieux долго прожил в начале 20-го в. в России и был другом сына Хомякова — Дмитрия Алексеевича. Эта книга замечательна по глубине понимания и по богатству сведений (многое из биографических данных об А. С. Хомякове Gratieux собрал из устных преданий семьи). Религиозное значение и нравственная личность его обрисована в этой книге с большой яркостью и силой. Обстановка, в которой действовал Хомяков, обрисована мною в моей книге "Holy Moscow", Chapters on the religious and spiritual life in Russia in the 19th century. London. Society for Promoting Christian Knowledge. 1940, вышедшей одновременно и по-немецки ("Das Heilige Moskau", Schöningk-Verlag. Paderborn, 1940 г.), а позднее по-французски ("La Sainte Moscou", Paris, Editions du Cerf, 1949 г.). В ней специальная глава посвящена Хомякову.

3.

Для личности и деятельности Хомякова питающей основой является та духовная реальность, которую он пережил и осознал с такой силой — великий поток духовной и творческой традиции. Или еще вернее: веяния того Духа жизни, о котором он пишет:

Былое в сердце воскреси
И в нем сокрытого глубоко
Ты духа жизни допроси!

того творческого Духа, который творит жизнь и преобразяет жизнь, — вот основание вдохновения его жизни и его проповеди. Ибо у Хомякова это не пантеистическое возвеличение и обожествление самого стихийного потока окружающей жизни, данного нам исторического и природного процесса, в стиле философии Шеллинга: у него мы имеем провозглашение высших духовных сил, долженствующих преобразить и творчески изменить всю ткань жизни. Это — ощущение их невидимого, неслышного роста в глубинах жизни, это — убеждение в том, что духовное, высшее, божественное призвано преобразить жизнь и что теперь этот процесс уже начался, без внешних эффектов, в сокровенных тайниках жизни. Взору Хомякова как бы постоянно предносится евангельская притча о зерне горчичном. Оно меньше всех семян, но когда произрастет, то бывает выше всех злаков, и птицы небесные укрываются в ветвях его. Не показное, внешне-эффектное, а глубинное важно — то, что изменяет и перерождает жизнь в самых ее основаниях. Духовные корни жизни — решающие. В тишине, в глубинах зарождается и действует подлинная жизнь; в тишине совершается подлинное созревание. Здесь совершаются величайшие перемены и перевороты духовные. Здесь нарождаются, накапливаются и действуют творческие силы, которые потом, по достижении духовной зрелости, не могут не проявиться и во вне и творчески определить жизнь. Эта тихая, творческая динамика духа, жизни духа — самая действительная, самая действенная: она-то и определяет внешнюю жизнь, она-то и творит подлинную историю.

Блаженна мысль, которой не светила

(пишет он по поводу знаменитой картины Александра Иванова)

Людской молвы приветная весна, --
 — Безвременно родиться не спешила
 В листы и цвет ее молодая сила,
 Но корнем вглубь врывалась она.

И ранними и поздними дождями,
 Вспосная, внезапно к небесам
 Она взойдет, как ночь темна ветвями,
 Как ночь в звездах, осыпана цветами,
 Краса земли и будущих веков!

Поэтому, «есть правило, — пишет он в письме к Ю. Ф. Самарину, — которого в историях нет, но которое в истории несомненно: передовые люди не могут быть двигателями своей эпохи; они движут следующую, ибо современные им люди еще не готовы» (3 октября 1858 г.).

Но можно, тем не менее, говорить о п р и з в а н и и, к которому мы все призваны: содействовать росту духовных сил в себе и в мире, участвовать в процессе просветления мира и жизни изнутри силою Духа. «Всякий стоит на высшей службе, — пишет он Ю. Ф. Самарину, — только бы нам оказаться верными деятелями!»

В незаметности, упорности и верности совершается подвиг дела Божия; блажен, кто достоин участия в нем! Пусть современники, пусть окружающий мир не признают этого великого дела, — оно совершается для будущей жатвы Господней, оно не останется бесплодным. Поэтому «не жалейте о подвиге мыслителей, как будто пропавшем даром... Семена, посеянные давным давно, должны дать плод, и не даром пропадает труд того, кто приближает время спелости» (15 сент. 1843 г. из письма к Ю. Ф. Самарину). Поэтому «сейте, где можно и сколько можно; где взойдет, того никто не возьмется сказать» (Ю. Ф. Самарину, 1855 г.). «Те, которые посвятили себя великому всемирному труду христианского воспитания (а вне этого труда мы и значения никакого не имеем), — те прежде всего должны быть терпеливы» (1 марта 1849 г.). «Мы же должны знать, что никто из нас не доживает до жатвы и

что наш духовный и монашеский труд пашни, посева и полотья есть дело не только русское, но и всемирное. Эта мысль одна только может дать ему силу и постоянство» (из письма к Самарину, начала 1845 г.).

Мировая история не только как цепь событий, но и как непрестанная духовная борьба, как подвиг духа! Ибо именно требуется неослабное усилие, непрестанная борьба. Истинная борьба есть духовная борьба. Борьба, к которой мы призваны, «не только вековая, но и вечная» — за Правду Божию. Все наши выводы должны слиться «в один общий вывод о с в о б о ж д е н н о й жизни», духовно освобожденной.

Таким образом поле жизни, поле истории есть поле действия духовных сил. В этом контексте, исходя от необходимости д у х о в н о г о роста, духовного в н у т р е н н е г о изменения и преображения, становятся понятными эти, казалось бы, слишком решительные слова Хомякова: «Только медленно и едва заметно творящееся полезно и жизненно: все быстрое идет к болезням».

4.

Для Хомякова, для его мысли и личности характерны м у ж е с т в е н н о с т ь и т р е з в е н н о с т ь. Великое совершается в тишине — в это он верит. И он проповедует м у ж е с т в о в тишине, скромности и трезвенности духа. Внутренняя простота и подлинность, соединенная с внутренним горением; истинный пафос, боящийся внешних эффектов и шумихи — все это черты духовного облика Хомякова, так ярко сказавшиеся в его мирозерцании.

Вообще Хомяков — мы видели — чрезвычайно одаренная и многогранная личность. Он — мыслитель и ученый, богослов и знаток истории, и русской, и западной, и древней (глубоко и подробно изучивший, например, эпоху великого переселения народов, общественный строй Средних веков, борьбу пап с императорами), он большой специалист по истории Церкви,

ученик по духу великих восточно-христианских наставников духовной жизни, и вместе с тем — он прошел через школу западной философской мысли, воспитался мысленно на германской идеалистической философии, особенно на Шеллинге и Гегеле, и внутренне преодолел ее; глубоко ценит Паскаля. Он вырос на великих образцах художественной литературы Запада, знает великие произведения литературы Греции и Рима, Франции, Англии, Италии и Испании, превосходно владеет западно-европейскими языками, пишет свои три знаменитых «Письма православного христианина» на изумительном по силе и блеску, отточенности и вескости французском языке (по своему стилю он — ученик Паскаля), ведет на английском языке сложную и длинную богословскую переписку с деятелем церковного обновления в Англии, Вильямом Пальмером. Он вместе с тем страстный сельский хозяин, человек не только напряженнейшего умственного труда, но и усиленной практической деятельности. Он облегчает положение своих крестьян (переводит их с барщины на оброк, при этом на условиях, выработанных самими крестьянами вместе с ним, весьма выгодных для крестьян) и является горячим проповедником их освобождения (ему принадлежат слова: «Христианин может быть рабом, но не должен быть рабовладельцем»), подчеркивающим необходимость освобождения их с з е м л е й (см. его письмо к графу Я. И. Ростовцеву). Его интересуют вопросы народной гигиены, борьбы с эпидемиями (особенно с холерой), устройство крепко накатанного санного пути по снежным пространствам России зимой, вопросы сельскохозяйственной техники — он изобретает паровой двигатель для сельскохозяйственных работ и посылает его под названием «*Silent Motor*» на международную сельскохозяйственную выставку в Лондоне, где получает похвальный отзыв (но только этот «*Silent Motor*» оказался таким шумным, что когда его для пробы завели в одном частном доме в Лондоне, то посыпались решительные протесты от жителей окружающих до-

мов против невыносимого шума). Он изобретает ружье нового усовершенствованного типа во время Крымской кампании, заказывает его модель на Тульском оружейном заводе и предлагает бесплатно правительству для вооружения им русской пехоты (которая была снабжена ружьями устаревшего типа); он придумывает новые технические приемы для сахароварения. Ввиду сознания им необходимости крестьянской эмансипации и его отказа уже за много лет до этого от барщины в своих имениях, он всецело переходит у себя на вольнонаемный труд и подчеркивает в письмах и беседах необходимость технического улучшения методов сельского хозяйства.

Вместе с тем Хомяков и великий п е д а г о г: он умеет будить души, особенно у молодежи, возбуждать в них жажду истины и объективного, честного, непредвзятого подхода к ней. Сила его педагогического воздействия объясняется между прочим его глубоким уважением к чужой свободе, его убеждением, что только свободно и честно ищущему открывается Истина. Он не боится свободных исканий, сомнений, возражений. Он особенно любит тех, кого он называет «свирепой молодежью», и умеет стать временно на ее точку зрения и помогает ей искать истину, действуя сократическим путем наведения и добросовестного исследования. Он верит в реальность Божественной Истины и в то, что ей нечего бояться. Он радуется поэтому успехам науки, подчеркивает важность и ценность и огромное нравственное значение свободного научного развития, призывает к свободе духа, к мужественной пытливости свободного человека, к честности мысли. Но он убежден вместе с тем, что «тайник жизни и ее внутренние источники недоступны для науки и принадлежат только любви» (из письма к Ю. Самарину).

Хомяков вместе с тем — ж и в о й человек, легкий в общении, полный сердечности и добродушия, любитель природы и верховой езды, страстный охотник. Он — любящий, горячо любящий семьянин, трогательный и нежный муж и отец. Он чужд всякой на-

рочитости, напыщенности, ценит в людях простоту и веселость («веселонравие!» — вот, например, что является решающим при выборе им английской гувернантки для детей); в нем много юмора. Как забавны, например, его добродушные насмешки над московской культурной и умственной жизнью, похожей часто на спячку (заметьте себе при этом, что он — страстный поклонник и любитель Москвы): «Наше московское житье-бытье идет по-старому, в сладкой и ненарушимой праздности, в отвлеченностях, в беседах довольно живых, вертящихся все около одних каких-нибудь предметов, которые идут на месяцы и годы... Записка ежедневных (разговоров) может быть легко заключена в следующей форме: «те же и о том же». Ежегодное повторение одних и тех же бесед очень похоже на оперу в Италии: одна идет целый год, и слушателям не скучно... Мы называем такие беседы «движением мысли», но Языков уверяет, что это не движение, а только моцион» (из письма к Веневитинову, февр. 1843 г.). Про своего друга Петра Вас. Киреевского он пишет: «П. В. Киреевский, прославившийся, как он сам говорит, не-изданием русских народных сказок»... (из письма к Веневитинову).

Уже здесь, в этих шутливых замечаниях, мы слегка прикоснулись к одной очень замечательной черте в духовном облике и во всей деятельности Хомякова: он постоянно мерит тех, кого он любит, и то, что он любит, по одному всепревозмогающему, конечному, решающему мерилу. Чем больше любишь — истинной, духовно-просветленной любовью, тем больше жаждешь, чтобы предмет любви был достоин, соответствовал своему призванию: быть служителем Истины. Эта высшая Истина и есть Мерило, решающее и преобразующее.

Это в полной мере относится к страстной любви Хомякова к своему народу. Всем существом своим не-расторжимо чувствует он себя связанным с русским народом. «Отечество, — пишет он в своей статье «Мнение русских об иностранцах», 1846 г., — не условная

вещь. Это не та земля, к которой я приписан, даже не та, которой я пользуюсь и которая мне давала с детства такие-то и такие-то права и такие-то или такие-то привилегии. Это — та страна и тот народ, создавший страну, с которым срослась вся моя жизнь, все мое духовное существование, вся целость моей человеческой деятельности. Этот народ, с которым я связан всеми жилами сердца и от которого оторваться не могу, чтобы сердце не изошло кровью и не высохло».

Истинная любовь делает зорким, открывает такие сокрытые возможности в любимом существе, которые сокрыты от нелюбящего взора. Но эта любовь с болью видит и несоответствие любимого предмета с тем, чем он призван быть. Ее высшее честолюбие — чтобы предмет ее любви был служителем Высшей Истины. Это было высшим честолюбием Хомякова для его народа: чтобы он был служителем Истины. На этом мы еще раз подробнее остановимся.

5.

Перед нами встала динамическая, разносторонняя личность с богатой, разносторонней деятельностью. Мы были бы неправы, если бы опустили еще один важный, решающий момент — внутренней борьбы, с а м о п р и н у ж д е н и я. Хомяков беспрестанно борется в себе с тем, что он называет «тихим сном» или «душегубительной ленью», с ленивым самоуслаждением и расслабленностью духовной.

Как часто во мне пробуждалась
Душа от ленивого сна, —

воскликает он.

«Жизнью своею доволен ли я? — пишет он (6 авг. 1852 г.) Самарину. — Нет; но кажется, что я не совсем так плох и слаб, как был и боюсь снова сделаться; но все еще ленив, ленив, и напряжение тяжело. Другое

дело у меня хорошо ладится: это — уничтожение барщины».

Что же является источником, из которого вдохновляется вся его деятельность? Мы уже видели: высшей, вдохновляющей целью является для него *с л у ж е н и е И с т и н е*.

Из этого идеала служения Истине черпает он свое вдохновение и силу самопринуждения и духовного подвига. Он верит, что мы все призваны к этому служению Истине — и отдельные лица и целые народы. И ценность и достоинство и человека и народа определяется этим служением.

О вспомни свой удел высокий,
Былое в сердце воскреси
И в нем сокрытого глубоко
Ты духа жизни допроси!

— так — мы видели — обращается он к России. Без этого служения Высшей Истине мы — ничто, и народ — ничто, и нет смысла в человеческой истории.

«Внимай ему (то есть этому «духу жизни»), — говорит он дальше в своем обращении к России, — и все народы,

Обняв любовью своей,
Открой им таинство свободы,
Сиянье света им пролей!

В чем же этот «свет», эта Истина? Что или кто является для Хомякова ее источником и выражением?

Его ответ — ответ и всей жизни его и всего его мирозерцания и его писаний — вполне определенный и ясный. Предмет его восторженной любви и поклонения — Тот, Кому он служит, и Кто, вместе с тем, есть Центр и Смысл мировой истории, вдохновляющий смысл и цель борений и надежд и духовных исканий и духовного роста человечества, — Тот, Кому Хомяков отдал свое сердце и Которого он всей жизнью своею признал, как Господа и Владыку, — Воплощенная Божественная Любовь.

Вот как он рисует Его на фоне исторической обстановки:

Широка, необозрима,
Чудной радости полна,
Из ворот Иерусалима
Шла народная волна.
Галилейская дорога
Оглашалась торжеством:
«Ты идешь во имя Бога,
Ты идешь в свой царский дом!
Честь Тебе, наш царь смиренный,
Честь Тебе, Давидов сын!»

Так, внезапно вдохновенный,
Пел народ. Но там один,
Недвижим в толпе подвижной,
Школ воспитанник седой,
Гордый мудростию книжной,
Говорил с усмешкой злой:
«Это ль царь ваш, слабый, бледный,
Рыбаками окружен?
И зачем он в ризе бедной,
И зачем не мчится он,
Силу Божью обличая,
Весь одетый черной мглой,
Пламенея и сверкая
Над трепещущей землей?»...

И века прошли чредою
И Давидов сын с тех пор,
Тайно правя их судьбою,
Усмиряя тайный спор,
Налагая на волненье
Цепь любовной тишины,
Мир живит, как дуновенье
Наступающей весны.
И в трудах борьбы великой
Им согреты сердца
Узнают шаги Владыки,
Слышат сладкий зов Отца... (1858).

Но более того: есть высший, казалось бы, недоступный нам, иной таинственный «надзвездный» мир, — мир жизни Духа, тайны которого раскрываются нам, если «вглядеться душой в писанье Галилейских рыбаков», —

И в объеме книги тесной
 Развернется пред тобой
 Бесконечный свод небесный
 С лучезарною красой.

Узришь: звезды мыслей водят
 Тайный хор свой вкруг земли
 Вновь взглядись — другие всходят;
 Вновь взглядись, и там, вдали

Звезды мыслей, тьмы за тьмами,
 Всходят, всходят без числа,
 И зажжется их огнями
 Сердца дремлющая мгла.

(1853 г.)

6.

Мы видели двигающую стихию мысли и жизни Хомякова. Остановимся теперь несколько внимательнее на основном содержании его духовного наследства — на тех темах, разработке и проповеди которых он посвятил свое творчество и свою жизнь.

Одна из его тем, уже слегка затронутая нами, особенно животрепещуща именно сегодня. Это — вопрос об отношении народа к Божественной, над-народной Правде. Хомяков — великий противник самопревозношения народного, ему претит, когда народ ставит самого себя во главу угла, как некую самодовлеющую величину, как решающий конечный источник и нравственных оценок и нравственного вдохновения. Для Хомякова это — величайшее кощунство, ослепление безумия, оскорбление Святыни. Народ п р и з в а н, все народы п р и з в а н ы — для служения Истине. Никто из них да не смеет ставить себя выше Призванного или отождествить свою несовершенную, жалкую человеческую правду, а еще более свой жалкий и безумный человеческий эгоизм, свое жалкое человеческое самовосхваление и самопоклонение — с высшей Божественной Правдой.

«Мы — род избранный», говорили
 Сиона дети в старину:
 «Нам Божьи громы осушили
 Морей волнистых глубину...

Нам камень лил воды потоки,
 Дождили манну небеса;
 Для нас закон, для нас пророки;
 В нас Божьей силы чудеса!»

Не терпит Бог людской гордыни;
 Не с теми Он, кто говорит:
 «Мы соль земли, мы столб святыни,
 Мы Божий меч, мы Божий щит!»...

Но с теми Бог, в ком Божья сила,
 Животворящая струя,
 Живую душу пробудила
 Во всех изгибах бытия.

Он с тем, кто духа и свободы
 Ему возносит фимиам;
 Он с тем, кто все зовёт народы
 В духовный мир, в Господень храм!

(1851 г.)

Хомяков не выносит национального самодовольства и самохвальства. «Самодовольство и хвастливость (народные) унижительны», — пишет он в своей статье «Мнение русского об иностранцах». «Самохваление, противное Богу и чуждое народному духу», — пишет он в письме к А. Н. Попову (от 1 января 1854 года). Известно его знаменитое стихотворение: «Гордись! тебе льстецы сказали», обращенное к России (1839 г.). Как отчеканены, с какой властной силой звучат эти ответные слова поэта льстецам:

... Не верь, не слушай, не гордись!
 Пусть рек твоих глубоки волны,
 Как волны синие морей,
 И недра гор алмазов полны,
 И хлебом пышен тук степей;
 Пусть пред твоим державным блеском
 Народы робко клонят взор,

И семь морей немолчным плеском
 Тебе поют хвалебный хор;
 Пусть далеко грозой кровавой
 Твои перуны пронеслись:
 Всей этой силой, этой славой,
 Всем этим прахом не гордись!

Грозней тебя был Рим великий,
 Царь семихолмного хребта,
 Железных сил и воли дикой
 Осушественная мечта;
 И нестерпим был огонь булата
 В руках Алтайских дикарей;
 И вся зарылась в груды злата
 Царица западных морей.
 И что же Рим? И где монголы?
 И скрыв в груди предсмертный стон,
 Кует бессильные крамолы,
 Дрожа над бездной, Альбион.

Бесплоден всякий дух гордыни,
 Неверно злато, сталь хрупка;
 Но крепок ясный мир святыни,
 Сильна молящихся рука!

(1839 г.)

В наши дни, когда советская власть предприняла великий обман п о д м е н ы патриотизма, чтобы привлечь к себе сердца русской молодежи (ибо коммунизм давно в н у т р е н н о умер в Советской России и царит только как внешне наложенное, ненавистное иго), так важно этому з в е р и н о м у, зоологическому псевдопатриотизму (в духе «Скифов» Блока), отрицающему всякие моральные основы, противопоставить истинную любовь к своему народу, то истинное патриотическое чувство, которому дорого н р а в с т в е н н о е л и ц о народа, его духовная и нравственная судьба наряду с его внешним благополучием и благосостоянием, а не только г о л а я физическая мощь, лишенная всяких нравственных препон и всякого нравственного вдохновляющего начала. Соблазн поклонения Золотому тельцу или преимущественному идеалу внешней физической мощи и внешнего

благополучия и богатства встречается в истории многих народов, ни один народ в истории не был свободен от искушения поклониться идеалу силы или материальных благ больше, чем идеалу правды, и нередко подпадал под власть этого искушения, но никогда в истории этот соблазн не выступал так ярко и обнаженно в такой абсолютной и принципиальной аморальности, являясь исповеданием и проповедью звериного начала, пафосом отрицания всяких божеских и нравственных начал, как в советской националистической пропаганде. Этому звериному вдохновению противопоставляется вдохновенный патриотизм Хомякова, религиозно и нравственно укорененный. Народ не есть последнее, самое высшее, самое святое, как бы он ни был дорог душе, в самых глубочайших фибрах своих связанной с родным народом. Народ должен признать высший, чем он сам, Источник силы и критерий Правды и мужественно служить ему, смиренно склониться перед ним. Народ должен осознать свои недочеты и погрешности перед лицом Высшей Правды и иметь мужество сам осудить себя за них и ... нравственно возродиться, очиститься, укрепиться духовно. Хомяков ясно видит великие язвы на нравственном теле родного народа накануне Крымской войны. Многие современники Хомякова, вполне благомыслящие и порядочные, были даже смущены той силой морального возмущения и скорби, вытекающей из горячей любви, из самого горячего и настоящего патриотизма, которая нашла выражение в этих его знаменитых словах:¹⁾

... Но помни: быть орудьем Бога
Земным созданиям тяжело:
Своих рабов Он судит строго, —
А на тебя, увы! как много
Грехов ужасных налегло!

¹⁾ Из стихотворения «России», написанного в марте 1854 года, через 15 лет после уже цитированного нами одноименного стихотворения.

В судах черна неправдой черной
 И игом рабства клеймена:
 Безбожной лести, лжи тлетворной,
 И лени мертвой и позорной,
 И всякой мерзости полна!

О недостойная избранья,
 Ты избрана! Скорей омой
 Себя волною покаянья,
 Да гром двойного наказания
 Не грянет над твоей главой!

С душой коленопреклоненной,
 С главой, лежащею в пыли,
 Молись молитвою смиренной,
 И раны совести растленной
 Елеем плача исцели!...»

Требуется строгое и неподкупное с а м о п о з н а н и е и п о к а я н и е народное и не эмоциональный только порыв, а строгая, мужественная работа самовоспитания и очищения духовного и творения правды. «Страшно подумать, что надобно поворотить и откуда. Какой пропеть канон покаяния, какое нужно упорство воли, строгость занятий, жар любви»... (из письма к Самарину, апрель 1856 г.). «Сознанное может быть вылечено, — пишет он уже раньше А. Веневитинову (в 1845 г.), — но для этого нужно сознание общее или, по крайней мере, сильно распространенное. Нужна для этого новая жизнь, новая наука, нужен нравственный переворот, нужна любовь, нужно смирение гордого и ничтожного знания, которое выдает себя за просвещение и само верит своему хвостовству».

Но это — одна сторона его горячего патриотизма. Другая сторона: он считает, что без участия в народной жизни, в национальной культуре бледнеет и тускнеет человек, бледнеет и отмирает его культурно-творческая сила. Народ не — основоположный, решающий источник жизни, не Высшее, но он — звено в нашем пути к Высшему, та среда, то место, которое нам назначено. Без народности культура не имеет своего

лица. Общечеловеческое в культуре ищет народных форм, народной среды для своего выражения. Чем глубже и живее связан писатель или художник со своей народной почвой, тем ярче и сильнее может он быть выразителем общечеловеческого, выразителем тех высших ценностей, которые бесконечно выше народов и из которых живут и питаются и отдельные личности и народы.

Народ, народность и наша связанность с нашим народом, наша горячая любовь вот к этому конкретному, живому историческому лицу должны быть поэтому для нас **ш к о л о ю л ю б в и**. Ибо мы должны **в о з р а с т а т ь в л ю б в и** и принять в наше сердце и другие народы и все общечеловеческие и сверхчеловеческие ценности и святыни.

Истинный патриотизм есть поэтому великая и, по мнению Хомякова, **н е о б х о д и м а я** и бесконечно ценная, не отбрасываемая потом, но остающаяся, пребывающая ступень в школе Любви. Но на этой ступени остановиться нельзя, ибо мы призваны к еще высшей цели, к еще высшему достоинству, к еще большей Любви.

7.

Высшая, себя забывающая Любовь есть проявление Духа Любви, который есть Дух Божий и Дух Истины. Поэтому только охваченные силою этой Любви, **л ю б в и, д а н н о й н а м с в ы ш е**, можем мы прийти к Богу, можем мы познать Бога, можем мы участвовать в божественной жизни, которая есть любовь. Мы подходим здесь к самому центру мировоззрения и проповеди Хомякова, к основному принципу его религиозного и жизненного вдохновения.

«Молюсь,... чтобы вы, **у к о р е н е н н ы е и у т в е р ж д е н н ы е в л ю б в и**, вместе со всеми **с в я т ы м и**, могли постигнуть, что есть широта и долгота, и глубина и высота (Божии) и уразуметь всякое разумение превосходящую любовь Хри-

стову, дабы вам исполниться всей полнотою Божией» — так пишет апостол Павел в Послании к Ефесянам (3, 18-19). Этими словами характеризуется и основа мирозерцания Хомякова, которое выросло из этого апостольского опыта, запечатленного в Послании к Ефесянам. Как постичь «широту и долготу, и глубину и высоту» Божии, как придти к «уразумению всякое разумение превосходящей любви Христовой» и «исполниться всей полнотою Божией»? Только если мы будем «укоренены и утверждены в любви, вместе со всеми святыми». Только утвержденные в любви друг к другу, только согретые силою любви, можем мы придти к познанию тайн Божиих. Поэтому любовь есть необходимая предпосылка для познания Бога. Вот — основоположный камень всех религиозно-философских убеждений Хомякова. Не новое это учение — оно вдохновляет всю проповедь апостола Павла, с особой силой звучит оно в этих бесхитростных словах апостола любви: «Как может тот, кто не любит брата своего, которого видит, любить Бога, которого не видит?» (1-ое Послание Иоанна, гл. 4, ст. 20), и в этих словах Христа: «По сему узнают, что вы — Мои ученики, если будете иметь любовь между собою» (Иоанна, 13, 25).

Меняется поэтому весь подход к познанию Высшей Божественной Истины. «Поэтому-то самому всякий человек, любящий истину, обязан испытать свое сердце и исторгнуть из него росток ненависти: иначе истина не дастся ему»,²⁾ — пишет Хомяков. Другими словами: Истина открывается только любви, открывается братьям, соединенным в любви. И вместе с тем этот Дух Истины, этот Дух Любви, который есть Дух Божий, есть и Дух Свободы («Где Дух Господень, там свобода», — пишет апостол Павел). Поэтому любовь эта должна быть соединена со свободой. Истина дается братьям, объединенным в любви и духовной свободе. Солидарность в любви

²⁾ Курсив мой.

и — духовная свобода: вот --- предпосылки познания Бога.

Из этого вырастает все учение Хомякова о Церкви, этого центрального учения Хомякова, ибо Хомяков глубоко убежден, что мы одни, отделенные от общения с братьями, лишенные любви, не можем познавать Истины Божией, той истины, которая есть Любовь.

Всё учение Хомякова о Церкви пронизано ощущением и созерцанием действия Духа Божия, согрето ощущением Его близости, как Духа Любви и Духа Истины, раскрывающегося только в любви и духовной свободе. Поэтому Дух Божий есть решающий фактор. Он есть тот, кто дает познание и освящает души и соединяет братьев в любви. Он есть критерий и источник Истины. Он не может быть внешне доказан. Он не нуждается во внешних доказательствах: Он Сам Себя доказывает, Сам Себя открывает в Церкви, как Свет и Жизнь. Познающий Его познает Его в н у т р е н н и м знанием истины, ибо это знание есть вместе с тем и жизнь, новая жизнь, жизнь Духа, открывающаяся в братьях, соединенных любовью. Это познание есть вместе с тем и в р а с т а н и е в жизнь Духа и преображение силою Духа. Познание Истины охватывает всего человека, если оно есть действительно познание, и изменяет, преображает его. Об этом учил уже Киреевский, близкий друг Хомякова, основатель русской религиозной философии из духа аскетов и мистиков Восточной Церкви, наставников в этой обновленной жизни Духа. Нельзя не ощутить огромного религиозного и нравственного подъема — я сказал бы -- д у х о н о с н о с т и, проникающей это главное и центральное учение Хомякова.

«Мы знаем, — пишет Хомяков в своем знаменитом исповедании веры, — когда падает кто из нас, он падает один; но никто один не спасается. Спасющийся же спасается в Церкви, как член ее, и в единстве со всеми другими ее членами. Верует ли кто, — он в общении Веры; любит ли --- он в общении Любви;

молится ли — он в общении Молитвы... Не говори: «Какую молитву уделю живому или усопшему, когда моей молитвы недостаточно и для меня?» Ибо не умеющий молиться к чему молился бы ты и за себя? Молится же в тебе дух Любви. Также не говори: «К чему моя молитва другому, когда он сам молится и за него ходатайствует Христос?» Когда ты молишься, в тебе молится дух Любви. Не говори: «Суда Божьего уже изменить нельзя», — ибо твоя молитва сама в путях Божиих, и Бог ее предвидел. Если ты член Церкви, то молитва твоя необходима для всех ее членов. Если же скажет рука, что ей не нужна кровь остального тела, и она своей крови ему не даст, рука отсохнет. Так и ты Церкви необходим, покуда ты в ней, и если ты отказываешься от общения, то сам погибаешь и не будешь уже членом Церкви... Кровь же Церкви — взаимная молитва, и дыхание ее — славословие Божие». (II, 21, 23).

«Мы молимся потому, что не можем не молиться, и эта молитва всех о каждом и каждого о всех, постоянно испрашиваемая и постоянно даруемая, умоляющая и торжествующая в то же время, всегда во имя Христа нашего Спасителя обращаемая к Его Отцу и Богу, есть как бы кровь, обращающаяся в теле Церкви: она — ее жизнь и выражения ее жизни, она — глагол ее любви, вечное дыхание Духа Божия». (II, 120-121).

Не внешнее только исповедание, не сухая формула составляет, по убеждению Хомякова, сущность христианства, а именно эта жизнь Духа Божия и причастие к ней. Поэтому истинная вера «не есть акт одной познавательной способности, отрешенной от других, но акт всех сил разума, охваченного и плененного до последней его глубины живою истиною откровенного факта. — Вера не только мыслится или чувствуется, но, так сказать, мыслится и чувствуется вместе; словом — она не одно познание, но познание и жизнь» (II, 62). «Посему должно почитать, что исповедание и молитва и дело суть ничто сами по себе,

но разве как внешнее проявление внутреннего духа. Поэтому еще неугоден Богу ни молящийся, ни творящий дела, ни исповедующий исповедание Церкви, но тот, кто творит и исповедует и молится по живущему в нем духу Христову» (II,9).

В этом Духе Божиим, в этом причастии к нему — весь смысл и центр внутренней жизни христианина и жизни Церкви. Хомяков поэтому решает даже на такую заостренную формулировку: «Писание есть внешнее, и предание — внешнее, и дело — внешнее; внутреннее же в них есть от Духа Божия... Церковь не доказывает себя ни как Писание, ни как Предание, ни как дело, но свидетельствуется собою, как и Дух Божий, живущий в ней, свидетельствуется собою в Писании» (II,8). Свидетельство Духа Божия духу нашему, когда мы соединены с братьями в любви или, вернее, духу Церкви, самосвидетельство Его, как бы побеждающая нашу душу жизнь благодати, — вот критерий Истины. Самосвидетельство жизни: животворящий и преображающий нас Дух Истины. Поэтому Истина есть жизнь, а не внешний авторитет.

«Церковь — авторитет», — сказал Гизо; а один из его критиков, приводя эти слова, подтверждает их при этом... Бедный римлянин! Бедный протестант! Нет: Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а Истина и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его; ибо Бог, Христос, Церковь живут в нем жизнью более действительною, чем сердце, бьющееся в груди его, или кровь, текущая в его жилах, но живут, поелику он сам живет вселенской жизнью любви и единства, то есть жизнью Церкви» (II 54).

Итак, не внешний авторитет, не внешнее принуждение, а покоряющая душу собственной силой Истина, имеющая в себе источник жизни. Ибо *«в делах веры принужденное единение есть ложь, и принужден-*

ное послушание есть смерть»³⁾) (II, 192). Вера не нуждается в мерах насилия, они по существу противоположны ей, недостойны ее, могут ее замарать (см., например, его «Послание к сербам»). Она, по убеждению Хомякова, как и первых провозвестников христианства, есть захваченность покоряющей душу Любовью Сына Божия, пришедшего в мир и отдавшего Себя за нас.

8.

Но изображение положительных взглядов Хомякова на сущность веры, на сущность Церкви, на действие Духа Божия в Церкви соединяется у него в его знаменитых трех трактатах «Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях»⁴⁾ с полемикой против католицизма (нужно сказать, в ответ на очень пристрастные католические нападки на Православную Церковь) и протестантизма. Следует сказать, полемика очень блестяща и талантлива, полна богословской и диалектической силы и, при всей решительности и яркости своей, написана в тоне большого духовного благородства (как все, что пишет Хомяков), но она не всегда, далеко не всегда справедлива. Хомяков судит слишком логически и прямолинейно, его нападки на ряд характерных черт, как католического, так и протестантского мировоззрений необычайно метки и сильны. Гораздо больше при этом нападает он на католицизм. Но жизнь Католической Церкви, ее христианский опыт, сокровища ее духовной жизни далеко не укладываются в рамки этой полемики, далеко не исчерпываются затронутыми здесь вопросами. Нельзя сложную и богатую жизнь религиозного организма, богатую именно благодатными дарами истинной святости, вытяги-

3) Курсив Хомякова.

4) Вышли на французском языке тремя брошюрами: в 1853 г. в Париже и в 1855 и 1858 г. г. в Лейпциге, затем отдельной книгой в Лозанне; по-русски они вышли лишь в 1867 году.

вать на Прокрустовом ложе одной логической формулы — «юридизма, лишенного любви», формулы, которая становится прямо неверной в таком своем безграничном применении. Исполненный горячей любви к своей Матери-Православной Церкви, великий христианин Хомяков, такой чуткий к духу Христову везде, где он его встречает, становится в пылу увлечения некоторыми основными, блестящими, но далеко не всеохватывающими, и поэтому слишком недостаточными в сравнении с богатством и противоречиями жизни, логическими формулировками, явно односторонним и несправедливым в некоторых своих обобщающих оценках западного христианства (и здесь, в этих обобщающих оценках, он диалектически блестящ, но явно однокбок). В связи с этим можно упрекнуть Хомякова в некоторой односторонности и предвзятости и при оценке им Западно-европейской культуры.

Полемика его часто и ярка, и остроумна, и глубокомысленно блестяща, но жизнь религиозная больше и сложнее прямолинейно-однобоких логических формулировок. И тем не менее, нельзя не сказать, что блеск его таланта очень велик, огромна его культура, его эрудиция, сила и благородство стиля, дух истинного братолюбия, при силе полемики, и полны великой духовной проникновенности и глубины те — самые для нас ценные — положительные, не чисто полемические части этих богословских брошюр, где он излагает основы христианского — апостольского и древне-церковного — учения о Церкви Божией, как великом Телѣ Христовом, призванном возражать в любви и свободе, силою Духа.

Другое замечание: соответствует ли эта глубоко-вдохновенная картина, созерцаемая Хомяковым, той повседневной действительности церковной жизни, окружающей нас (и окружавшей тогда и Хомякова)? Как этот вопрос ни важен, он — не решающий. Грехи и слабости в эмпирическом осуществлении не исключают призвания. Грехи и заблуждения отдельных

(пусть весьма многочисленных — и среди мирян и среди духовенства) членов Церкви не уменьшают святости Духа Истины, призывающего нас к святости и к Истине и одухотворяющего — по глубокому убеждению Хомякова — внутреннейшую жизнь Церкви и являющегося в ее святых, ее таинствах, во вверенном ей Слове Божиим и в идущем от времен апостолов непрерывном (хотя и часто затемняемом слабостями людей) потоке Божественной Жизни.

Тем более с точки зрения Хомякова были бы предосудительны и смутительны те нередко человеко-ненавистнические страсти, что раздирают единство жизни Церкви даже в недрах самой Православной Церкви — в наши времена даже больше, чем в его время.

Все время вспоминается его увещание: если мы любим Истину и хотим служить ей, хотим защищать ее и проповедывать ее, то прежде всего надо «испытать свое сердце и исторгнуть из него росток ненависти»: ибо «иначе Истина не дастся нам» (II, 98). Истина дается только тем, кто не исполнен духа вражды и ненависти. Иначе мы представляем не ту Истину, о которой мы говорим устами, а свою вражду и слепоту, Истина же отходит от нас. Нужно быть смиренным и трепетным служителем Истины. Это очень чувствовал Хомяков.

Мужественность и смелость обличения, и, прежде всего, самообличения, и горячая любовь — вот, что характерно для Хомякова, даже для Хомякова-полемиста.

9.

Встреча Востока с Западом и притом творческая встреча, вот — одна из основоположных черт великого русского культурного синтеза 19 века. Одним из поворотных пунктов решающего значения является 1812-ый год. Он с необычайной силой пробудил в русском образованном слое сознание родины. Оно ни-

когда в образованном руководящем слое не умирало, но носило более характер внешне-политического, военного патриотизма. Теперь же жизнь нации была потрясена до самых ее основ, столица России — Москва была уничтожена, Россия была на краю гибели и — была спасена, казалось, чудом. Весь народ — от царя до последнего крестьянина, был охвачен порывом огромного патриотизма; образованный класс, особенно те его представители, которые героически сражались на полях битвы, был захвачен тем же порывом общенародного подъема, что не могло не отразиться, и притом в сильнейшей степени, на культурном самосознании образованного класса. Московское общество после 1812 года было особенно сильно захвачено этими настроениями и переживаниями, они не могли не оплодотворить самым решающим образом культурную жизнь и культурное творчество страны в лице ее образованного слоя, особенно молодого поколения. Здесь, повторяю, — один из главных вдохновляющих источников культурного, при этом творческого, синтеза 19-го века.

Молодой Хомяков умственно сложился и вырос в этой атмосфере. Западное не было отринуту, напротив того: благодаря длительному пребыванию многочисленных молодых русских офицеров, представителей нашего культурного класса, в Западной Европе, особенно во время кампаний 1813 и 1814 г. (время большого духовного и культурного перелома и подъема в самой Европе), знание Западной Европы, особенно германской и французской культуры, еще усилилось — из первоисточников, из непосредственного знакомства с ее представителями. Но это была духовно в значительной степени уже другая Европа — не Европа 18-го века. Она сама была охвачена порывом культурного обновления, порывом какой-то духовной юности, духовной весны, что особенно выражалось в немецком (и английском) романтизме, в новом подходе к истории, в новом переживании истории, как одного великого органического целого, од-

ного живого потока, где решающими являются не кабинетные только постановления правящих кругов, договоры и трактаты, а именно живой поток жизни народной. Пробудилась любовь к народной старине, к стихии бессознательной или иррациональной в народной жизни, к старым преданиям, легендам, обычаям, сказкам, песням, к тому великому, живому, органическому целому, на лоне которого, черпая из него свою силу и вдохновение, только и может существовать в истинном смысле слова национальная культура, сознательным носителем и выразителем которой является культурный класс страны, но именно поскольку он связан со стихией общенародной жизни. Это расширяло и углубляло взгляд на историю, раскрывало новые горизонты. Это был органический подход к жизни народов, вдохновивший новую историографию, новую филологию, новую науку о древностях и преданиях народных — фольклористику, родившиеся из этого органически-романтического мирозерцания. Но и весь природный мир, окружающий нас, не только мир истории, перерождался в глазах этого нового восприятия действительности, становился местом приложения и действия живых сил, проникающих его недра от самых его глубин до его вершины — человека. Органическое мировоззрение, романтическая натурфилософия (особенно философия Шеллинга), как они одухотворяли картину всего существующего вокруг нас, как в глазах этой философии жизнь становилась значительнее, интереснее, насыщеннее, живее, и как могла эта философия увлекать и вдохновлять лучших из молодежи, тоже чувствовавших себя охваченными этим мощным жизненным подъемом и с радостью искавших и находивших в этой философии (философии новой юности Европы!) его осмысление. Эти настроения широко захватили Москву 20-ых годов, в которой рос и развивался умственно и духовно юноша Хомяков.

Москва 20-ых, 30-ых, 40-ых годов, и вообще культура этой старой Москвы 19-го века с ее семейными преданиями, с ее встречей Запада и Востока, с ее высокой эстетической, исторической и философской образованностью, с ее повышенной религиозной жизнью, с ее своеобразным бытом и укладом жизни, с небольшими старомодными особняками ее переулков! Эти особняки по большей части одноэтажные с мезонином, окрашены в светло-зеленый или белый или голубоватый или светло-розоватый цвет. Фасад их, выходящий на улицу, всего в семь или девять окон, зато они тянутся глубоко внутрь, в глубину двора. За домом довольно большой сад, заросший сиренью. По двору разбросаны хозяйственные пристройки; вдоль деревянной кладки для пешеходов, тянувшейся по краю двора, стоит несколько высоких серебристых тополей. Ранней весной весь двор усыпан так остро и живительно благоухающими почками тополей, шуршащими под ногами. В мае в сирени поют с вечера до утра соловьи. Внутри эти особняки оказываются гораздо более поместительными, чем кажется с улицы. Две белые деревянные арки отделяют переднюю от залы. В гостиной старинные портреты предков, родственников и друзей семьи, нередко работы Кипренского, Левицкого, Боровиковского, Тропинина; бархатные щиты со вделанными в них семейными миниатюрами, старая бронза, старинная мебель александровской эпохи, старинные часы «Амбир»... В этих домах замечательные библиотеки: старинные французские издания 17-го и 18-го веков в красных кожаных или коричневых кожаных с золотыми обрезами переплетах; здесь — великие французские классики времен Людовика XIV — и Корнель, и Расин, и Мольер, и Паскаль; особенно хорошо представлены старые французские религиозные писатели — Боссюэ, и Фенелон, Бурдалу и Массильон, г-жа де-Гийон; французские мемуаристы за три века: *Mémoires du Duc de Sully*, *Mémoires du Duc de St. Simon*, *Mémoires de la Duchesse d'Abrantès*

и другие. Среди английских книг имеются очаровательные издания романтических поэтов начала 19-го века — четыре маленьких книжки первого издания Байроновского «Чайльд Гарольда» с урнами, жертвенниками, полуразрушенными колоннами, полупотухшими факелами и венками в виде виньеток; первое издание фантастической восточной поэмы «Лалла Рук» Томаса Мура. Имеются и немецкие классики и романтики, нередко в первых изданиях конца 18-го или начала 19-го века, в картонных томиках, — синих, зеленых, малиновых с наклеенными на них вырезанным из бумаги белым кружевным узором: Виланд, отдельные творения Гёте, Шиллера, позднее романтики — Тик, Вакенродер, Шлегель. Здесь же в темных переплетах великие немецкие философы — особенно Гегель и Шеллинг, и представители мистической религиозной мысли — Якоб Беме в переплетах белой свиной кожи, Ангелус Силезиус, французские переводы творений св. Терезы Испанской и Иоанна св. Креста (Juan de la Cruz). Далее русская литература, альбомы старых путешествий, латинские и греческие классики, и итальянские поэты, и французские, и немецкие авторы (особенно поэты) середины 19-го века; и историки русские и иностранные; в некоторых домах — творения святых Отцов Восточной Церкви. По стенам, между книжными шкапами, старые гравюры, акварели — пейзажи Италии начала 19-го века. Из окон дома видна соседняя церковь, в глубине переулка, 17-го или 18-го века, с маленькой отдельной колоколенкой шатрового типа, полувросшая в землю. Из этой церкви доносится звон колокола в самые различные часы дня — то благовест, то воскресный радостный трезвон, то мерный удар колокола по покойнику, то заунывные звоны Великого Поста, то сливающаяся с перезвоном других колоколов — соседних, близких, дальних церквей радостная, волнующая симфония пасхальной заутрени.

Невидимые нити соединяют жизнь семьи, жизнь дома с литургической жизнью Церкви: родители вме-

сте с детьми ходят к службам, вместе с ними говеют и причащаются. Уж намечается или, вернее, уже осуществляется в этих патриархально старозаветных и религиозных, и вместе с тем широко европейски образованных семьях, захваченных и движением мысли и движением современной литературой, своей и иностранной, — тот творческий, культурный синтез, о котором мы говорили. И вместе с тем, в недрах этих патриархальных, глубоко христиански настроенных семей совершалось то ежедневное, невидимое духовное воздействие родителей на детей, то невидимое, ежедневное излучение любви матери на ребенка, то руководство совестью на путях к осуществлению Правды, о котором пишет сам Хомяков в следующих словах: «Что до меня касается, то я знаю, что, во сколько я могу быть полезен, ей (то есть своей матери) обязан я и своим направлением, и своей неуклончивостью в этом направлении... Счастлив тот, у которого была такая мать и наставница в детстве, и в то же время, какой урок смирения дает такое убеждение. Как мало из того доброго, что есть в человеке, принадлежит ему» (письмо к М. С. Мухановой от 10 сентября 1857 г.).

Это — живой пример того, что можно назвать «динамической традицией», то есть в тишине совершающегося акта творческого духовного воздействия на душу ребенка и юноши, и в связи с этим творческого роста души. Излюбленная идея Хомякова о духовном динамическом преемстве неразрывным образом связана с его собственным духовным опытом и, прежде всего, с опытом его детства и юношеских лет — с творческой традицией в недрах христиански верующей и глубоко культурной семьи.

В мезонинах этих домов, носителей этой своеобразной «культуры московских переулков», часто находились комнаты сыновей дома. Сюда к ним стекались друзья и товарищи, охваченные чарующим вином романтизма и юности, и вместе с тем остро про-

будившимися умственными, культурно-политическими, культурно-национальными и религиозными интересами и исканиями. Здесь происходили оживленнейшие дебаты, иногда ожесточенные споры. Слова Пушкина:

Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло...

передают настроения этой молодежи.

Центром такого кружка молодежи, кружка, к которому принадлежали и оба брата Хомяковы, был, как известно, изумительный юноша, исполненный жизни и необычайного очарования, поэт и романтик Дмитрий Веневитинов, умерший 21 года (род. 14 сент. 1805, ум. 15 марта 1827 г.), бывший на год с небольшим моложе А. С. Хомякова. О московских кружках — и Веневитинова и Станкевича и позднейших, писано довольно.⁵⁾ Хочу здесь остановиться лишь на том факте, что эти кружки были мощной лабораторией в выработке миросозерцания, что здесь, между прочим, осуществлялся этот столь характерный для всей великой русской культуры 19-го века синтез между своим и чужим, между Западом и Востоком, что здесь, в этих собраниях друзей и 20-ых и 30-ых годов, как и 40-ых и 50-ых годов, когда Хомяков был уже зрелым мужем и вместе с тем вдохновляющим центром таких встреч (особенно вдохновляющим для молодежи), — ставились со всей остротой проблемы философские и религиозные, проблемы взаимоотношений Запада и Востока, проблемы национальных судеб и призвания России, и многие другие. И еще одно хочется сказать: здесь, в этих совместных исканиях Истины, в этом добросовестном стоянии молодых душ перед величайшими, решаю-

⁵⁾ См. мою статью о Московских кружках, являющуюся главой моей книги «Из русской культурной и творческой традиции».

щими проблемами жизни, веры и истории и национального самосознания, проблемами призвания человека и народа и всех народов вообще и конечного смысла истории и бытия всего мира, в этих горячих умственных схватках и, вместе с тем, в стараниях понять, оценить и не исказить мысль собеседника, не только выковывалась любовь к Истине и мужество и смелость мысли и стремление к объективности. Нет, еще большее иногда, повидимому, ощущалось этими юношами: они расходились обогащенными не только умственно, но и духовно, не только потому, что устанавливалось взаимодействие с мыслями других и плодотворный обмен мыслей, но, в конечном, глубинном смысле, оттого, что они все старались стать пред лицом Истины, и это приподымало их над их собственным уровнем. Не сумма знаний и убеждений собравшихся лиц, а их убеждения и знания плюс предстояние пред лицом Истины, некое воздействие самой Истины на ищущих ее, некое присутствие самой Истины, как того, что больше всех их исканий и формулировок. Идея «соборности», которая такую огромную роль играет в религиозных воззрениях Хомякова, — соединение свободы личности с солидарностью любви в смиренном и свободном предстоянии перед Истиной — не зародилась в этих кружках молодежи, но они явились в духовном опыте его жизни как бы неким отдаленным, неадекватным и робким указанием на нее. А осуществление ее Хомяков нашел в действии Духа Божия на братьев, любовью объединенных в великое Тело Христово, Церковь.

В этих беседах и кружках, особенно в беседах Хомякова, уже зрелого мужа, с молодежью, проявился и его высокий педагогический дар, его педагогическое призвание, не потерявшее свое действие и поныне. В своих чрезвычайно ценных воспоминаниях о Хомякове его друг, А. И. Кошелев, знавший его в течение 37 лет, так характеризует эту сторону его деятельности: «Не могу не упомянуть о редкой особенности Хомякова привлекать к себе и привязывать и

стариков и сверстников своих и молодежь. Он становился средоточием везде, где находился, и в Москве и в каждой гостинице, куда он приезжал. Этим он был обязан, конечно, своему обширному, глубокому и своеобразному уму и своей всегда живой и завлекательной речи, но еще более кротости и безобидности своей беседы. Молодежь, особенно «свириная», как он ее называл, расположенная к тому, что впоследствии было названо нигилизмом, была предметом его особенной заботливости. Он любил беседовать с этими юношами, которые были к нему чрезвычайно хорошо расположены, и он на них действовал благодетельнее всяких проповедей и других внушений».

«Да, — заключает Кошелев, — жизнь этого человека была постоянным подвигом, который достойно оценится разве потомством». Хомяков сам высоко ценил силу непосредственного устного слова. «Когда случалось его упрекать, — говорит Кошелев, — в том, что он слишком много говорит, то он отвечал: «Изустное слово плодотворнее письменного; оно живет слушающего и еще более говорящего; чувствую, что в разговоре с людьми я и умнее и сильнее, чем за столом и с пером в руках. Слова, произнесенные и слышанные, кореннее слов писанных и читанных». ⁶⁾

10.

Хомяков конечно, как всякий исторический деятель, как всякий мыслитель и писатель, принадлежит своему времени (но не только своему времени! — мы это в достаточной мере видели) и к его специфической обстановке, к его специфическим настроениям и заданиям — наряду с проблемами более общего характера, далеко вырастающими за пределы

⁶⁾ Воспоминания А. И. Кошелева о Хомякове. См. Сочинения Хомякова, том VIII, Письма, Москва, 1904 г.

данной эпохи. Эта связанность с определенной эпохой, с определенной средой дает жизненность и яркость, но вместе с тем подчас и некоторую односторонность в постановке и разрешении ряда проблем. Поворот к родному и национальному, обретение или яркое осознание заново народной святыни (для Хомякова эта народная святыня состоит в том, что народ, явление временное, призван стать носителем святыни сверхвременной, бесконечно высшей, чем он сам, хотя часто, конечно, оказывается недостойным своей святыни), — это осознание заново религиозно-нравственного призвания своего народа соединяется подчас у Хомякова с недооценкой или слишком строгой оценкой духовных ценностей и духовных достижений у народов Запада.⁷⁾ Соединялось оно вместе с тем с некоторой, подчас — сказали бы мы — даже наивной, хотя и трогательной, идеализацией нравственно-общественных основ жизни славянства. В этой идеализации и в этой однобокости Хомяков является иногда «славянофилом» в узком смысле слова, в каком им являются Аксаковы и другие. Но эта крайность, это увлечение понятны как естественная нравственная реакция против столь распространенного в по-петровской России игнорирования образованным классом своего собственного народа и его исторического и религиозного достояния. Здесь звучат у Хомякова, как и у прочих славянофилов, ноты горячей и оскорбленной любви. Но мы видели уже, как эти односторонности у него преодолеваются признанием безусловного высшего критерия — Правды Божественной, которой его народ, как и все народы, призван подчиняться и служить, и которая призвана судить все народы, как высшая Цель и Смысл всякого существования.

⁷⁾ Но сравним его же слова:

«О грустно, грустно мне! Ложится тьма густая
На дальнем Западе. стране святых чудес»...

Вселенский элемент, мы видели, очень силен в Хомякове.

В заключение нашего очерка еще раз кратко остановимся на основных чертах духовного наследия Хомякова, на том, чем он ценен и важен для нас и, может быть, особенно в эти дни духовного и общественно-политического кризиса и духовной борьбы, в эти дни неслыханного, небывалого в истории порабощения России силами Зла, принципиально отвергающими и подавляющими всякое нравственное начало, всякое малейшее проявление человеческой свободы, и пытающимися соблазнить и развратить душу народа.

В эти дни Хомяков особенно призывает нас к неустанному подвигу духовному, и личному и народному. Он встает перед нами, как носитель, — по словам Ивана Аксакова, — «мужественного разума и мужественной веры». Есть тон духовного героизма, но сдержанный, скромный, без ложного пафоса, во всей его личности и всей его проповеди. Характерны его слова в его письме к А. Н. Попову (от 1 января 1854 г.): «Более же всего я хвалю (извините за гордое Я, но ведь оно всегда скрывается во всяком мнении) воздержанность тона при мужестве поступка; он свидетельствует о мужестве не страстном и порывном, но тихом и упорном, то есть о том, которое всегда нужно, а теперь более чем когда-нибудь, и нам более, чем кому-нибудь».

Но этот героизм и подвиг должен питаться и вдохновляться из высших сфер, из помощи свыше, то есть из божественной действительности и из нашего свободного ответа на ее призыв. А это требует строгого нравственного самоанализа и пересмотра нашего пути, и личного и общенародного, в свете Правды Божией, и свободного подчинения нашего этой Правде Божией. Требуется строгий суд над собой, покаяние, и возрожденная нравственная жизнь.

Ибо «помни» — говорит он, как мы видели, России:

быть орудьем Бога
 Земным созданиям тяжело.
 Своих рабов Он судит строго,
 А на тебе, увы! как много
 Грехов тяжелых налегло...

.
 С душой коленопреклоненной,
 С главой, лежащею в пыли,
 Молись молитвою смиренной,
 И раны совести растленной
 Елеем плача исцели.

И встань тогда, верна призыванью...

Ибо — что характерно и основоположно для Хомякова — над условной «правдой» народной, над себялюбивыми интересами, и личными и народными, ставит он Правду Божию. Она — решающая инстанция, решающий критерий. Без нее и против нее не имеют никакой цены все земные блага.

Высшая цель истории, согласно Хомякову, — свободное объединение народов, человечества во единый великий организм любви и свободы, руководимый Духом Божиим, растущий свободно «возрастом Христовым» под единой Главою — той воплощенной Любовью, которая отдала Себя за нас, великий организм, перерастающий рамки земного существования.

Трезвенность Хомякова есть, однако, вместе с тем и захваченность. Он сам проникнут «тем жаром и любовью к Истине,⁸⁾ которые, по его словам, одни только могут оплодотворить жизнь» (первое дошедшее до нас письмо его к Ивану Аксакову — VIII, 349). Эта любовь к Истине есть вместе с тем и горячая любовь к людям, ко всем народам, и прежде всего страстная любовь к своему народу. Но любовь эта должна быть просветлена служением тому, что выше всего: Правде Божией.

⁸⁾ Курсив мой.

В 1854 г. Хомяков писал:

Как часто во мне пробуждалась
 Душа от ленивого сна,
 Просилась людям и братьям
 Сказаться словами она...

Как часто, бессильем томимый,
 С глубокой и тяжелой тоской
 Молил Тебя дать им пророка
 С горячей и крепкой душой!

Молил Тебя в час нолуночи,
 Пророку дать силу речей,
 Чтоб мир оглашал он далеко
 Глаголами Правды Твоей!

Молил Тебя с плачем и стоном,
 Во прахе простерт пред Тобой,
 Дать миру и уши и сердце
 Для слушанья речи святой!

Эти слова о пророческом служении мы можем отнести к самому Хомякову. Он провозглашал и жизнью и словами то Высшее, чем осмысливается наша жизнь. И вместе с тем он — великий воспитатель душ, учивший, в свободном и трезвенном подвиге, мужественно и добросовестно искать Божественную Правду и служить ей.

Николай Арсеньев

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Ю. Ф. САМАРИНА
О А. С. ХОМЯКОВЕ¹⁾

...Хомяков понимал христианское откровение как живую, непрерывную речь Божию, непосредственно обращенную к личному сознанию каждого человека, и вслушивался в нее с напряженным вниманием. Наши разговоры нередко касались этой темы по поводу общего вопроса о значении Промысла в истории человечества, народа или отдельного лица, но он никогда не вводил меня в область собственных внутренних ощущений. Один только раз дано было мне проникнуть в тайное этой непрерывной беседы его с Богом. Разговор этот так глубоко врезался в мою память, что я могу повторить его почти от слова до слова.

Узнав о кончине Екатерины Михайловны, я взял отпуск и, приехав в Москву, поспешил к нему. Когда я вошел в его кабинет, он встал, взял меня за обе руки и несколько времени не мог произнести ни одного слова. Скоро, однако, он овладел собой и рассказал мне подробно весь ход болезни и лечения. Смысл рассказа его был тот, что Екатерина Михайловна скончалась вопреки всем вероятностям вследствие необходимого стечения обстоятельств. Он сам понимал ясно корень болезни и, зная твердо, какие средства должны были помочь, вопреки своей обыкновенной решительности, усомнился употребить их. Два доктора, не узнав болезни, которой признаки, по его словам, были очевидны, впали в глубокую

¹⁾ См. «Татьяевский сборник» С. А. Рачинского, СПб, 1889.

ошибку и превратным лечением произвели болезнь новую, истощив сперва все силы организма. Он все это видел и уступил им. Выслушав его, я заметил, что все это кажется ему очевидным теперь, потому что несчастный исход болезни оправдал его опасения и вместе с тем изгладил из его памяти все остальные признаки, на которых он сам вероятно в последние минуты основывал надежду на выздоровление. Я прибавил, что, воспроизводя теперь по-своему и в обратном порядке последствий к причинам весь ход болезни, он только подвергает себя бесплодному терзанию. Тут он остановил меня, взяв меня за руку: «Вы меня не поняли; я вовсе не хотел сказать, что легко было спасти ее. Напротив, я вижу с сокрушительной ясностью, что она должна была умереть для меня, именно потому, что не было причины умереть. Удар был направлен не на нее, а на меня. Я знаю, что ей теперь лучше, чем было здесь, да я-то забывался по полноте своего счастья. Первым ударом я пренебрег; второй — такой, что его забыть нельзя». Голос его задрожал и он опустил голову. Через несколько минут он продолжал:

«Я хочу вам рассказать, что со мною было. Тому назад несколько лет я пришел домой из церкви после причастия и, развернув Евангелие от Иоанна, я напал на последнюю беседу Спасителя с учениками после Тайной Вечери. По мере того, как я читал, эти слова, из которых бьет живым ключом струя безграничной любви, доходили до меня все сильнее и сильнее, как будто кто-то произносил их рядом со мной. Дойдя до слов: «Вы друзья Мои есте», я перестал читать и долго вслушивался в них. Они проникали меня насквозь. На этом я заснул. На душе сделалось необыкновенно легко и светло. Какая-то сила подымала меня все выше и выше, потоки света лились сверху и обдавали меня; я чувствовал, что скоро раздастся голос. Трепет проникал по всем жилам. Но в одну минуту все прекратилось; я не могу передать вам, что со мной сделалось. Это было не привидение,

а какая-то темная, непроницаемая завеса, которая вдруг опустилась передо мной и разлучила меня с областью света. Что на ней было, я не мог разобрать; но в то же мгновение каким-то вихрем пронеслись в моей памяти все праздные минуты моей жизни, все мои бесплодные разговоры, мое суетное тщеславие, моя лень, мои привязанности к житейским дразгам. Чего тут не было! Знакомые лица, с которыми, Бог знает, почему сходилась и расходился, вкусные обеды, карты, бильярдная игра, множество таких вещей, о которых, повидимому, никогда я не думаю и которыми, казалось, я нисколько не дорожу. Все это вместе слилось в какую-то безобразную массу, налегло на грудь и придавило меня к земле. Я проснулся с чувством сокрушительного стыда. В первый раз почувствовал себя я с головы до ног рабом жизненной суеты. Помните, в отрывках, кажется Иоанна Лествичника эти слова: «Блажен, кто видел ангела; сто крат блаженнее, кто видел самого себя». Долго я не мог оправиться после этого урока, но потом жизнь взяла свое. Трудно было не забыть в той полноте невозмутимого счастья, которым я пользовался. Вы не можете понять, что значит эта жизнь вдвоем. Вы слишком молоды, чтобы оценить ее». Тут он остановился и несколько времени молчал, потом прибавил:

«Накануне ее кончины, когда уже доктора повесили головы и не оставалось никакой надежды на спасение, я бросился на колени перед образом в состоянии, близком к иступлению и стал — не то, что молиться, а испрашивать ее у Бога. Мы все повторяем, что молитва всесильна, но мы сами не знаем ее силы, потому что редко случается молиться всей душой. Я почувствовал такую силу молитвы, которая могла бы растопить все, что кажется твердым и непреходимым препятствием; я почувствовал, что Божие всемогущество как будто вызванное мною, идет навстречу моей молитве и что жизнь жены может быть мне дана. В эту минуту черная завеса опять на меня опустилась; повторилось то, что уже было со мною в

первый раз, и моя бессильная молитва упала на землю. Теперь вся прелесть жизни для меня утрачена. Радоваться жизни я не могу. Радость мне была доступна только через нее, как то, что утешало меня, отражалось на ее лице. Остается исполнить мой урок. Теперь, благодаря Богу, не нужно будет самому себе напоминать о смерти, она пойдет со мной неразлучно до конца».

Я написал этот рассказ от слова до слова, как он сохранился в моей памяти; но, перечитав его, я чувствую, что не в состоянии передать того спокойно-сосредоточенного тона, которым он говорил со мной. Слова его произвели на меня глубокое впечатление именно потому, что именно в нем одном нельзя было предположить ни тени самообольщения. Не было в мире человека, которому до такой степени было противно и несвойственно увлекаться собственными ощущениями и уступить ясность сознания нервическому раздражению. Внутренняя жизнь его отличалась трезвостью — это была преобладающая черта его благочестия. Он даже боялся умиления, зная, что человек слишком склонен вменять себе в заслугу каждое земное чувство, каждую пролитую слезу; и когда умиление на него находило, он нарочно сам себя обливал струей холодной насмешки, чтобы не давать душе своей испаряться в бесплодных порывах и все силы ее направить на дело. Что с ним действительно совершалось все, что он мне рассказал, что в эти минуты его жизни самосознание его озарилось откровением свыше, — в этом я так же уверен, как в том, что он сидел против меня, что он, а не кто другой говорил со мной.

Вся последующая его жизнь объясняется этим рассказом. Кончина Екатерины Михайловны произвела в ней решительный перелом. Даже те, которые не знали его очень близко, могли заметить, что с сей минуты у него остыла способность увлекаться чем бы то ни было, что прямо не относилось к его призванию. Он уже не давал себе воли ни в чем. Пови-

димому, он сохранил свою прежнюю веселость и общительность, но память о жене и мысль о смерти не покидала его. Сколько раз я замечал, по выражению его лица, как мысль эта перебивала веселую струю его добродушного смеха. Жизнь его раздваивалась. Днем он работал, читал, говорил, занимался своими делами, отдавался каждому, кому до него было дело. Но когда наступала ночь и вокруг него все улеглось и умолкало, начиналась для него другая пора. Тут подымались воспоминания о прежних светлых и счастливых годах его жизни, воскресал пред ним образ его покойной жены, и только в эти минуты полного уединения давал он волю сдержанной тоске.

Раз я жил у него в Ивановском. К нему съехались несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты, и он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимой веселостью, мы улеглись, потушили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. Утренняя заря едва-едва освещала ее. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед походной своей иконой, руки были сложены крестом на подушке стула, голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим. На другой день он вышел к нам веселый, бодрый, с обычным, добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь.

I. СТИХОТВОРЕНИЯ А. С. ХОМЯКОВА

С О Н

Я видел сон, что будто я певец,
И что певец — пречудное явление,
И что в певце на все Свое творенье
Всевышний положил венец.

Я видел сон, что будто я певец,
И под перстом моим дышали струны,
И звуки их гремели как перуны,
Стрелой вонзались во глубину сердец.

И как в степи глухой живые воды,
Так песнь моя ласкала жадный слух;
В ней слышен был и тайный глас природы,
И смертного горé парящий дух.

Но час настал. Меня во гроб сокрыли,
Мои уста могильный хлад сковали;
Но из могильной тьмы, из холодной пыли,
Гремела песнь и сладкий глас звучал.

Я видел сон, что будто я певец,
И что певец пречудное явление,
И что в певце на все Свое творенье
Всевышний положил венец.

3 июля 1828 г.

К Л Ю Ч

Сокрыт в глуши, в тени древесной,
Любимец муз и тихих дум,
Фонтан живой, фонтан безвестный,
Как сладок мне твой легкий шум!

Поэта чистая отрада,
Тебя не сыщет в жаркий день
Копыто жаждущего стада,
Иль поселян бродящих лень.

Лесов зеленая пустыня
Тебя широко облегла,
И Веры ясная святыня
Тебя под кров свой приняла.
И не скуют тебя морозы,
Тебя не ссушит летний зной,
И льешь ты серебряные слезы
Неистощимою струей.

В твоей груди, моя Россия,
Есть также тихий, светлый ключ;
Он также воды льет живые,
Сокрыт, безвестен, но могуч.
Не возмутят людские страсти
Его кристальной глубины,
Как прежде, холод чуждой власти
Не заковал его волны.

И он течет неиссякаем,
Как тайна жизни невидим,
И чист, и миру чужд, и знаем
Лишь Богу да Его святым!

Но водоема в тесной чаше
Не вечно будет заключен, —
Нет, с каждым днем живей и краше
И глубже будет литься он.
И верю я: тот час настанет,
Река свой край перебежит,
На небо голубое взглянет
И небо все в себе вместит.

Смотрите, как широко воды
Зеленым долом разлились,
Как к берегу чуждые народы
С духовной жаждой собрались!

Смотрите! Мчатся через волны
 С богатством мыслей корабли,
 Любимца неба, силы полны,
 Плодотворители земли!

И солнце яркими огнями
 С лазурной светит вышины,
 И осиян весь мир лучами
 Любви, святыни, тишины.

1835.

К Д Е Т Я М

Бывало, в глубокий полуночный час,
 Малютки, приду любоваться на вас:
 Бывало люблю вас крестом знаменать,
 Молиться, да будет на вас благодать,
 Любовь Вседержителя Бога.

Стеречь умиленно ваш детский покой,
 Подумать о том, как вы чисты душой,
 Надеяться долгих и счастливых дней,
 Для вас, беззаботных и милых детей,
 Как сладко, как радостно было!

Теперь прихожу я: везде темнота,
 Нет в комнате жизни, кроватка пуста,
 В лампаде погас пред иконою свет...
 Мне грустно, малюток моих уже нет!
 И сердце так больно сожмется!

О дети, в глубокий полуночный час,
 Молитесь о том, кто молился о вас,
 О том, кто любил вас крестом знаменать:
 Молитесь, да будет и с ним благодать,
 Любовь Вседержителя Бога.

1839

К И Е В

Высоко передо мною
Старый Киев над Днепром:
Днепр сверкает под горою
Переливным серебром.

Слава, Киев многовечный,
Русской славы колыбель!
Слава, Днепр наш быстротечный
Руси чистая купель!

Сладко песни раздалися,
В небе тих вечерний звон...
Вы откуда собралися,
Богомольцы, на поклон?

«Я оттуда, где струится
Тихий Дон, краса степей».
«Я оттуда, где клубится
Беспредельный Енисей!»

«Край мой — теплый берег Евксина!»
«Край мой — берег тех дальних стран,
Где одна сплошная льдина
Оковала океан».

«Дик и страшен верх Алтая,
Вечен блеск его снегов:
Там страна моя родная!»
«Мне отчизна старый Псков».

«Я от Ладоги холодной»,
«Я от синих волн Невы»,
«Я от Камы многоводной»,
«Я от матушки-Москвы».

Слава, Днепр, седые волны!
Слава, Киев, чудный град!
Мрак пещер твоих безмолвный
Краше царственных палат.

Знаем мы: в века былые,
В древню ночь и мрак глубок,
Над тобой блеснул России
Солнца вечного Восток.

И теперь из стран далеких,
Из неведомых степей,
От полночных рек глубоких —
Полк молящихся детей —

Мы вокруг твоей святыни
Все с любовью собраны...
Братцы, где ж сыны Волины?
Галич, где твои сыны?

Горе, горе! Их спалили
Польши дикие костры,
Их сманили, их пленили
Польши шумные пиры.

Меч и лесть, обман и пламя
Их похитили у нас;
Их ведет чужое знамя,
Ими правит чуждый глас.

Пробудися, Киев, снова!
Падших чад своих зови!
Сладок глас отца роднова,
Зов моленья и любви.

И отторженные дети,
Лишь услышат твой призыв,
Разорвав коварства сети,
Знамя чуждое забыв,

Снова, как во время оно,
Успокоиться придут
На твое святое лоно,
В твой родительский приют.

И вокруг знамен отчизны
 Протекут они толпой
 К жизни духа, к духу жизни,
 Возрожденные тобой!

1839

ВИДЕНИЕ

Как темнота широко воцарилась!
 Как замер шум денного бытия!
 Как сладостно дремотою забылась
 Прекрасная, любимая моя!
 Весь мир лежит в торжественном покое,
 Увитый сном и дивной тишиной;
 И хоры звезд, как празднество ночное,
 Свои пути свершают над землей.

Что пронеслось, как вешнее дыханье?
 Что надо мной так быстро протекло?
 И что за звук, как арфы содроганье,
 Как лебедя звенящее крыло?
 Вдруг свет блеснул, полнеба распахнулось,
 Я задрожал, безмолвный, чуть дыша...
 О, перед кем ты, сердце, вострепнулось?
 Кого ты ждешь? Скажи, моя душа!

Ты здесь, владыка песнопений,
 Прекрасный царь моей молодой мечты!
 Небесный друг, мой благодатный гений,
 Опять, опять ко мне явился ты!
 Все та ж весна ланиты оживленной,
 И тот же блеск твоих эфирных крыл,
 И те ж уста с улыбкой вдохновенной:
 Все тот же ты. Но ты не то, что был.

Ты долго жил в лазурном том просторе,
 И на челе остался луч небес;
 И целый мир в твоём глубоком взоре,
 Мир ясных дум и творческих чудес.

Прекраснес, и глубже, и звучнее
 Твоих речей певучая волна,
 И крепкий стан подымлется смелее,
 И звонких крыл грознее ширина.

Перед тобой с волнением тайным страха
 Сливается волнение любви.
 Склонись ко мне, возьми меня из праха,
 По прежнему мечты благослови!
 По прежнему эфирным дуновеньем,
 Небесный брат, коснись главы моей,
 Всю грудь мою наполни вдохновеньем,
 Земную мглу от глаз моих отвей!

И полный сил, торжественный и мирный,
 Я восстаю над бездной бытия...
 Проснись, тимпан! Проснись, голос лирный!
 В моей душе проснись, песнь моя!
 Внемите мне, вы страждущие люди;
 Вы, сильные, склоните робкий слух;
 Вы, мертвые и каменные груди,
 Услыша песнь, примите жизни дух!

Р О С С И И

«Гордись!» тебе льстецы сказали:
 «Земля с увенчанным челом,
 Земля несокрушимой стали,
 Полмира взявшая мечом!
 Пределов нет твоим владеньям,
 И прихотей своих раба,
 Внимает гордым повеленьям
 Тебе покорная судьба.
 Красны степей твоих уборы,
 И горы в небо уперлись,
 И как моря твои озера»...
 Не верь, не слушай, не гордись!

Пусть рек твоих глубоки волны,
 Как волны синие морей
 И недра гор алмазов полны,
 И хлебом пышен тук степей,
 Пусть пред твоим державным блеском
 Народы робко клонят взор,
 И семь морей немолчным плеском
 Тебе поют хвалебный хор;
 Пусть далеко грозой кровавой
 Твои перуны пронеслись:
 Всей этой силой, этой славой,
 Всем этим прахом не гордись!

Грозней тебя был Рим великой,
 Царь семихолмного хребта,
 Железных сил и воли дикой
 Осуществленная мечта;
 И нестерпим был огонь булата
 В руках Алтайских дикарей,
 И вся зарылась в горы злата
 Царица западных морей.
 И что же Рим? И где Монголы?
 И скрыв в груди предсмертный стон,
 Кует бессильные крамолы,
 Дрожа над бездной, Альбион.

Бесплоден всякий дух гордыни,
 Не верно злато, сталь хрупка;
 Но крепок ясный мир святыни,
 Сильна молящихся рука!

И вот, за то, что ты смиренна,
 Что в чувстве детской простоты,
 В молчаньи сердца сокровенна,
 Глагол Творца прияла ты, —
 Тебе Он дал свое призванье,
 Тебе Он светлый дал удел:
 Хранить для мира достоянье
 Высоких жертв и чистых дел;

Хранить племен святое братство,
 Любви живительный сосуд,
 И веры пламенной богатство,
 И правду, и бескровный суд.

Твое все то, чем дух святится,
 В чем сердцу слышен глас небес,
 В чем жизнь грядущих дней таится,
 Начала славы и чудес!..
 О, вспомни свой удел высокий,
 Былое в сердце воскреси,
 И в нем сокрытого глубоко
 Ты духа жизни допроси!
 Внимай ему — и все народы
 Обняв любовью своей,
 Скажи им таинство свободы,
 Сиянье веры им пролей!

И станешь в славе ты чудесной
 Превыше всех земных сынов,
 Как этот синий свод небесный
 Прозрачный Вышнего покров!

1839

NACHSTÜCK I

Вчерашняя ночь была так светла,
 Вчерашняя ночь все звезды зажгла

Так ясно,

Что, глядя на холмы и дремлющий лес,
 На воды, блестящие блеском небес,
 Я думал: о, жить в этом мире чудес

Прекрасно!

Прекрасны и волны и дали степей
 Прекрасна, в одежде зеленых ветвей,

Дубрава;

Прекрасна любовь с вечно-свежим венком,
 И дружбы звезда с неизменным лучом,
 И песен восторг с озаренным челом,
 И слава!

Взглянул я на небо — там твердь ясна:
 Высоко, высоко восходит она
 Над бездной;

Там звезды живые катятся в огне...
 И детское чувство проснулось во мне,
 И думал я: лучше нам в той вышине
 Надзвездной!

1841

NACHSTÜCK II

Сумрак вечерний тихо взошел,
 Месяц двурогий звезды повел
 В лазурном просторе.
 Время покоя, любви, тишины,
 Воздух и небо сиянья полны,
 Смолкло роптанье разгульной волны,
 Сравнялося море.

Сердцу отрадно; берег далек,
 Как очарован спит мой челнок,
 Упали ветрила.
 Небо, как море, лежит надо **мной**,
 Море, как небо, блестит синевой;
 В бездне небесной и бездне морской
 Все те же светила.

О, чтобы в душу вошла тишина!
 О, чтобы реже смущалась она
 Земными мечтами!

Лучше, чем в лоне лазурных морей,
 Полное тайны и полно лучей,
 Вечное небо гляделось бы в ней
 Со всеми звездами!

1841

RITTERSPRUCH — RICHTERSPRUCH

Ты вихрем летишь на коне боевом
 С дружиной твоей удалюю, —
 И враг побежденный упал под конем,
 И пленный лежит пред тобою.
 Сойдешь ли с коня ты? Поднимешь ли меч?
 Сорвешь ли бессильную голову с плеч?
 Пусть бился он с диким неистовством брани,
 По градам и селам пожары простер;
 Теперь он подымлет молящие длани.
 Убьешь ли? О стыд и позор!

А если вас много, убьете ли вы
 Того, кто охвачен цепями,
 Кто стоптанный в прахе, молящей главы
 Не смеет поднять перед вами?
 Теперь он бессилен, угас его взор,
 Пусть дух его черен как мрак гробовой,
 Пусть сердце в нем подло как червь гноевой,
 Пусть кровью, разбоем он весь знаменован;
 Он властью связан, он ужасом скован...
 Убьете ль? О стыд и позор!

1842

Д А В И Д

Певец-пастух на подвиг ратный
 Не брал ни тяжкого меча,
 Ни шлема, ни брони булатной,
 Ни лат с Саулова плеча;

Но духом Божьим осененный,
 Он в поле брал кремень простой,
 И падал враг иноплеменный,
 Сверкая и гремя броней.

И ты — когда на битву с ложью
 Восстанет правда дум святых —
 Не налагай на правду Божью
 Гнилую тяжесть лат земных.

Доспех Саула — ей окова,
 Ей царский тягостен шелом:
 Ее оружие — Божье слово,
 А Божье слово — Божий гром!

1844



Не говорите: «то бывшее,
 То старина, то грех отцов;
 А наше племя молодое
 Не знает старых тех грехов».
 Нет, этот грех — он вечно с вами,
 Он в ваших жилах и в крови,
 Он сросся с вашими сердцами,
 Сердцами мертвыми к любви.

Молитесь, кайтесь, к небу длани!
 За все грехи былых времен,
 За ваши Каинские брани
 Еще с младенческих пелен;
 За слезы страшной той години,
 Когда, враждой упоены,
 Вы звали чуждые дружины
 На гибель русской стороны.
 За рабство вековому плену;
 За робость пред мечом Литвы,
 За Новгород, его измену,
 За двоедушие Москвы;
 За стыд и скорбь святой царицы,
 За узаконенный разврат,
 За грех царя-святоубийцы,
 За разоренный Новоград;
 За клевету на Годунова,

За смерть и стыд его детей,
 За Тушино, за Ляпунова,
 За пьянство бешеных страстей;
 За слепоту, за злодеянья,
 За сон умов, за хлад сердец,
 За гордость темного незнания,
 За плен народа; наконец,
 За то, что полные томленья,
 В слепой сомнения тоске,
 Пошли просить вы исцеленья
 Не у Того, в Его ж руке
 И блеск побед, и счастье мира,
 И огонь любви, и свет умов, —
 Но у бездушного кумира,
 У мертвых и слепых богов!
 И, обуяв в чаду гордыни,
 Хмельные мудростью земной,
 Вы отрсклись от всей святыни,
 От сердца стороны родной!
 За все, за всякия страданья,
 За всякий попранный закон,
 За темныя отцов деянья,
 За темный грех своих времен,
 За все беды родного края, —
 Пред Богом благости и сил,
 Молитесь, плача и рыдая,
 Чтоб Он простил, чтоб Он простил!

1846

В АЛЬБОМ В. В. ГАНКЕ

Когда-то я просил Бога о России и говорил:

«Не дай ей рабского смиренья,
 Не дай ей гордости слепой,
 И дух мертвящий, дух сомненья
 В ней духом жизни успокой».

1847



Беззвездная полночь дышала прохладой,
Крутилася Лаба, гремя под окном;
О Праге я с грустною думал отрадой,
О Праге мечтал, забывая сном.

Мне снилось — лечу я: орел сизокрылый
Давно и давно бы в полете отстал;
А я, увлекаем невидимой силой,
Все выше и выше взлетал.

И с неба картину я зрел величаву:
В убранстве и блеске весь Западный край,
Мораву, и Лабу, и дальнюю Саву,
Гремящий и синий Дунай.

И Прагу я видел, и Прага сияла,
Сиял златоверхий на Петшине храм;
Молитва Славянская громко звучала
В напевах, знакомых минувшим векам.

И в старой одежде Святого Кирилла
Епископ на Петшин всходил,
И следом валила народная сила,
И воздух был полон куреньем кадил.

И клир, воспевая небесную славу,
Звал милость Господню на Западный край,
На Лабу, Мораву, на дальнюю Саву,
На шумный и синий Дунай.

1847

И. В. КИРЕЕВСКОМУ

Ты сказал нам: «За волною
Ваших мысленных морей
Есть земля: над той землею
Блещет дивной красотою
Новой мысли эмпирей».

Распусти ж свой парус белый —
 Лебединое крыло —
 И стремися в те пределы,
 Где тебе, наш путник смелый,
 Солнце новое взошло!

И с богатством многоценным
 Возвратившись снова к нам,
 Дай покой душам смятенным,
 Крепость волям утомленным,
 Пищу алчущим сердцам!

КРЕМЛЕВСКАЯ ЗАУТРЕНЯ НА ПАСХУ

В безмолвии, под ризою ночною,
 Москва ждала, и час святой настал:
 И мощный звон промчался над землею,
 И воздух весь, гудя, затрепетал.
 Певучие, серебряные громы
 Сказали весть святого торжества,
 И слыша глас, ее душе знакомый,
 Подвиглася великая Москва.

Все тот же глас: ни нашего волненья,
 Ни мелочно-торжественных забот
 Не знает он, и вестник искупленья,
 Он с высоты нам песнь одну поет, —
 Свободы песнь, песнь конченного плена!
 Мы слушаем: но как внимаем мы?
 Сгибаются ль упрямые колена?
 Смиряются ль кичливые умы?
 Откроем ли радушные объятия
 Для страждущих, для меньшей братья всей?
 Хоть вспомним ли, что это слово — братья —
 Всех слов земных дороже и святей?



«Мы — род избранный», говорили
Сиона дети в старину:
«Нам Божьи громы осушили
Морей волнистых глубину».

«Для нас Синай оделся в пламя,
Дрожала гор кремнистых грудь,
И дым и огонь, как Божье знамя,
В пустынях нам казали путь».

«Нам камень лил воды потоки,
Дождили манной небеса;
Для нас закон, у нас пророки,
В нас Божьей силы чудеса!»

Не терпит Бог людской гордыни;
Не с теми Он, кто говорит:
«Мы соль земли, мы столб святыни,
Мы Божий меч, мы Божий щит!»

Не с теми Он, кто звуки слова
Лепечет рабским языком
И, мертвенный сосуд живого,
Душою мертв и спит умом.

Но с теми Бог, в ком Божья сила,
Животворящая струя,
Живую душу пробудила
Во всех изгибах бытия.

Он с тем, кто гордости лукавой
В слова смиренья не рядил,
Людскою не хвалился славой,
Себя кумиром не творил.

Он с тем, кто духа и свободы
Ему возносит фимиам;
Он с тем, кто все зовет народы
В духовный мир, в Господень храм!

ВОСКРЕСЕНЬЕ ЛАЗАРЯ

О Царь и Бог мой! Слово силы
Во время оно Ты сказал, —
И сокрушен был плен могилы,
И Лазарь ожил и восстал.

Молю, да слово силы грянет,
Да скажешь «встань!» душе моей, —
И мертвая из гроба встанет,
И выйдет в свет Твоих лучей;

И оживет, и величавый
Ее хвалы раздастся глас
Тебе — сиянью Отчей славы,
Тебе — Умершему за нас!

1853

ВЕЧЕРНЯЯ ПЕСНЬ

Солнце сокрылось, дымятся долины,
Медленно сходят к ночлегу стада,
Чуть шевелятся лесные вершины,
Чуть шевелится вода.

Ветер приносит прохладу ночную,
Тихою славой горят небеса.
Братья, оставим работу дневную,
В песню сольем голоса:

«Ночь на восходе с вечерней звездой,
Тихо сияет струей золотою
Западный край».

«Господи! Путь наш меж камней и терний,
Путь наш во мраке: Ты, свет невечерний,
Нас осияй!

В мгле полуночной, в полуденном зное,
В скорби и радости, в сладком покое,
В тяжелой борьбе,

Всюду сияние солнца святого,
Божия мудрость, и сила, и слово...
Слава Тебе!»

1851

З В Е З Д Ы

В час полночный, близ потока,
Ты взгляни на небеса:
Совершаются далеко
В горнем мире чудеса.

Ночи вечные лампы,
Невидимы в блеске дня,
Стройно ходят там громады
Негасимого огня.

Но впивайся в них очами —
И увидишь, что вдали,
За ближайшими звездами,
Тьмами звезды в ночь ушли.

Вновь взглядишь — и тьмы за тьмами
Утомят твой робкий взгляд:
Все звездами, все огнями
Бездны синие горят.

В час полночного молчанья,
Отгнав обманы снов,
Ты взглядишь душой в писанья
Галилейских рыбаков, ---

И в объеме книги тесной
Развернется пред тобой
Бесконечный свод небесный
С лучезарною красой.

Узришь: звезды мыслей водят
 Тайный хор свой вокруг земли;
 Вновь взглядишь — другие всходят;
 Вновь взглядишь, и там, вдали,

Звезды мыслей, тьмы за тьмами,
 Всходят, всходят без числа,
 И зажжется их огнями
 Сердца дремлющая мгла.

1853

**
*

Вставайте! Оковы распались,
 Проржавела старая цепь!
 Уж Нил и Ливан взволновались,
 Проснулась Сирийская степь!

Вставайте, Славянские братья,
 Болгарин, и Серб, и Хорват!
 Скорей друг к другу в объятья,
 Скорей за отцовский булат!

Скажите: «Нам в старые годы
 В наследство Господь даровал
 И степи, и быстрые воды,
 И лес, и ущелия скал!»

Скажите: «Мы люди свободны, —
 Да будет свободна земля,
 И горы, и глубы подводны,
 И долы, и лес, и поля!

Мы вольны, мы к битве готовы,
 И подвиг наш честен и свят:
 Нам Бог разрывает оковы,
 Нам Бог закаляет булат!»

Смотрите, как мрак убегает,
 Как месяц двурогий угас!
 Смотрите, как небо сияет
 В торжественный утренний час!

Как яркие и радости полны
 Светила грядущих веков!..
 Вскипите ж Славянские волны!
 Проснитесь гнезда орлов!

1853

**
 *

Как часто во мне пробуждалась
 Душа от ленивого сна,
 Просилась людям и братьям
 Сказаться словами она!

Как часто, о Боже, рвалась
 Вещать Твою волю земле,
 Да свет осияет разумный
 Безумцев, бродящих во мгле!

Как часто, бессильем томимый,
 С глубокой и тяжелой тоской,
 Молил Тебя дать им пророка
 С горячей и крепкой душой!

Молил Тебя в час полуночи
 Пророку дать силу речей,
 Чтоб мир оглашал он далеко
 Глаголами правды Твоей!

Молил Тебя с плачем и стоном,
 Во прахе простерт пред Тобой,
 Дать миру и уши и сердце
 Для слушанья речи святой!

1854

СУД БОЖИИ

Глас Божий: «Сбирайтесь на праведный суд,
Сбирайтесь к Востоку народы!»
И, слепо свершая назначенный труд,
Народы земными путями текут,
Спешат через бурные воды.

Спешат и, кровавый предчувствуя спор,
Смятенья, волнения полны,
Сбираются, — грозный, гремящий собор, --
На Черное море, на синий Босфор.
И ропщат и пенятся волны.

Чреваты громами, крылаты огнем,
Несутся суда и над ними:
Двуглавый орел с одноглавым орлом,
И скачущий лев с однорогим конем,
И флаг под звездами ночными.

Глас Божий: «Сбирайтесь из дальних сторон!
Великое время пришло
Для тризны кровавой, больших похорон:
Мой суд совершится, Мой час положен, —
В сраженья бросайтесь смело!

За веру безверную, лесть и разврат,
За гордость Царьграда слепую —
Отману Я дал сокрушительный млат,
Громовые стрелы и острый булат,
И силу коварную, злую.

Грозою для мира был страшный боец,
Был карой Восточному краю.
Но слышу Я стоны смиренных сердец;
Ломаю престол и срываю венец,
И Мой бич вековой сокрушаю!»

Народы собрались из дальних сторон,
 Волнуются берег и море.
 Безумной борьбою весь мир потрясен,
 И стон над землею, и на море стон,
 И плач и кровавое горе.

Твой суд совершится в огне и крови,
 Свершат его слепо народы...
 О Боже, прости их и всех призови!
 Исполни их веры и братской любви,
 Согрей их дыханьем свободы!

Март 1854

Р О С С И И

Тебя призвал на брань святую,
 Тебя Господь наш полюбил,
 Тебе дал силу роковую,
 Да сокрушишь ты волю злую
 Слепых, безумных, диких сил.

Вставай, страна моя родная!
 За братьев! Бог тебя зовет
 Чрез волны гневного Дуная —
 Туда, где, землю огибая,
 Шумят струи Эгейских волн.

Но помни: быть орудьем Бога
 Земным созданиям тяжело;
 Своих рабов Он судит строго, —
 А на тебя, увы! как много
 Грехов ужасных налегло!

В судах черна неправдой черной
 И игом рабства клеймена;
 Безбожной лести, лжи тлетворной,
 И лени мертвой и позорной,
 И всякой мерзости полна!

О, недостойная избранья,
Ты избрана! Скорей омой
Себя водою покаянья,
Да гром двойного наказания
Не грянет над твоей главой!

С душой коленопреклоненной,
С главой, лежащею в пыли,
Молись молитвою смиренной,
И раны совести растленной
Елеем плача исцели!

И встань потом, верна призванью,
И бросься в пыл кровавых сеч!
Борись за братьев крепкой бранью,
Держи стяг Божий крепкой дланью,
Рази мечом, — то Божий меч!

Март 1854

РАСКАЯВШЕЙСЯ РОССИИ

Не в пьянстве похвальбы безумной,
Не в пьянстве гордости слепой,
Не в буйстве смеха, песни шумной,
Не с звоном чаши круговой;
Но в силе трезвенной смиренья
И обновленной чистоты,
На дело грозного служенья
В кровавый бой предстанешь ты.

О Русь моя! Как муж разумный,
Сурово совесть допросив,
С душою светлой, многодумной,
Идет на Божеский призыв:
Так, исцелив болезнь порока
Сознаньем, скорбью и стыдом,
Пред миром станешь ты высоко
В сияньи новом и святом!

Иди! Тебя зовут народы.
 И, совершив свой бранный пир,
 Даруй им дар святой свободы,
 Дай мысли жизнь, дай жизни мир!
 Иди! Светла твоя дорога:
 В душе любовь, в деснице гром,
 Грозна, прекрасна — Ангел Бога
 С огнесверкающим челом!

1854

ПО ПРОЧТЕНИИ ПСАЛМА

Земля трепещет; по эфиру
 Катится гром из края в край.
 То Божий глас; он судит миру:
 «Израиль, Мой народ, внимай!

Израиль! Ты Мне строишь храмы,
 И храмы золотом блестят,
 И в них курятся фимиамы,
 И день и ночь огни горят.

К чему Мне пышных храмов своды,
 Бездушный камень, прах земной!
 Я создал землю, создал воды,
 Я небо очертил рукой!

Хочу — и словом расширяю
 Предел неизвестных вам чудес,
 И бесконечность созидаю
 За бесконечностью небес.

К чему мне злато? В глубь земную,
 В утробу вековых скал
 Я влил, как воду дождевую,
 Огнем расплавленный металл.

Он там кипит и рвется, сжатый
В оковах темной глубины;
А ваши серебро и золото
Лишь всплеск той пламенной волны.

К чему куренья? Предо Мною
Земля со всех своих концов,
Кадит дыханьем под росую
Благоухающих цветов.

К чему огни? Не Я ль светила
Зажег над вашей головой?
Не Я ль, как искры из горнила,
Бросаю звезды в мрак ночной?

Твой скуден дар. — Есть дар бесценный.
Дар нужный Богу твоему;
Ты с ним явись и, примиренный,
Я все дары твои приму:

Мне нужно сердце чище злата
И воля крепкая в труде;
Мне нужен брат, любящий брата,
Нужна мне правда на суде!..»

1858

Широка, необозрима,
Чудной радости полна,
Из ворот Иерусалима
Шла народная волна.
Галилейская дорога
Оглашалась торжеством:
«Ты идешь во имя Бога,
Ты идешь в свой царский дом!
Честь тебе, наш царь смиренный,
Честь тебе, Давидов сын!»

Так, внезапно вдохновенный,
Пел народ, Но там один,
Недвижим в толпе подвижной,
Школ воспитанник седой,

Гордый мудростию книжной,
 Говорил с усмешкой злой:
 «Это ль царь ваш, слабый, бледный,
 Рыбаками окружен?
 Для чего он в ризе бедной,
 И зачем не мчится он,
 Силу Божью обличая,
 Весь одет в черной мглой,
 Пламенея и сверкая
 Над трепещущей землей?»..

И века прошли чредою,
 И Давидов сын с тех пор,
 Тайно правя их судьбою,
 Усмиряя буйный спор,
 Налагая на волненье
 Цепь любовной тишины,
 Мир живет, как дуновенье
 Наступающей весны.
 И в трудах борьбы великой
 Им согреты сердца
 Узнают шаги владыки,
 Слышат сладкий зов отца.

Но в своем неверьи твердый
 Неисцельно ослеплен,
 Все, как прежде, книжник гордый
 Говорит: «Да где же он?
 И зачем в борьбе смятенной
 Исторического дня,
 Он проходит так смиренно,
 Так незримо для меня,
 А нейдет, как буря злая,
 Весь одет в черной мглой,
 Пламенея и сверкая
 Над трепещущей землей?»..

Т Р У Ж Е Н И К

По жестким глыбам сорной нивы,
С утра, до истощенья сил,
Довольно, пахарь терпеливый,
Я плуг тяжелый свой водил.

Довольно, дикою враждою
И злым безумьем окружен,
Боролся крепкой я борьбою...
Я утомлен, я утомлен!

Пора на отдых. О дубравы!
О, тишина полей и вод,
И над оврагами кудрявый
Ветвей сплетающихся свод!

Хоть раз один в тени отрадной,
Склонившись к звонкому ручью,
Хочу всей грудью, грудью жадной,
Вдохнуть вечернюю струю.

Стереть бы пот дневного зноя,
Страхнуть бы груз дневных забот!..
«Безумец! Нет тебе покоя,
Нет отдыха: вперед, вперед!

Взгляни на ниву: пашни много,
А дня немного впереди.
Вставай же, раб ленивый Бога,
Господь велит: иди, иди!

Ты куплен дорогой ценою,
Крестом и кровью куплен ты,
Сгибайся ж пахарь над браздою!
Борись, борец, до поздней тьмы!»

Пред словом грозного призванья
Склоняюсь трепетным челом,
А Ты безумного роптанья
Не помяни в суде Твоем!

Иду свершать в труде и поте,
 Удел, назначенный Тобой,
 И не сомкну очей в дремоте,
 И не ослабну пред борьбой.

Не брошу плуга, раб ленивый,
 Не отойду я от него,
 Покуда не прорежу нивы,
 Господь, для сева Твоего.

1858

ПО ПОВОДУ КАРТИНЫ ИВАНОВА

Счастлива мысль, которой не светила
 Людской молвы приветная весна.
 Безвременно рядиться не спешила
 В листы и цвет ее младая сила,
 Но корнем в глубь врывалась она.

И ранними и поздними дождями
 Вспоенная, внезапно к небесам
 Она взойдет, как ночь темна ветвями,
 Как ночь в звездах, осыпана цветами:
 Краса земле и будущим векам!

1858

Подвиг есть и в сраженьи,
 Подвиг есть и в борьбе;
 Высший подвиг в терпении,
 Любви и мольбе.

Если сердце заняло
 Перед злобой людской,
 Иль насилье схватило
 Тебя цепью стальной;

Если скорби земные
Жалом в душу впились, —
С верой бодрой и смелой
Ты за подвиг берись:

Есть у подвига крылья,
И взлетишь ты на них,
Без труда, без усилья,
Выше мраков земных, —

Выше крыши темницы,
Выше злобы слепой,
Выше воплей и криков
Гордой черни людской!²⁾

1858

²⁾ Это стихотворение было посвящено Евгении Сергеевне Шеншиной, рожд. Арсеньевой (1833-1875).

II. СТАТЬИ ИСТОРИКО-КРИТИЧЕСКОГО И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА

МНЕНИЕ ИНОСТРАНЦЕВ О РОССИИ¹⁾

В Европе стали много говорить и писать о России. Оно и неудивительно: у нас так много говорят и пишут о Европе, что европейцам, хоть из вежливости следовало заняться Россией. Всякий русский путешественник, возвращаясь из-за границы, спрашивает у своих знакомых домоседов: «читали ли они, что написал о нас лорд такой-то, маркиз такой-то, книгопродавец такой-то, доктор такой-то?» Домосед, разумеется, всегда отвечает, что не читал. — «Жаль, очень жаль, прелюбопытная книга: сколько нового, сколько умного, сколько дельного! Конечно, есть и вздор, многое преувеличено; но сколько правды! — любопытная книга». Домосед расспрашивает о содержании любопытной книги, и выходит на поверку, что лорд нас отдела́л так, как бы желал отделать ирландских крестьян; что маркиз поступает с нами, как его предки с виленами; что книгопродавец обращается с нами хуже, чем с сочинителями, у которых он покупает рукописи; а доктор нас уничтожает пуще, чем своих больных. И сколько во всем этом вздора, сколько невежества! Какая путаница в понятиях и даже в словах, какая бесстыдная ложь, какая наглая злоба! Поневоле родится чувство досады, поневоле спрашиваешь: на чем основана такая злость, чем мы ее заслужили? Вспомнишь, как того-то мы спасли от неизбежной гибели; как другого, поработченного, мы подняли, укрепили; как третьего, победив, мы спа-

¹⁾ Напечатано в «Москвитянине» 1845 года, в книге 4-й.

сли от мщеня, и т. д. Досада нам позволительна; но досада скоро сменяется другим, лучшим чувством — грустью истинной и сердечной. В нас живет желание человеческого сочувствия; в нас беспрестанно говорит теплое участие в судьбе нашей иноземной братии, к ее страданиям, так же как к ее успехам; к ее надеждам, так же как к ее славе. И на это сочувствие и на это дружеское стремление мы никогда не находим ответа: ни разу слова любви и братства, почти ни разу слова правды и беспристрастия. Всегда один отзыв — насмешка и ругательство; всегда одно чувство — смешение страха с презрением. Не того желал бы человек от человека.

Трудно объяснить эти враждебные чувства в западных народах, которые развили у себя столько семян добра и подвинули так далеко человечество по путям разумного просвещения. Европа не раз показывала сочувствие даже с племенами дикими, совершенно чуждыми ей и несвязанными с ней никакими связями кровного или духовного родства. Конечно, в этом сочувствии высказывалось все-таки какое-то презрение, какая-то аристократическая гордость крови или, лучше сказать, кожи; конечно, европеец, вечно толкующий о человечестве, никогда не доходил вполне до идеи человека; но все-таки хоть изредка высказывалось сочувствие и какая-то способность к любви. Странно, что Россия одна имеет как будто привилегию пробуждать худшие чувства европейского сердца. Кажется, у нас и кровь индо-европейская, как и у наших западных соседей, и кожа индо-европейская (а кожа, как известно, дело великой важности, совершенно изменяющее все нравственные отношения людей друг с другом), и язык индо-европейский, да еще какой! самый чистейший и чуть-чуть не индейский; а все-таки мы своим соседям не братья.

Недоброжелательство к нам других народов очевидно основывается на двух причинах: на глубоком сознании различия во всех началах духовного и общественного развития России и Западной Европы и

на невольной досаде пред этою самостоятельной силою, которая потребовала и взяла все права равенства в обществе европейских народов. Отказать нам в наших правах они не могут: мы для этого слишком сильны; но и признать наши права заслуженными они также не могут, потому что всякое просвещение и всякое духовное начало, не вполне еще проникнутые человеческою любовью, имеют свою гордость и свою исключительность. Поэтому полной любви и братства мы ожидать не можем, но мы могли бы и должны ожидать уважения. К несчастью, если только справедливы рассказы о новейших отзывах европейской литературы, мы и того не приобрели. Нередко нас посещают путешественники, снабжающие Европу сведениями о России. Кто побудет месяц, кто три, кто (хотя это очень редко) почти год, и всякий, возвращаясь, спешит нас оценить и словесно и печатно. Иной пожил, может быть, более года, даже и несколько годов, и, разумеется, слова такого оценщика уже внушают бесконечное уважение и доверенность. А где же пробыл он во все это время? По всей вероятности, в каком-нибудь тесном кружке таких же иностранцев, как он сам. Что видел? Вероятно, один какой-нибудь приморский город, а произносит он свой приговор, как будто бы ему известна вдоль и поперек вся наша бесконечная, вся наша разнообразная Русь.

К этому надобно еще прибавить, что почти ни один из этих европейских писателей не знал даже русского языка, не только народного, но и литературного, и следовательно не имел никакой возможности оценить смысл явлений современных так, как они представляются в глазах самого народа; и тогда можно будет судить, как жалки, как ничтожны были бы данные, на которых основываются все эти приговоры, если бы действительно они не основывались на других данных, извиняющих отчасти опрометчивость иностранных писателей, — именно на собственных наших показаниях о себе. Еще прежде чем иностранец

побывает в России, он уже узнает ее по множеству наших путешественников, которые так усердно меряют большие дороги всей Европы с равною пользою для просвещения России вообще и для своего просвещения в особенности. Вот первый источник сведения Европы о России. Я очень далек от того, чтобы отвергать пользу и даже необходимость путешествий. Много прекрасного, много истинно-человеческого скрывается в этой, повидимому, пустой и бесплодной потребности одного народа — поглядеть на житье-бытье других народов, побеседовать с ними у них самих, поприслушаться к их живому слову и к движению их живой мысли; но не все же хорошо в путешествиях. В иных отношениях, можно сказать, что путешественник хуже домоседа. Его существование одностороннее и носит на себе какой-то характер эгоистического самодовольства. Он смотрит на чужую жизнь, — но живет сам по себе, сам для себя; он проходит по обществу, но он не член общества; он двигается между народами, но не принадлежит ни к одному. Он принимает впечатления, он наслаждается всем, что удобно, или добро, или прекрасно, — но сам он не внушает сочувствия и не трудится в общем деле, беспрестанно совершаемом всеми около него. Разумеется, я исключаю из этого определения тех великих двигателей человечества, которые переносят или переносили с собою из края в край какую-нибудь высокую мысль, какое-нибудь плодотворное знание, и были благодетелями стран, ими посещенных. Такие люди бывали, да много ли их? Вообще польза и достоинства путешествия проявляются после возвращения странника на родину, а в самое время своего странствования он носит на себе характер эгоистической односторонности и в это время служит плохим мерилom для достоинства своего народа. К тому же надобно прибавить еще другое замечание: нравственное достоинство человека высказывается только в обществе, а общество есть не то собрание людей, которое нас случайно окружает,

но то, с которым мы живем заодно. Плодотворное ощущение общества вызывает наружу лучшие побуждения нашей души; плодотворная строгость общественного суда укрепляет наши силы и сдерживает худшие наши стремления. Путешественник вечно одинок во всем бессилии своего личного произвола. Веселый разгул его эгоистической жизни не должен бы служить образчиком для суждения об общем достоинстве его домашней жизни; но не всем же приходит эта мысль на ум, а между тем как он гуляет по чужим краям (как крестьянин, захавший на далекую ярмарку, где его никто не знает, и все ему чужие), земля, в которой он гостит, произносит суд над ним и по нем над его народом. Разумеется, такая ошибка возможна только в суждении о народах совершенно неизвестных; да разве Россия не неизвестная земля? Смешно бы было, если бы кто-нибудь из нас стал утверждать, что Россия сравнялась с своею Западной братиею во всех отраслях, или даже в какой-нибудь отрасли внешнего образования — в искусствах ли, в науке ли, в удобствах или щегольстве житейских устройств. Поэтому благоговение, с которым русский проходит всю Европу, — очень понятно. Смиренно и с преклоненною главою посещает он Западные святилища всего прекрасного, в полном сознании своего личного и нашего общего бессилия. Скажу более: есть какое-то радостное чувство в этом добровольном смирении. Конечно, многие из наших путешественников заслужили похвалу и доброе мнение в чужих землях; но на выражение этого доброго мнения они всегда отвечали с добродушным сомнением, не веря сами своему успеху. Редкий, и тот разумеется хуже других, принимал похвалу, как должную дань и, возрастая мгновенно в своих собственных глазах на необъятную вышину, благодарил своих снисходительных судей с гордым смиреньем, которое как будто говорило: «да, я знаю, что я человек порядочный, я вполне верю вашим словам; но Боже мой! какого стоило мне труда сделаться таким,

каким вы меня видите! из какой глубины я вырос! из какого народа я вышел!» Впрочем эти примеры редки; и должно сказать вообще, что русский путешественник, как представитель всенародного смирения, не исключает и самого себя. В этом отношении он составляет резкую противоположность с английским путешественником, который облакает безобразие своей личной гордости в какую-то святость гордости народной. Смирение, конечно, чувство прекрасное: но к стыду человечества надобно признаться, что оно мало внушает уважения, и что европеец, собираясь ехать в Россию и побеседовав с нашими путешественниками, не запасается ни малейшим чувством благоговения к той стране, которую он намерен посетить.

И вот он приехал в Россию, и вот он заговорил со всем нашим образованным обществом. Принятый ласково и радушно, он стал прислушиваться к нашим откровенным речам и услышал то же самое, что слышал за границею от путешественников. То, что было за границею выражением невольного благоговения перед дивными памятниками других народов, является уже в России не только как выражение невольного чувства, но и как дело утонченной вежливости. Не хвастаться же дома! Впрочем я очень от этого далек, чтобы роптать на нашу народную скромность. Это чувство прекрасное, благородное, высокое; строгий суд над собою возвышает народ так же, как он возвышает человека. Благоговение перед всем великим обличает сочувствие со всем великим и обещает великое в будущем. Избави Бог от людей самодовольных и от самодовольства народного; но надобно признаться, что всякая добродетель имеет свою крайность, в которой она становится несколько похожею на порок. Быть может, мы впадаем иногда и в эту крайность, которая, без сомнения, лучше самохвальства, но все-таки не заслуживает похвалы и унижает нас в глазах Западных народов. Наша сила внушает зависть; собственное признание в нашем ду-

ховном и умственном бессилии лишает нас уважения: вот объяснение всех отзывов Запада о нас.

Смирение человека так же, как и смирение народа, могут иметь два значения, совершенно противоположные. Человек или народ сознает святость и величие закона нравственного или духовного, которому подчиняет он свое существование; но в то же время признает, что этот закон проявлен им в жизни недостаточно или дурно, что его личные страсти и личные слабости исказили прекрасное и святое дело. Такое смирение велико; такое признание возвышает и укрепляет дух; такое самоосуждение внушает невольное уважение другим людям и другим народам. Но не таково смирение человека или народа, который сознается не только в собственном бессилии, но в бессилии или неполноте нравственного или духовного закона, лежавшего в основе его жизни. Это не смирение, а отречение. Человек разрывает все связи с своей прошедшей жизнью, он перестает быть самим собою; а если он говорит от имени народа, то уж тем самым он от народа отрекается.

Конечно, говорят, что какое бы ни было мнение человека, он не перестает принадлежать земле, давшей ему бытие. Русского, что бы он ни делал, как бы ни прикидывался иностранцем, узнают всегда. Как? по выдавшимся слегка скулам, по неопределенной форме носа, по рисунку и цвету глаз? Это признаки породы, а не народа. По невольной особенности мысли? по невольной резкости или мягкости поступков? по обороту речей? И это не народность. Это только звенья, обломки разорванной исторической цепи, на которую ропщет гордый произвол, да скинуть не может. Это тоже признаки породы, хотя в другом смысле, породы исторической, а не чисто физической; ибо органы человеческие развиваются, вероятно, столько же под влиянием истории, сколько под грубо вещественными влияниями климата или пищи. Принадлежать народу значит с полною и разумною волею сознать и любить нравственный и ду-

ховный закон, проявлявшийся (хотя разумеется не сполна) в его историческом развитии. Неуважение к этому закону унижает неизбежно народ в глазах других народов. Нам случается впадать в эту крайность; но в то же время ошибка наша прощительна: это не грех злой воли, а грех неведения. Мы России не знаем.

Человеку трудно узнать самого себя. Даже в физическом отношении человек без зеркала лица своего не узнает, а умственного зеркала, где бы отразилась его духовная и нравственная физиономия, он еще не выдумал; точно также трудно и народу себя узнать. Наша западно-европейская братия разбита на множество племен и государств; каждое изучает и определяет своего соседа, и этот труд совершается уже несколько веков, а едва ли хоть один народ определен или понят вполне. Так, например, величайшая и бесспорно первая во всех отношениях из держав Запада, Англия, не была постигнута до сих пор ни своими, ни иноземными писателями. Везде она является как создание какого-то условного и мертвого формализма, какой-то душеубийственной борьбы интересов, какого-то холодного расчета, подчинения разумного начала существующему факту, и все это с примесью народной и особенно личной гордости, слегка смягченной какими-то полупорочными добродетелями. И действительно, такова Англия в ее фактической истории, в ее условных учреждениях, в ее внешней политике, во всем, чем она гордится и чему завидуют другие народы. Но не такова внутренняя Англия, полная жизни духовной и силы, полная разума и любви; не Англия большинства на выборах, но единогласия в суде присяжных; не дикая Англия, покрытая замками баронов, но духовная Англия, не позволявшая епископам укреплять свои жилища; не Англия Ост-индийской компании, но Англия миссионеров; не Англия Питтов, но Вильберфорсов; Англия, у которой есть еще предание, поэзия, святость домашнего быта, теплота сердца и Диккенс, меньшой брат нашего Гоголя; наконец, старая весе-

лая Англия Шекспира (merry old England). Эта Англия во многом не похожа на остальной Запад, и она не понята ни им, ни самими англичанами. Вы ее не найдете ни в Юме, ни в Галламе, ни в Гизо, ни в Дальмане, ни в документально верном и нестерпимо скучном Лаппенберге, ни в нравоописателях, ни в путешественниках. Она сильна не учреждениями своими, но несмотря на учреждения свои. Остается только вопрос: что возьмет верх, всеубивающий ли формализм или уцелевшая сила жизни, еще богатая и способная, если не создать, то по крайней мере принять новое начало развития? В примере Англии можно видеть, что Западные народы не вполне еще познали друг друга. Еще менее могли они познать себя в своей совокупности; ибо несмотря на разницу племен, наречий и общественных форм, они все выросли на одной почве и из одних начал. Мы вышедшие из начал других, можем удобнее узнать и оценить Запад и его историю, чем он сам; но в то же время, видя всю трудность самопознания, мы имеем полное право извинить неясность нашего знания о России. Европа, может быть, узнает нас лучше нас самих, когда узнает. Впрочем, все это относится только к познанию наукообразному, к определению логическому. Есть другое высшее познание, познание жизненное, которое может и должно принадлежать всякому народу.

Много веков прошло, и историческая жизнь России развилась не без славы, несмотря на тяжелые испытания и на страдания многовековые. Широко раскинулись пределы государства, уже и тогда обширнейшего в целом мире. Жили в ней и просвещение и сила духа, которые одни могли так победоносно выдерживать такие сильные удары и такую долгую борьбу; но в тревогах боевой и тревоженной жизни, в невольном отчуждении от сообщества других народов, Россия отстала от своей Западной братии в развитии вещественного знания, в усовершенствованиях науки и искусства. Между тем жажда зна-

ния давно уже пробудилась, и наука явилась на призыв великого гения, изменившего судьбу государства. Отовсюду стали стекаться к нам множество ученых иностранцев со всеми разнообразными изобретениями Запада. Множество было отдано русских на выучку к этим новым учителям, и, разумеется, по русской смысленности, они выучились довольно легко; но наука еще не пустила крепких корней. В учение к иностранцам отдавались люди, принадлежавшие к высшему и служилому сословию; другие заботы, другие привычки, наследственные и родовые, отвлекали их от поприща, на которое они были призваны новыми государственными потребностями. В науке видели они только обязанность свою и много-много общественную пользу. С дальних берегов Северного океана, из рядов простых крестьян-рыбаков, вышел новый преобразователь. Много натерпелся он в жизни своей для науки, много настрадался, но сила души его восторжествовала. Он полюбил науку ради науки самой и завоевал ее для России. Быстры были наши успехи; жадно принимали мы всякое открытие, всякое знание, всякую мысль и, как бы ни был самолюбив Запад, он может не стыдиться своих учеников. Но мы еще не приобрели права на собственное мышление или если приобрели, то мало им воспользовались. Наша ученическая доверчивость все принимает, все повторяет, всему подражает, не разбирая, что принадлежит к положительному знанию, что к догадке, что к обще-человеческой истине и что к местному, всегда полуживому направлению мысли; но за эту ошибку нас строго судить не должно. Есть невольное, почти неотразимое обаяние в этом богатом и великом мире Западного просвещения. Строгого анализа нельзя требовать от народа в первые минуты его посвящения в тайну науки. Ошибки были неизбежны для первых преобразователей. Великий гений Ломоносова подчинился влиянию своих ничтожных современников в поэзии Германской. Понимая строгую последовательность и, так сказать, рабство нау-

ки (которая познает только то, что уже есть), он не понял свободы художества, которое не воспринимает, но творит, и от того надолго пошло наше художество по стезям рабского подражания. В народах, развивающихся самобытно, богатство содержания предшествует усовершенствованию формы. У нас пошло на оборот. Поэзия наша содержанием скудна, красотой же наружной формы равняется с самыми богатыми словесностями и не уступает ни одной. Разгадка этого исключительного явления довольно проста. Свобода мысли у нас была закована страстью к подражанию, а внешняя форма поэзии (язык) была выработана веками самобытной русской жизни. Язык словесности, язык так называемого общества (то есть язык городской) во всех почти землях Европы мало принадлежал народу. Он был плодом городской образованности, и от этого происходит какая-то вялость и неповоротливость всех Европейских наречий. Тому с небольшим полвека во Франции не было еще почти ни одной округи (за исключением окрестностей Парижа), где бы говорили по-французски. Все государство представляло соединение диких и нестройных говоров, не имеющих ничего общего с языком словесности. Зато французский язык, создание городов, быть может и не совсем скудный для выражения мысли, без сомнения богатый для выражения мелких житейских и общественных потребностей, носит на себе характер жалкого бессилия, когда хочет выразить живое разнообразие природы. Рожденный в городских стенах, только по слухам знал он о приволье полей; о просторе Божьего мира, о живой и мужественной простоте сельского человека. В новейшее время его стали, так сказать, вывозить за город и показывать ему села и поля, и рощи, и всю красоту поднебесную. В этом-то и состоит не довольно отмеченная особенность слога современных нам французских писателей; но мертвому языку жизни не привьешь. Пороки французского языка более или менее принадлежали всем языкам Европы. Одна толь-

ко Россия представляет редкое явление великого народа, говорящего языком своей словесности, но говорящего, может быть, лучше своей словесности. Скучность содержания дана была нашим прививным просвещением; чудная красота формы была дана народной жизнью. Этого не должна забывать критика искусства.

Направление, данное нам почти за полтора столетия, продолжается и до нашего времени. Принимая все без разбора, добродушно признавая просвещением всякое явление Западного мира, всякую новую систему и новый оттенок системы, всякую новую моду и оттенок моды, всякий плод досуга немецких философов и французских портных, всякое изменение в мысли или быте, мы еще не осмелились ни разу хоть вежливо, хоть робко, хоть с полусомнением спросить у Запада: все ли то правда, что он говорит? все ли то прекрасно, что он делает? Ежедневно, в своем беспрестанном волнении, называет он свои мысли ложью, заменяя старую ложь, может быть, новою, и старое безобразие, может быть, новым, и при всякой перемене мы с ним вместе осуждаем прошедшее, хвалим настоящее и ждем от него нового приговора, чтобы снова переменить наши мысли. Как будто бы не постигая разницы между науками положительными, какова, напр., математика и изучение вещественной природы, и науками догадочными, мы принимаем все с одинаковою верою. Так, напр., мы верим на слово, что процесс философского мышления совершался в Германии совершенно последовательно, хотя логическое первенство субъекта перед объектом у Шеллинга основано на ошибке в истории философской терминологии и никакая сила человеческая не свяжет Феноменологии Гегеля с его Логикой. Мы верим, что статистика имеет какое-нибудь значение отдельно от истории, что политическая экономия существует самобытно, отдельно от чисто-нравственных побуждений, и что, наконец, наука права, наука, которою так гордится Европа, которая так усовершенствована,

так обработана, которая стоит на таких твердых и несокрушимых основах, имеет действительно право на имя науки, действительную основу, действительное содержание.

Разумеется, я говорю не о науке прав, то есть закона обычного или писанного, в его положительном развитии. Эта наука тоже называется наукою права, но она имеет историческое значение и следовательно неоспоримое достоинство. Я говорю о науке права, как права самобытного, самостоятельного, носящего в себе свои собственные начала и законы своего определения. В этом смысле она не может выдержать самого легкого анализа. Самостоятельная наука должна иметь свои начала в самой себе. Какие же начала безусловного права? Человек является в совокупности сил умственных и телесных. В этом отношении он может быть предметом науки чисто-опытной, человекознания (антропологии), но его силы не имеют еще характера права. Эти силы могут быть ограничены извне, силами природы или силами других людей; но и сила человека в ограничении своем еще не имеет значения права. Это только сила стесненная. Для того, чтобы сила сделалась правом, надобно, чтобы она получила свои границы от закона, не от закона внешнего, который опять не что иное как сила (как, напр., завоевание), но от закона внутреннего, признанного самим человеком. Этот признанный закон есть признанная им нравственная обязанность. Она, и только она, дает силам человека значение права. Следовательно, наука о праве получает некоторое разумное значение только в смысле науки о самопризнаваемых пределах силы человеческой, то есть о нравственных обязанностях; точно так, как геометрия не есть наука о пространстве, но о формах пространства. С другой стороны, понятие об обязанности находится в прямой зависимости от общего понятия человека о всечеловеческой или всемирной нравственной истине, и следовательно, не может быть предметом для отдельной самобытной на-

уки. Очевидно, что наука о нравственных обязанностях, возводящих силу человеческую в право, не только находится в прямой зависимости от понятия о всемирной истине, будь оно философское или религиозное, но составляет только часть из его общей системы философской или религиозной. И так, может существовать наука права по такой-то философии или по такой-то вере; но наука права самобытного есть прямая и яркая бессмыслица, и разумное толкование о праве может основываться только на объявленных началах всемирного знания или верования, которые принимает такой-то или другой человек...

.

Вообще, все мною сказанное о самобытной науке отвлеченного права и о ложных ее приложениях в движении умственной жизни Западных народов, сказано только как пример той слепой доверчивости, с которою мы принимаем все притязания Западной мысли, и как доказательство нашего умственного порабощения. Есть, конечно, некоторые мыслители, которые, проникнув в самый смысл науки, думают, что пора и нашему мышлению освободиться; что пора нам рабствовать только истине, а не авторитету Западной личности, и черпать не только из прежних или современных школ, но и из того сокровища разума, которое Бог положил в нашем чувстве и смысле, как и во всяком смысле и чувстве человеческом. Но бесспорно, большинство наших просвещенных людей в России и особенно служителей науки находят до сих пор, что приличие, скромность и, вероятно, умственное спокойствие повелевают нам принимать только готовые выводы, не пускаясь еще в темную и страшную глубину аналитических вопросов. Спор между этими двумя мнениями еще нерешен, и неизвестно, кто будет оправдан — ученый или репетитор.

Предлагая свои сомнения об истине не только некоторых выводов, но и некоторых отраслей науки

Западной, я стараюсь выразиться с приличною робостью и смирением, чувствуя (не без страха), что я подвергаюсь строгому приговору, изреченному г. Молчалиным:

Как нам сметь,
Свое суждение иметь!

Ведь и в науке не без Молчалиных.

То доверчивое поклонение, с которым мы до сих пор следим за Западною европейскою образованностью, было, разумеется, еще сильнее, еще доверчивее в то время, когда мы еще только начинали с нею знакомиться, когда все ее величие и блеск впервые стали поражать наши глаза, когда ее слабости, ее неполнота, ее внутренняя нестройность были еще совсем недоступны нашей критике и когда Запад еще не начинал (как он теперь, очевидно, начинает) сомневаться в самом себе. И теперь мы стараемся подражать, но уже подражание наше имеет изредка кое-какие притязания на оригинальность. В первые и, так сказать, наши ученические годы мы старались быть не только подражателями, но обратиться в простой сколок с Западного мира. Не для чего толковать о том, удалось ли нам это или до какой степени удалось. Уже одной страсти ко всему иноземному, уже одного ревностного желания уподобиться во всем нашим иностранным образцам было достаточно, чтобы оторвать нас от своих коренных источников умственной и духовной жизни. Продолжая в глубине сердца любить родную землю, мы уже всеми силами ума своего отрывались от ее истории и от ее духовной сущности. Часто говорят, что и все народы, так же как и мы, были подражателями; что германцы точно так же приняли науку и искусство от Рима, как мы от романо-германского мира. Это возражение уничтожается одним словом. Правда, что Рим передал просвещение германцу; но неправда, чтобы он передал его так же, как германец России. Не франк — завоеватель просветил галла, но побежденный галл

франка. Не от норманна получил просвещение свое саксонец (за исключением, может быть, некоторых ничтожных улучшений во внешнем быте), но побежденный саксонец передал просвещение свое победителю норманну. Это доказывается не только историею, но и языковедением. Так просвещение везде переходило от низших или, по крайней мере, средних слоев общества в высшие, проникая почти весь его состав одною силою умственного развития, одним дыханием общей жизни. Не так было у нас. Одно только высшее сословие могло воспользоваться и воспользовалось новыми приобретениями знания. Старое по своему родовому происхождению от служилых людей, новое по своему характеру сословия, оно приняло в себя все богатство нового просвещения, поглощая его в одном себе, замыкая его в своем круге и замыкаясь само этою новою, почти внешнею силою. Все другие сословия остались чуждыми новому движению. Они не могли воспользоваться сокровищами науки, которая привозилась к нам как заграничный товар, доступный только для немногих, для досужих, для богатых. Они не могли, а многие из них и не хотели, ею воспользоваться. Если даже частное усовершенствование, если всякое отдельное изобретение, даже в науках прикладных, носит на себе печать земли, в которой оно возникло и, так сказать, часть ее духа, то тем более целая образованность или целая система знания запечатлевается местным характером той области, в которой она развивалась, и передает этот дух и этот характер всякой земле, которая ее усваивает и дает ей права гражданства. Темное чувство этой невидимой и в то время еще несознанной опасности удаляло от нового просвещения множество людей и целые сословия, для которых оно могло бы быть доступно, и это удаление, которое спасло нас от полного разрыва со всею нашею историческою жизнью, мы можем и должны признать за великое счастье. Оно бесспорно происходило из доброго начала, из того неопределенного

ясновидения разума человеческого, которое предугадывает многое, чему еще не может дать ни имени, ни положительного очертания. К счастью, для укрепления этого темного, но спасительного чувства, образованность иноземная, переходя к нам, привязалась упорно (вероятно она иначе сделать не могла) к тем видимым и вещественным формам, в которые она была облечена у Западных народов. Ее нерусские и необщечеловеческие начала обличались уже и тем, что не могли и не хотели расстаться с своим Западным нарядом. Между тем те люди или сословия, в которых или жажда знания была сильнее, или привязанность к исторической старине менее сильна, отделялись все более и более от тех, которые не могли или не хотели последовать за ними по ново открытым путям. Казалось бы, что раздвоение должно было быть сильнее в первые годы, когда фанатизм подражания Западу был ревностнее и страстнее, чем в последующее время; но на деле выходило иначе. Многие сначала были подражателями поневоле и роптали на горькую необходимость науки. Все, даже те, которые бросились с полным сознанием и страстной волею в пути иноземного просвещения, принадлежали Западному миру только мыслию своею, а жизнью, обычаем и сочувствием они еще принадлежали родимой стране. Люди прежнего века еще не успели сойти в гроб, воспоминания детства еще связаны были с воспоминаниями о другом порядке вещей и мысли. Еще сильны были няньки да дядьки, да весь русский дом, который не успел переделаться на иностранный лад. Но раз принятое направление должно было развиваться все более и более уже под влиянием не только страсти, но и логической необходимости. Старики вымирали, дома перелаживались, европейство утверждалось, дети и внуки просвещенного поколения были просвещеннее своих предшественников. Система просвещения, принятая извне, приносила с собою свои умственные плоды в гордости, которая пренебрегала всем родным, и свои жизненные плоды --- в

оскудении всех самых естественных сочувствий. Раздвоение утвердилось надолго.

Очевидно, что при таком гордом самодовольствии людей просвещенных, даже формальное, научно-образное знание их о России должно было ограничиться весьма тесными пределами, ибо в них исчезло самое желание знать ее; но еще более должно было пострадать другое высшее, жизненное знание, необходимое для общества так же, как и для человека. Общество, так же как человек, сознает себя не по логическим путям. Его сознание есть самая его жизнь; оно лежит в единстве обычаев, в тождестве нравственных или умственных побуждений, в живом и непрерывном размене мысли, во всем том беспрестанном волнении, которым зиждутся народ и его внутренняя история. Оно принадлежит только личности народа, как внутреннее, жизненное сознание человека принадлежит только собственной его личности. Оно недоступно ни для иностранца, ни для тех членов общества, которые волею или неволею от него уединились. Это жизненное сознание, так же как его отсутствие, выражается во всем. Иностранец, как бы он ни овладел чужим языком, никогда не обогатит его словесности: он всегда будет писателем безжизненным и бессильным. Ему останутся всегда чуждыми те необъяснимые прихоти наречия, в которых выражается вся прелесть, вся оригинальность, вся подвижность народной физиономии. Нам, Русским это особенно заметно: и в неудачных попытках наших соотечественников выражать свои благоприобретенные мысли на благоприобретенных языках, и в неудачных попытках многих русских писателей, рожденных не в России, блеснуть на поприще нашей словесности слишком поздно и слишком книжно приобретенным знанием русского языка. Язык, чтобы быть послушным и художественным орудием нашей мысли, должен быть не только частью нашего знания, но частью нашей жизни, частью нас самих. От того-то иностранец или человек, удаленный от живого говора народного, должен до-

вольствоваться языком книжным. Пусть на нем выражает он мысль свою, и, может быть, достоинством мысли сколько-нибудь выкупит вялость выражения; но для избежания всеобщего смеха, пусть он удержится от всяких притязаний на подделку под живую речь.

.

Наука должна расширять область человеческого знания, обогащать его данными и выводами; но она должна помнить, что ей самой приходится многому и многому учиться у жизни. Без жизни она так же скучна, как жизнь без нее, может быть еще скучнее. Темное чувство этой истины живет и в том человеке, которого разум не обогащен познаниями. Поэтому ученый должен говорить с неученым не снисходительно, как высший с низшим, не жалкой фистулой, как взрослый с младенцем, но просто и благородно, как мыслящий с мыслящим. Он должен говорить собственным своим языком, а не подделываться под чужой, который называется народным. Эта подделка не что иное, как гримаса. Эта народность не доходит до деревни и не переходит за околицу барского двора. Прежде же всего надобно узнать, то есть полюбить ту жизнь, которую хотим обогатить наукою. Эта жизнь, полная силы предания и веры, создала громаду России, прежде чем иностранная наука пришла позолотить ее верхушки. Эта жизнь хранит много сокровищ не для нас одних, но может быть, и для многих, если не для всех народов.

По мере того, как высшие слои общества, отрываясь от условий исторического развития, погружались все более и более в образованность, истекающую из иноземного начала; по мере того, как их отторжение становилось все резче и резче, умственная деятельность ослабела и в низших слоях. Для них нет отвлеченной науки, отвлеченного знания; для них возможно только общее просвещение жизни, а это общее просвещение, проявляемое только в постоянном круговращении мысли (подобном кровообращению в человеческом теле) становится невозможным при раз-

двоении в мысленном строении общества. В высших сословиях проявлялось знание, но знание вполне отрешенное от жизни; в низших — жизнь, никогда не восходящая до сознания. Художеству истинному, живому, свободно творящему, а не подражательному, не было места, ибо в нем является сочетание жизни и знания, — образ самопознающейся жизни. Примирение было невозможно: наука, хотя и односторонняя, не могла отказаться от своей гордости, ибо она чувствовала себя лучшим плодом великого Запада; жизнь не могла отказаться от своего упорства, ибо она чувствовала, что создала великую Россию. Оба начала оставались бесплодными в своей болезненной односторонности.

На первый взгляд бессилие жизни, отрешенной от знания и от искусства, покажется понятнее, чем бессилие знания, отрешенного от жизни; ибо жизнь имеет характер местный, знание же — характер общий, всечеловеческий. Добросовестное или беспристрастное рассмотрение вопроса разрешает эти сомнения. Наука разделяется на науку положительную или простое изучение законов видимой природы и на науку догадочную или изучение законов духа человеческого и его проявлений. Изучать законы своего духа может человек только в полноте своей духовной, следовательно личной и общественной жизни; ибо только в этой полноте может он видеть их проявление. И так, вторая и, может быть, важнейшая отрасль науки делается почти невозможною при внутреннем раздвоении общественного просвещения. Сверх того, наука, в своей, может быть, подчиненной форме опыта или наблюдения, есть опять только плод стремления духа человеческого к знанию, плод жизни, отчасти созревающей, следовательно в обоих случаях она требует жизненной основы. У нас она не была плодом нашей местной, исторической жизни. С другой стороны, самым перенесением своим в Россию и на нашу почву, она отторгалась от своих западных корней и от жизни, которая ее произвела.

В таком-то виде представлялись до сих пор у нас просвещение и общество, принявшее его в себя: оба носили на себе какой-то характер колониальный, характер безжизненного сиротства, в котором все лучшие требования души невольно уступают место эгоистическому самодовольству и эгоистической расчетливости.

Такова худшая и самая неутешительная сторона нашего высшего просвещения; но не должно забывать, что нет почти такого явления в мире, которое бы подчинялось какому-нибудь одному закону и не подвергалось в то же время влиянию других, часто противоположных законов. Характер, который я называл колониальным, составляет, без сомнения главную и преобладающую черту науки, принятой нами от Запада, и общества нашего, во сколько оно эту науку приняло; но история, но привычки, но воспоминания, но любовь к своей земле, но беспрестанные сношения с местною жизнью не вполне утратили свои права. От этого остатка собственно нашей народной жизни в нас происходят все лучшие явления нашей образованности, нашего художества, нашего быта, все, что в нас немертво, небессильно, небесплодно. К несчастью, семена доброго в нас самих вполне развиться не могут от нашего внутреннего раздвоения, и нам недоступно то жизненное сознание России, которое составляет необходимое и, может быть, главное средоточие народного просвещения.

.

Просвещение не есть только свод и собрание положительных знаний: оно глубже и шире такого тесного определения. Истинное просвещение есть разумное просветление всего духовного состава в человеке или народе. Оно может соединяться с наукою, ибо наука есть одно из его явлений, но оно сильно и без наукообразного знания; наука же (одностороннее его развитие) бессильна и ничтожна без него. Некогда оно было и у нас, несмотря на нашу бедность в нау-

кообразном развитии, и от него остались великие, но слишком мало замеченные следы. Я не говорю о чужих краях. Сравнение с ними слишком затруднительно и слишком подвержено спорам, потому что всякому образованному русскому все-таки естественно кажется, что человек, который говорит только по-французски или по-немецки, образованнее того, кто говорит только по-русски; но если сравнить беспристрастно Среднюю или Северную Россию с Западной, то мысль моя будет довольно ясна. Нет сомнения, что просвещение западного русса далеко уступает во всех отношениях просвещению его восточного брата; а между тем образованное общество в Западной России, конечно, не уступает нам нисколько в знаниях, а в старину далеко и далеко нас превосходило. Откуда же эта разница? Не очевидно ли от того, что на Западе России рано произошло раздвоение между жизнью народною и знанием высшего сословия, тогда как у нас, при всей скудости наукообразного знания, живое начало просвещения долго соединяло в одно цельное единство весь общественный организм. Разумное просветление духа человеческого есть тот живой корень, из которого развиваются и наукообразное знание, и так называемая цивилизация или образованность; оно есть самая жизнь духа в ее лучших и возвышеннейших стремлениях. Наука не заключает еще в себе живых начал образованности. Нередко случается нам видеть многосторонних ученых, которых нельзя назвать образованными людьми. Наука может разниться степенями своими по состояниям, по богатству, по досугам и по другим случайностям жизни; просвещение есть общее достояние и сила целого общества и целого народа. Этою силою отстоялся русский человек от многих бед в прошедшем, и этою силою будет он крепок в будущем.

.

Наука подвинулась у нас довольно далеко. Она начинает отрешаться от местных иноземных начал, с которыми она была смешана в своем первом возра-

сте. Мужаясь и укрепляясь, она должна стремиться и уже стремится к соединению с русским просвещением; она начинает черпать из этого родного источника, которого прозрачная глубина (создание чистого и раннего Христианства) одна может исцелить глубокую рану нашего внутреннего раздвоения²⁾. Нам уже позволительно надеяться на свою живую науку, на свое свободное художество, на свое крепкое просвещение, соединяющее в одно жизнь и знание; и точно так, как мысль иноземная явилась у нас в своей иноземной форме, точно также просвещение родное проявится в образах и, так сказать, в наряде русской жизни. Видимое есть всегда только оболочка внутренней мысли. Обряд дело великое: это художественный символ внутреннего единства, у нас — единства народа, широко раскинувшегося от берегов Вислы и гор Карпатских до берегов Тихого Океана. Нет сомнения, что наука совершит то, что она разумно начала и что она соединится с истинным просвещением России посредством теплого сочувствия в изучении современного, посредством беспристрастной оценки всякой истины, откуда бы она не явилась, и любви ко всему доброму, где бы оно не высказывалось.

Тогда будет и у нас то жизненное сознание, которое необходимо всякому народу и которое обширнее и сильнее сознания формального и логического. Тогда и крайнее наше теперешнее смирение перед всем иноземным и наши попытки на хвастовство, в которых самоунижение проглядывает еще ярче, чем в откровенном смирении, заменится спокойным и разумным уважением наших исконных начал. Тогда мы не будем сбивать с толку иноземцев ложными показаниями о самих себе, и Западная Европа забудет или предаст презрению тех жалких писателей, о которых один рас-

²⁾ Вместо слов: «одна может исцелить глубокую рану нашего внутреннего раздвоения», в подлинной рукописи стоит следующее: «богаче и живительнее мелководных и мутных потоков Запада, которых бурное стремление обманывает еще многих ложным признаком силы». —

сказ уже внушает нам тяжелое чувство досады, несколько самолюбивой, и грусти истинно человеческой.

МНЕНИЕ РУССКИХ ОБ ИНОСТРАНЦАХ⁸⁾

Et tu quoque! И ты на меня нападаешь, и ты меня обвиняешь в несправедливости к русским и в пристрастном суде над иностранцами. Ты говоришь, что время безусловного поклонения всему западному миновалось, что мы осуждаем строго, иногда даже слишком строго, недостатки, ошибки и пороки наших европейских братьев, и что с своей стороны они часто говорят о нашей Руси с уважением и доброжелательством. Скажу тебе сперва несколько слов в ответ на вторую твою критику: твои цитаты из иностранных писателей не доказывают ровно ничего. Кому неизвестно, что иногда случается французу, или немцу, или англичанину, отозваться о России с каким-то милостивым снисхождением, несколько похожим на доброжелательство; но что ж из этого? Я мог бы тебе даже назвать немецкого путешественника Блазиуса, который с редким умом и беспристрастием так оценил Россию, что большей части из нас русских может было у него поучиться; но что же это доказывает? Дело не в исключениях — они не имеют никакой важности — будь они в виде доброго слова, изредка вымолвленного каким-нибудь избранным умом, будь они в виде какой-нибудь остервенелой клеветы или нечестности, вырвавшейся из низкой души или низкой страсти иностранца. Пусть немецкий проповедник сказал, что в дни освобождения Европы от Наполеона доблестные германцы шли впереди, сокрушая полчища вражие, а это за ними вслед ползли (*krochen*) 200.000 русских, которые более мешали, чем помогали подвигам сынов Германии; пусть английский духов-

⁸⁾ Напечатано в Московском Сборнике 1846 года, изд. В. А. Попова.

ный журнал (Church QR) объявляет, что лучший кавалерийский полк в России убежит перед любой сотнею лондонских сидельцев, в первый раз посаженных на лошадь; пусть французский духовный журнал (Univers Catholique) почтает, что, по учению церкви греческой и русской, стоит только сварить тело покойника в вине, чтобы доставить ему царство небесное, — какое до этого дело? Не по мелочам и не по исключениям должно судить. Мнение Запада о России выражается в целой физиономии его литературы, а не в отдельных и никем незамеченных явлениях. Оно выражается в громадном успехе всех тех книг, которых единственное содержание есть ругательство над Россиею, а единственное достоинство — явно высказанная ненависть к ней; оно выражается в тоне и отзывах всех европейских журналов, верно отражающих общественное мнение Запада. Вспомни обо всем этом и скажи по совести — был ли я прав? Тебе не хотелось бы сознаться в истине моих слов; тебе, как русскому человеку, жаждущему человеческого сочувствия, хотелось бы увериться в сочувствии западных народов к нам; тебе больно встречать вражду там, где ты желал бы встретить чувство братской любви. Все это прекрасно, все это делает тебе честь. Но поверь мне, всякое самообольщение вредно. Истину должно признавать, как бы она ни была для нас горька; надобно ей глядеть в глаза прямо, и в этом зеркале всегда прочтешь какой-нибудь полезный урок, какой-нибудь справедливый укор за ошибку, вольную или невольную. В статье моей «Мнение иностранцев о России» я отдал добросовестный отчет в чувствах, которые Запад питает к нам. Я сказал, что это смесь страха и ненависти, которые внушены нашею вещественною силою, с неуважением, которое внушено нашим собственным неуважением к себе. Это горькая, но полезная истина. *Nosce te ipsum* (знай самого себя): начало премудрости. Я не винил иностранцев, их ложные суждения внушены им нами самими; но я не винил и нас, — ибо наша ошибка была плодом нашего исто-

рического развития. Пора признаться, пора и одуматься.

Ты не прав и в другом своем обвинении. Правда, мы, повидимому, строже прежнего судим явления западного мира, мы даже часто судим слишком строго. «Вот это, — говорим мы, — хорошо и достойно подражания; но вот это дурно, недостойно народов просвещенных и противно человеческому чувству: этого мы избегаем». В своих односторонних суждениях, утратив понятие о жизненном единстве, мы часто произвольно отделяем жизненные явления, которые действительно неразлучны друг с другом и связаны между собою узами неизбежной зависимости. Таким образом мы даем себе вид строгих и беспристрастных судей, свободных от прежнего рабского поклонения и от прежней безразборчивой подражательности. Но все это не иное что, как обман. Нас уже нельзя назвать поклонниками Франции, или Англии, или Германии — мы не принадлежим никакой отдельной школе: мы эклектики в своем поклонении; но точно так же рабски преклоняем колена пред своими кумирами. Свобода мыслей и суждений невозможна без твердых основ, без данных, сознанных или созданных самобытною деятельностью духа, без таких данных, в которые он верит с твердою верою разума, с теплою верою сердца. Где эти данные у нас? Эклектизм не спасает от суеверия, и едва ли даже суеверие эклектизма не самое упорное из всех; оно соединяется с какою-то самодовольною гордостью и утешает себя мнимой деятельностью ленивого рассудка. В статье моей, напечатанной в 4-м номере «Москвитянина», я показал исторический ход новейшей науки и ее развития в России; я показал иноземное начало этой науки, ее исключительность и необходимое последствие ее одностороннего развития — глубокий и до сих пор неисцеленный разрыв в умственной и духовной сущности России, разрыв между ее самобытною жизнью и ее прививным просвещением. От этого разрыва произошли в жизни бессознательность и неподвижность,

в науке — бессилие и безжизненность. Едва ли эти положения можно чем-нибудь оспорить.

Поверхностный взгляд на наше просвещение и на то общество, в котором оно заключено, очень обманчив. Познания, повидимому, так разнообразны и обширны, умственные способности так развиты, ясность и быстрота понятий доведены до такой высокой степени, что изумишься поневоле. Чего бы, кажется, не ожидать от такого остроумия, от такого мысленного богатства? Каких великих открытий в науке, каких чудных приложений в жизни, каких быстрых шагов вперед для целой массы народа и для всего человечества? А что же выходит на проверку? Все эти познания, вся эта умственная живость остаются без плода. Я не говорю уже, что они бесплодны до сих пор для человечества, бесплодны для народа, которому они совершенно чужды, но они остались бесплодны для самой науки. В этом мы можем и должны сознаться с смиренным убеждением. Весь этот блеск ума едва ли выдумал порядочную мышеловку. Таково последствие разрыва между просвещением и жизнью. При нем умственное развитие заключается в самые тесные пределы. Разум без силы и полноты остается в мертвенном усыплении, и все способности человека исчезают в одностороннем развитии поверхностного рассудка, лишенного всяческой творческой силы. Все-разлагающий анализ в науке, но анализ без глубины и важности, безнадежный скептицизм в жизни, холодная и жалкая ирония, смеющаяся над всем и над собою в обществе, — таковы единственные принадлежности той степени просвещения, которой мы покуда достигли. Но ум человеческий не может оставаться в этом мертвенном бессилии. Лишенная самобытных начал, неспособная создать себе собственную творческую деятельность, оторванная от жизни народной, наша наука питается беспрестанным приливом из тех областей, в которых она возникла и из которых к нам перенесена. Она всегда учена задним числом; а общество, которое служит ей сосудом, поневоле и бес-

сознательно питает рабское почтение к тому миру, от которого получает свою умственную пищу. Как бы оно, повидимому, ни гордилось, как бы оно строго ни судило о разнообразных явлениях Запада, которых часто не понимает (как рассудок вообще никогда не понимает жизненной полноты), оно более чем когда-нибудь рабствует бессознательно перед своими западными учителями, и к несчастью еще рабствует охотно, потому что для его гордости отраднее поклоняться жизни, которую оно захотело (хотя и неудачно) к себе привить, чем смириться, хоть на время, перед той жизнью, с которой оно захотело (и к несчастью слишком удачно) разорвать все свои связи.

Признав некоторое развитие способностей аналитических в нашем, так называемом, просвещенном обществе, повидимому, допустил я и возможность неограниченного наукообразного развития, ибо анализ составляет всю сущность науки; но действительно такой вывод был бы ложный. В успехах науки строгий и всеразлагающий анализ постоянно сопровождается творческою силою синтеза, тем ясновидящим гаданием, которое в людях, одаренных гением, далеко опережает медленную поверку опыта и анализа, предчувствуя и предсказывая будущие выводы и всю полноту и величие еще несозданной науки. Это явление есть явление жизненное; оно заметно в Кеплерах, в Ньютонах, в Лейбницах, в Кювье и в других им подобных подвижниках мысли; но оно невозможно там, где жизнь иссякла или заглохла. Сверх того, самая способность аналитическая разделяется на многие степени, и высшие из них доступны только тому человеку или тому обществу, которые чувствуют в себе богатство жизни, не боящейся анализа и его всеразлагающей силы. У них, и только у них, наука имеет истинную и внутреннюю свободу, необходимую для ее развития и процветания. У нас анализ возможен, но только в своих низших степенях. При нашей ученической зависимости от западного мира, мы только

и можем позволить себе поверхностную поверку его частных выводов и никогда не можем осмелиться подвергнуть строгому допросу общие начала или основы его систем. Я уже показал это в отношении к философии, к политической экономии и к статистике, показал подробнее в отношении к праву, и мог бы показать еще с большею подробностью в отношении к наукам историческим, которые, по общему мнению, особенно процветают в наш век, но которые действительно находятся в состоянии жалкого бессилия и едва заслуживают имя науки.

Грубый партикуляризм или изложение происшествий в их случайном сцеплении, без всякой внутренней связи: такова общая система истории в том виде, в котором она до сих пор является на Западе. Большое или меньшее остроумие писателя, более или менее художественный рассказ, большая или меньшая верность с подлинными документами, большая или меньшая тонкость или удача в частных догадках — составляют единственное различие между современными историческими произведениями: система же остается все та же, у Ранке, как у Галлама, у Гфререра так же, как у Неандера, у Тьери и Шлоссера так же, как у Тьера в его занимательной, но мелкой и близорукой истории великих происшествий недавно-минувшего времени. Были на Западе попытки выйти из этого тесного круга и возвысить историю до степени истинной науки; иные попытки были в смысле религиозном, иные в смысле философском; но все эти попытки, несмотря на большее или меньшее достоинство писателей (например, Боссюэта и Лео) остались безуспешными. Яснее других понял жалкое состояние исторических наук последний из великих философов Германии, человек, который сокрушил все здание западной философии, положив на него последний камень, — Гегель. Он старался создать историю, соответствующую требованиям человеческого разума, и создал систематический призрак, в котором строгая логическая последовательность или мнимая необходи-

мость служит только маскою, за которою прячется неограниченный произвол ученого систематика. Он просто понял историю наизворот, приняв современность или результат вообще за существенное и необходимое, к которому необходимо стремилось прошедшее; между тем как современное или результат могут быть понятны разумно только тогда, когда они являются как вывод из данных, предшествовавших им в порядке времени. Его система историческая, основанная на каком-то мистическом понятии о собирательном духе собирательного человечества, не могла быть принята: она была осыпана похвалами и отчасти заслуживала их не только по остроумию частных выводов, но и по глубоким требованиям, высказанным Гегелем в этой части науки, как и во всех других; но она осталась без плодов, по той простой причине, что она действительно бесплодна и смешна; она идет под ряд к его математическим системам (см. рассуждение об узловых линиях в отделении логики о количестве), по которым формула факта признается за его причину, и по которым земля кружится около солнца не вследствие борьбы противоположных сил, а вследствие формулы эллипсиса (из чего следует заключить, что ядро и бомба летят не вследствие порохового взрыва, а вследствие формулы параболоида). Историческая система Гегеля так же не разумна, как и его математические умозрения; но она бесконечно важна потому, что доказывает, как глубоко этот великий ум понимал ничтожность современной исторической науки. После неудачи великого мыслителя, прежний партикуляризм остался опять единственною системою.

Положение наше в отношении к истории было особенно выгодно. Воззрение историка на прошедшую судьбу и жизнь человечества зависит по необходимости от самой жизни народа или общества народов, которому он принадлежит; по этому самому некоторая односторонность в понятиях и суждениях исторических неизбежна, как следствие односторонности, принадлежащей всякому народу или всякому об-

шеству народов. Сделанное одним пополняется и усовершенствуется другими народами, по мере их вступления на поприще деятельности в науках и просвещении. Это пополнение трудов наших европейских братьев было нашим делом и нашею обязанностью. К тому же, самая история Запада, едва ли не важнейшая часть всемирной истории, невозможная для западных писателей (ибо в их крови, несознательно для них самих, живут и кипят страсти, пороки, предрассудки и ошибки предшествующих им поколений), была возможна только для нас; но в этом деле, несмотря на все выгоды своего положения, несмотря на явную потребность в самой науке, — сделали ли мы хоть один шаг? От нас нельзя ожидать, чтобы мы могли значительно обогатить науку специальными открытиями, увеличением и очищением материалом или усовершенствованием прагматизма: число истинно ученых людей и тружеников, посвящающих жизнь свою наукам, у нас так ограничено или, лучше сказать, так ничтожно, что весь итог их частных трудов не может почти ничего прибавить к трудам бесчисленных специалистов Запада. Но нам возможно, и возможнее даже, чем западным писателям (по крайней мере по части исторических наук) обобщение вопросов, выводы из частных исследований и живое понимание минувших событий. Между тем, в этом деле, кажется, нам похвалиться нечем. Подвинули ли мы или попытались подвинуть историю из прежнего бессмысленного партикуляризма и постигнуть смысл ее великих явлений? Я не скажу, разрешили ли мы, но подняли ли хоть один из тех вопросов, которыми полна судьба человечества? Догадались ли мы, что до сих пор история не представляет ничего, кроме хаоса происшествий, связанных кое-как на живую нитку непонятною случайностью? Поняли ли мы или хоть намекнули, что такое народ — единственный и постоянный действительный истории? Догадались ли мы, что каждый народ представляет такое же живое лицо, как и каждый человек, и что внутренняя его жизнь есть не что иное, как раз-

витие какого-нибудь нравственного или умственного начала, осуществляемого обществом, такого начала, которое определяет судьбу государств, возвышая и укрепляя их присущею в нем истиною, или убивая присущею в нем ложью? Стоит только взглянуть на все наши исторические труды, несмотря на достоинство многих, чтобы убедиться в противном. Самые важные явления в жизни человечества и великих народов, управлявших его судьбами, остались незамеченными. Так, например, критика историческая не заметила, что, при переходе просвещения с Востока на Запад, не все было чистым барышом, и что, несмотря на великие усовершенствования в искусстве, в науке и мыслях и познаниях человеческих, особенно при перевороте в народном быте, многое утратилось или обмельчало в ходе из Эллады в Рим и от Рима к романизированным племенам Запада. Так, не обратили еще внимания на разнозначность просвещения в древней Элладе. Так, при всех глубоких и остроумных исследованиях и догадках Нибура, первая история Рима не получила еще никакого живого содержания, и никто не заметил этого недостатка, может быть за исключением профессора Крюкова, слишком рано умершего для друзей своих, для Московского университета и для наук.

.

Так, разделение империи на две половины, уже появляющееся в Дуумвирате (мнимом Триумвирате) после первого Кесаря, потом яснее выразившееся после Диоклетиана и при преемниках Константина и оставившее неизгладимые черты в духовной истории человечества отделением Востока от Запада, является постоянно делом грубой случайности, между тем как, очевидно, оно происходило от древних начал (от разницы между просвещением эллинским и римским) и было неизбежным и великим их последствием. Так, история Восточной Империи, затоптанная в грязь гордым презрением Запада, не получила еще должного признания в земле, которой вся духовная жизнь ведет начало свое от византийских проповедников. Так

не умели или не осмелились мы сказать, что должны же были быть скрытые семена силы и величия в том государстве, которое выдержало победоносно первый напор всех народов. (за исключением франков и бургундцев), уничтоживших так быстро существование Западно-римской империи, которое потом отбилось от второго, не менее сильного нападения аваров, болгар и всего разлива славянского; которое, будучи затоплено и почти покорено славянскими дружинами, нашло в себе и в своем духе столько энергии, что могло усвоить, принять в свои недра и эллинизировать своих победителей; которое боролось не без славы и часто не без успеха со всею громадною силою молодого Ислама и билось в продолжение нескольких веков, так сказать, против когтей и пасти чудовища, уничтожившего одним ударом хвоста германское царство вест-готов и едва не сокрушившего всю силу Запада на полях Пуатьерских; которое, наконец, пережило, в продолжение почти целого тысячелетия, своего западного брата, несмотря на несравненно бóльшие опасности, на длинные, слабые и беззащитные границы и на внутреннее разногласие между началами чистого просвещения и основами общественного устройства. Так, в истории Западной Европы не замечены нравственные двигатели и физиономия народов, определившие его судьбу, именно: характер франков, уже развращенных до костей и мозга влиянием Рима, еще прежде завоевания Галлии дружинами франков поморских (меровингами), и арианство, которого борьба с соборным исповеданием определила всю политическую и духовную историю Запада. Так, в позднейшую эпоху не замечена прямая историческая связь между протестантством, его распространением и областями, в которых оно утвердилось, с теми насильственными путями, по которым христианство распространялось в народах германских и с тем видом римской односторонности, с которым оно к ним явилось первоначально. Не было бы конца исчислению тех вопросов, которые призывают наше внимание и

требуют от нас разрешения, — ибо все поле истории ждет переработки; а мы еще ничего не сделали, двигаясь раболепно в колеях, уже прорезанных Западом, и не замечая его односторонности. Все наши труды, из которых, конечно, многие заслуживают уважения, представляют только количественное или, так сказать, географическое прибавление к трудам западных ученых, не прибавляя ничего ни к стройности истории, ни к внутреннему ее содержанию. Один Карамзин, по бесконечному значению своему для жизни русской и по величию памятника, им воздвигнутого, может казаться исключением. Я говорю не об огромном сборе материалов, им избранных, и не о добросовестном их сличении (это дело прекрасное, но дело терпения, которому доставлены были все вспомогательные средства), я говорю о том духе жизни, который веет над всеми его сказаниями — в нем видна Россия. Но она видна не в рассказе событий, в котором преобладает характер бессвязного партикуляризма, всегда обращающего внимание только на личности, и не в суждениях часто односторонних, — всегда проникнутых ложною системою, — а видна в нем самом, в живом и красноречивом рассказчике, в котором так постоянно и так пламенно бьется русское сердце, кипит русская кровь и чувство русской духовной силы, и силы вещественной, которое в народах есть следствие духовной. За исключением его великого материального труда, Карамзин еще более принадлежит искусству, чем науке, и это не унижает его достоинства: нелепо было бы требовать всего от одного деятеля. Из современных ученых некоторые поняли подвиг, к которому русское просвещение призвано в истории; они готовят будущие труды своих преемников, освобождая мало-помалу науку из тесных пределов, в которые она до сих пор заключена невольною односторонностью народов, предшествовавших нам в знании, и добровольною односторонностью нашей подражательности; но этих поборников внутрен-

ней свободы в науке немного, и им предстоит нелегкая борьба.

Тяжело налегло на нас просвещение или, лучше сказать, знание (ибо просвещение имеет высшее значение), которое приняли мы извне. Много подавлено под ним (разумеется, подавлено на время) семян истинного просвещения, добра и жизни. Это выражается всего яснее скудостью и бесхарактерностью искусства в таком народе, который дал столько прекрасных задатков искусству еще в те эпохи, когда бурная жизнь общества, вечно потрясаемая иноземною грозой, не позволяла полного и самобытного развития. Бесспорно, наш век не есть век художества. Художник (я говорю о художнике слова так же, как о художнике формы и звука) занимает весьма низкую ступень в современном движении общественной мысли. Истинная в своем начале, ложная в своем приложении, односторонние высказанная и дурно понятая система германских критиков о свободе искусства приносит довольно жалкие плоды. Рабство перед авторитетами и перед условными формами красоты заменилась другим рабством. Художник обратился в актера художеств. Нищий-лицедей, он стоит перед публичкой-миллионом и требует от него задачи или старается угадать его современную прихоть.

«Прикажи, — я буду индейцем или древним греком, или византийцем — христианином! Прикажи, — я напишу тебе сонмы ангелов, являющиеся в облаках глазам созерцателя-пустынника, или Зевса и Геру на вершинах Иды, или землетрясение, или Баварию в венце небывалых торжеств! Потребуй, — я спою славу твоего величия и скажу, что ты преславная земля, всемирный великан, у которого один глаз во лбу — Париж; или пропою песнь христианского смирения, или сочиню роман, чтобы воспользоваться внезапным страхом, напавшим на тебя, как бы иезуиты не украли у тебя всех денег из кармана. Я на все готов!»

И миллион-вдохновитель приказывает, и художник-актер ломается более или менее удачно в заданной

ему роли, и миллион хлопает в ладоши, принимая это за художество. Немецкие критики были правы, проповедуя свободу искусства; но они не поняли вполне, а ученики их поняли еще меньше, что свобода есть качество чисто отрицательное, не дающее само по себе никакого содержания, и художники современные, дав полную волю своей безразборчивой любви ко всем возможным формам прекрасного, доказали только то, что в душе их нет никакого внутреннего содержания, которое стремилось бы выразиться в самобытных образах и могло бы их создать. Я уже это и прежде говорил и, кажется, ты соглашался со мною. Но явления западного мира не должны бы были еще относиться к нам: народ народу не пример. Когда на всем Западе (за исключением Англии) замерло искусство, тогда оно восстало в полном блеске в Германии. Если перекипевшая жизнь западного мира оставила ему внутреннюю скудость скептического анализа и холод сердца, много надеявшегося, но обманутого в своих надеждах, какое бы, казалось, дело нам до этого? Наша жизнь не перекипела, и наши духовные силы еще бодры и свежи. Действительно, единственное высокое современное художественное явление (в художестве слова) принадлежит нам. Этой радостью подарила нас Малороссия⁴⁾, менее Средней России принявшая в себя наплыв чужеземных начал. Между тем как Западная (Белая) Россия, сокрушенная ими, обессилела повидимому надолго, как Малороссия мало ими потрясена в своей внутренней жизни, — собственно Средней или Великой Руси предстоит борьба с иноземным просвещением и с его рабскою подражательностью. Приняв в себя познания во всей их полноте, она должна достигнуть и достигает самобытности в мысли. К счастью, время не ушло, и не только борьба возможна, но и победа несомненна. Впрочем, такие переходные эпохи не совсем благоприятны для искусств.

⁴⁾ Хомяков имел здесь в виду Гоголя.

Оценка нашего просвещения, мною теперь высказываемая, сделана уже весьма многими и ясна для всех, хотя, может быть, не все отдали себе ясный отчет в ней. Такое внутреннее сознание необходимо должно сопровождаться невольным смирением; и смирение, в таком случае, есть дань истине и лучшим побуждениям разума человеческого. Поэтому, как бы ни приотворялись мы (то есть наша наука и общество, которое ее в себя воплотило), какую бы личину ни надевали, мы действительно ставим западный мир гораздо выше себя и признаем его несравненное превосходство. Во многих это сознание является откровенно и заслуживает уважения; ибо современники не виноваты в наследственном отчуждении своем от жизни народной и от высоких начал, которые она в себе содержала и содержит; а благоговение перед высоким развитием просвещения, хотя неполного и болезненного на Западе, и перед жизнью, из которой оно возникло, свидетельствует о высоких стремлениях и требованиях души. В других то же самое чувство прячется от поверхностного наблюдения под каким-то видом самодовольства и даже хвастливости народной; но это самодовольство и хвастливость унижительны. В них видны признаки самодовольного обмана или внутреннего огрубения. Люди, оторванные от жизни народной и следовательно от истинного просвещения, лишенные всякого прошедшего, бедные наукою, не признающие тех великих духовных начал, которые скрывает в себе жизнь России и которые время и история должны вызвать наружу, не имеют разумных прав на самохвальство и гордость перед тем миром, из которого почерпали они свою умственную жизнь, хоть неполную, хоть и скудную.

Раболепные подражатели в жизни, вечные школьники в мысли, они в своей гордости, основанной на вещественном величии России, напоминают только гордость школьника-барченка перед бедным учителем. Слова их изобличаются во лжи всюю их жизнью. Зато это раболепство перед иноземными народами

явно не только для русского народа, но и для наблюдателей иностранных. Они видят наш разрыв с прошедшею жизнью и говорят о нем часто, русские с тяжким упреком, а иностранцы с насмешливым состраданием. Так, например, ты сам знаешь, что остроумный француз говорил: *“Vous autres, russes, vous me paraissez un singulier peuple. Enfants de noble race, vous vous amusez à jouer le rôle d’enfants trouvés”*.⁵⁾

Это колкое замечание очень справедливо. Оно в немногих словах выражает факт, который беспрестанно является нам в разных видах и влечет за собою неисчислимые последствия. Часто видим людей русских и, разумеется, принадлежащих к высшему образованию, которые безо всякой необходимости оставляют Россию и делаются постоянными жителями чужих краев. Правда, таких выходцев осуждают, и осуждают даже очень строго. Мне кажется, они более заслуживают сожаления, чем осуждения: отечества человек не бросит без необходимости и не изменит ему без сильной страсти; но никакая страсть не движет нашими равнодушными выходцами. Можно сказать, что они не бросают отечества, или лучше, что у них никогда отечества не было. Ведь отечество находится не в географии. Это не та земля, на которой мы живем и родились и которая в ландкартах обводится зеленой или желтой краской. Отечество также не условная вещь. Это не та земля, к которой я приписан, даже не та, которую я пользуюсь и которая давала мне с детства такие-то или такие-то права и такие-то или такие-то привилегии. Это та страна и тот народ, создавший страну, с которой срослась вся моя жизнь, все мое духовное существование, вся целость моей человеческой деятельности. Это тот народ, с которым я связан всеми жилами сердца и от которого оторваться не могу, чтобы сердце не изошло кровью и не высохло. Тот, кто бросает отечество в безумии страсти, вино-

⁵⁾ «Станный вы народ, русские. Вы потомки великого исторического рода, а разыгрываете добровольно роль безродных найденышей».

вен перед нравственным судом, как всякий преступник, пожертвовавший какою бы то ни было святынею вспышке требования эгоистического. Но разрыв с жизнью, разрыв с прошедшим и раздор с современным лишают нас большей части отечества; и люди, в которых с особенною силою выражается это отчуждение, заслуживают еще более сожаления, чем порицания. Они жалки, как всякий человек, не имеющий отечества, жалки, как жид или цыган, или еще жалче, потому что жид еще находит отечество в исключительности своей религии, а цыган в исключительности своего племени. Они жертва ложного развития.

За всем тем, несмотря на наше явное или худо скрытое смирение перед Западом, несмотря на сознаваемую нами скудость нашего существования, образованность наша имеет и свою гордость, гордость резкую, неприязненную и вполне убежденную в своих разумных правах. Эту гордость бережет она для домашнего обихода, для сношений с жизнью, от которой оторвалась. Тут она является представительницею иного, высшего мира; тут она смела и самоуверенна, тут гордость ее получает особый характер. Как гордость рода опирается на воспоминания о том, что «предки наши Рим спасли», так эта гордость опирается на всех, более или менее справедливых правах Запада.

«Правда, мы ничего не выдумали и не создали; зато, чего не изобрели и не создали наши учителя, наши, так сказать, братья по мысли на Западе?» Образованность наша забывает только одно, а именно то, что это братство не существует. Там на Западе образованность — плод жизни, и она жива; у нас она заносная, невыработанная и незаслуженная трудом мысли, и мертва. Жизнь уже потому, что жива, имеет право на уважение, а жизнь создала нашу Россию.

Впрочем, это соперничество между историческою жизнью, с одной стороны, и прививною образованностию с другой, было неизбежно. Такие два начала не могли существовать в одной и той же земле и оста-

ваться друг к другу равнодушными: каждое должно было стараться побороть или переделать стихию, ему противоположную. В этой неизбежной борьбе выгода была на стороне образованности. От жизни оторвались все ее высшие представители, весь круг, в котором замыкается и сосредоточивается все внутреннее движение общественного тела, в котором выражается его самосознание. Разрозненная жизнь ослабла и сопротивлялась напору ложной образованности только громадою своей неподвижной силы. Гордая образованность, сама по себе ничтожная и бессильная, но вечно черпающая из живых источников западной жизни и мысли, вела борьбу неутомимо и сознательно, губя, мало-помалу, лучшие начала жизни и считая свои губительные успехи истинным благодеянием, веря своей непогрешимости и пренебрегая жизнью, которой не знает и знать не хочет. Между тем, общество продолжало во многих отношениях, повидимому, преуспевать и крепнуть. Но даже и эти явления, чисто внешние, несколько не исцеляющие внутреннего духовного раздора и его разрушительной болезни, происходили от сокрытых и уцелевших внутренних сил жизни, не подвергнувшихся или не вполне подвергнувшихся разрушительному действию чужеземного наплыва... Но эти простые истины ясны для некнижного ума и недоступны для нашего просвещения. Перенесенное как готовый плод, как вещь, как формула из чужой стороны, оно не понимает ни жизни, из которой оно возникло, ни своей зависимости от нее; оно вообще ни с какою жизнью и ни с чем живым сочувствовать не может. Ему доступны только одни результаты, в которых скрывается и исчезает все предшествовавшее им жизненное движение. Так вообще весь Запад представляется ему в своем устройстве общественном и в своем художественном или ученом развитии, как сухая формула, которую можно перенести на какую угодно почву, исправив мелкие ошибки, разграфив по статьям и сверив статью с статьею, как простую конторскую книгу, между тем как сам

Запад создан не наукою, а бурною и тревожною историею и в глазах строгого рассудка не может выдержать ни малейшей аналитической проверки. Это, конечно, говорится мною не в попрек, а в похвалу. Мелкое мерило рассудка ничтожно для проявлений целостности человеческой, и только то право в его глазах, что в жизни не годно. На Западе всякое учреждение, так же как и всякая система, содержит в себе ответ на какой-нибудь жизненный вопрос, заданный прежними веками. Борьба между племенами завоевательным и завоеванным, борьба между диким и воинственным бароном, бичом сел и их бессильных жителей, и промышленным городским бароном (то есть феодальною городскою общиною), врагом тех же бессильных жителей сельских; борьба между христианским чувством, отвергающим христианское учение; и мнимо-христианским учением, отвергающим христианскую жизнь; борьба между свободою мысли человеческой и насилием схоластического предания, — все это нестройное и отчасти бессмысленное прошедшее выпечаталось в настоящем, разрешаясь или находя мнимое примирение в условных и временных формах. Жизнь везде предшествовала науке, и наука бессознательно отражает то прошедшее, над которым смеется...

.....

Таковы отношения жизни к науке, таковы они в добре и зле... Но это непонятно для общества, отрешившегося от жизни.

Достояние такого общества есть тесная рассудочность, мертвая и мертвящая. Она — необходимое последствие сильных и коренных реформ или революций, особенно таких реформ, которые совершены быстро и насильственно. Такова причина, почему на Западе она составляет в наше время отличительную характеристику Франции, утратившей более других народов жизненное историческое свое начало. Нет сомнения, что какая-то мелкость и скудность духовной

жизни была издавна принадлежностью этой земли, не имевшей никогда ни истинного художества (кроме зодчества средних веков), ни истинной поэзии; но она очевидно еще более обнищала, оторвавшись от прошедшего в кровавом перевороте, окончившем прошлое столетие. Быть может, со временем пробьется новая жизнь во Франции из таких начал, которые до сих пор не являлись на поприще историческое и будут вызваны новым ходом всего обще-человеческого просвещения; но очевидно, что после кровавого переворота, положившего конец прежней французской монархии, Франция еще не проявила в себе тех жизненных сил, которые могли бы создать в общественных учреждениях, в искусствах или науках, новые и самобытные формы для духовной деятельности человеческой. Революция была не что иное, как голое отрицание, дающее отрицательную свободу, но не вносящее никакого нового содержания, и Франция нашего времени живет займами из богатств чужой мысли (английской или немецкой), искажая чужие системы ложным пониманием, обобщая частное в своих поверхностных и ложных приложениях, размельчая и дробя все цельное и живое и подводя все великое под мелкий уровень рассудочного формализма. Пример тому я уже показал в искажении суда присяжных, который Франция приняла не поняв и перевела из области живых и нравственных учреждений в сухую и мертвую коллегиальность. Последствия этой перемены известны всем, кому сколько-нибудь знакома юридическая история Англии и Франции; но причина и характер самой перемены не были до сих пор, сколько мне известно, замечены. В этом состоянии просвещения и общества во Франции можно найти причину того особенного сочувствия, которое наше просвещение, несмотря на свой эклектизм, оказывает к ней. Отсутствие жизни составляет связь, соединяющую их. За всем тем должно признать превосходство французского просвещения перед нашим. Во-первых, оно не совсем разорвало связь с прошедшим; во-вторых, оно

имеет гораздо более характер явления всенародного и следовательно не сопровождается внутренним раздором, убивающим всякую возможность плодотворной деятельности. Честь полной безжизненности остается за нами.

То внутреннее сознание, которое гораздо шире логического и которое составляет личность всякого человека так же, как и всякого народа, — утрачено нами. Но и тесное логическое сознание о нашей народной жизни недоступно нам по многим причинам: по нашему гордому презрению к этой жизни, по неспособности чисторассудочной образованности понимать живые явления и даже по отсутствию данных, которые могли бы быть подвергнуты аналитическому разложению. Не говорю, чтобы этих данных не было, но они все таковы, что не могут быть поняты умом, воспитанным иноземною мыслию и закованным в иноземные системы, не имеющие ничего общего с началами нашей древней духовной жизни и нашего древнего просвещения.

Нетрудно было найти множество примеров этой непонятливости; но я тебе упомяну только об одном, особенно разительном и важном. В недавнем времени хозяйственное зло чересполосности вызвало меры к его уничтожению. Меры эти состояли только в назначении сроков и в выборе посредников. За тем, все остальное предоставлено разуму, а отчасти и неразумию самих владельцев: ничего принудительного, ничего стесняющего, ничего формального. Всякий размен позволен, всякое печатное толкование о деле размежевания допущено; сроки довольно длинные, посредники совершенно без власти; весь вопрос и его разрешение отданы общему смыслу. Ты знаешь, точно так же как и я, каковы были толки нашего просвещенного общества и какая полная была уверенность в неудаче. «Сроки? ими никто не воспользуется. Размены? их никто делать не будет, всякий заупрямится. Увещения? да, уломаешь оброчного крестьянина или мелкого помещика! Посредник? как же! по-

слушаются его, когда он не имеет никакой власти! Посредник просто смешное лицо. Едва ли составитя хоть одна любовная сказка: ведь для сказки нужно общее согласие, а возможное ли дело общее согласие? Добро бы еще большинство! Без принуждения — просто ничего не будет». Таковы были толки нашего просвещения, а каков был результат, ты сам знаешь. Смело можно сказать, что он вполне оправдал избранный путь и что успех превзошел самые смелые ожидания даже тех людей, которые знают разум русской жизни и верят в него. Нет сомнения, что успех был бы еще полнее, если бы не встретилось чисто вещественное затруднение в недостаточном числе землемеров и в недостатке прежних планов, которые или утрачены или зарыты в горах других бумаг. Но каков он есть, он уже представляет одно из важнейших явлений в нашем хозяйственном быте и одно из важнейших явлений нашего нравственного быта. Побеждены были такие затруднения, которых, казалось, и устранить нельзя. Положены были сказки с общего согласия, и размежеваны дачи, в которых было около ста дачников; переселены целые деревни; придуманы самые неожиданные сделки, и значительные (хотя действительно временные) денежные пожертвования сделаны владельцами-помещиками, едва ли еще не чаще крестьянами. Но важнее денежных пожертвований было то, что во многих и многих случаях самолюбие и привычки были принесены в жертву общей пользе. В иных местах за основание раздела принято владение, в других крепости, в других показания стариков и память о старине. Но везде сохранена справедливость, не только та мертвая справедливость, которую оправдывает законник-формалист, но та живая правда, с которою согласуется и которой покоряется человеческая совесть. И заметь, что успехи пошли гораздо быстрее с назначения посредника, этого безвластного и, по прежнему мнению, ничтожного лица. Я называю такое явление одним из самых утешительных и поучительных в нашем нравственном быте. Просве-

щение наше, если бы хотело что-нибудь узнать, узнало бы по нем много: оно могло бы понять сколько-нибудь русский дух и его покорность перед нравственными началами. Назначение посредника и его успех есть только повторение многих исконных фактов русской юридической жизни. Самое безвластие посредника заключает в себе великую власть: оно оставляет при нем одно только значение бесстрастной справедливости и примиряющего доброжелательства. Просвещенная критика должна бы узнать в посредниках и успехе их действия те же самые чувства и те же начала, которые в старину создали суд третями, то есть лицами, представляющими истца и ответчика, но истца и ответчика, отрешенных от слепоты своекорыстных страстей, — и суд поротниками и целовальниками или присяжными, перешедший в Англию и сохранившийся в английском суде присяжных. Везде проявляется та же высоконравственная покорность перед бесстрастным разумом, та же прекрасная вера в совесть и в достоинство человеческое. Трудно и едва ли возможно найти начало более благородное и плодотворное. В нем наука могла бы и должна узнать завет глубокой древности и общества, связанного еще узами истинного братства, а не условного договора; в нем же могла бы она узнать и различие двух понятий о законности формальной и о законности духовной или истинной. Такие познания необходимы не только для современной нашей жизни, но и для уразумения нашей жизни прошедшей или великих фактов истории. Им только могла бы уясниться вся бурная эпоха, разделяющая кончину последнего из приемников Рюрика и первого из царственного рода Романовых.

Недавно в одном из наших журналов, была напечатана критика на пушкинского Годунова и на ложные понятия об истории Годунова, переданные Карамзиным Пушкину. Можно согласиться со многими положениями и догадками критика, оставляя в стороне его промахи по части художественной; можно со-

гласиться, что в Годунове не было собственно так называемой гениальности, и что если бы он был одарен большею силою духа и сумел увлечь Россию в новые пути деятельности и жизни, не та бы была судьба его самого и его несчастных детей. Это замечание не без достоинства, но оно далеко не исчерпывает предмета. Нет народа, который бы требовал постоянной гениальности в своих правителях; и в сыне Феодора Никитича Романова, умирителе тревожений России, незабвенном Михаиле Феодоровиче, возведенном на престол путем избрания, так же как Годунов, трудно найти признаки гениальности, в которой отказывают царю Борису. Разница между отношениями народа к первому и ко второму избраннику (ибо Шуйского, как незаконно избранного, должно исключить) происходила от чистонравственных начал, понятных только в нашей истории и совершенно чуждых западному миру. Это была разница между законностью формальной и законностью истинною. Россия видела в Годунове человека, который втерся в ее выбор, отстранив всякую возможность другого выбора: тут была законность внешняя — призрак законности. В Михаиле видела она человека, которого избрала сама, с полным сознанием и волею, и которому добродушно и разумно поверила судьбу свою, так же как тем самым избранием поверила судьбу своего потомства — его роду: тут была законность внутренняя и истинная. Это чувство отражается бессознательно и в Карамзине и в его отзывах о Годунове. В нем беспрестанно невольно выражается какое-то негодование на плутню Годунова, если можно употребить такое выражение о таком великом историческом происшествии. И выражение этого негодования было даже часто предметом критики, повидимому, справедливой; но и тут, как и везде, Карамзин-историк, художник, сохраняет свое достоинство. В нем Россия выражается бессознательно: и он, как самый народ, хотел бы, да не может, любить Годунова; и он, как народ, искал и не находил законности истинной в формальном призраке закон-

ности. Это чувство принадлежит собственно России, как общине живой и органической; оно не принадлежит и не могло принадлежать условным и случайным обществам Запада, лежащим на незаконной основе завоевания.

В этом отношении можно бы исключить Англию из остального Запада, но это исключение было бы понятно только при истории Англии, взятой с совершенно новой точки зрения. Я прибавлю только, что в сравнении с другими землями Европы, Англия есть по преимуществу земля живая. Когда я сказал в моей статье, что она сильна не учреждениями своими, но несмотря на учреждения свои, — я подвергся нападениям моих читателей. Д'Израели, которого я тогда еще не читал, сказал точно то же и еще сильнее: *"English manners save England from English laws"*. И англичане поняли всю справедливость этих слов. Но такое воззрение не может быть доступным нашему просвещению. Его односторонней рассудочности доступен только формализм во всех отраслях человеческой деятельности, будь это в науке, или обществе, или искусстве.

При разрыве между самобытною нашею жизнью и привозною наукою эти два начала, как я сказал, не могли оставаться совершенно чуждыми друг другу: между ними происходила постоянная борьба. Жизнь сопротивлялась влиянию иноземного или, так сказать, колониального начала, только своею неподвижностью; прямого же влияния на него не имела, разве только тем, что мешала ему теснее сродниться и слиться окончательно с какою-нибудь из западных народностей. Просвещение же действовало постоянно, признавая жизнь или, лучше сказать, состав народный за грубый материал, подлежащий обработке для того, чтобы вышло из него что-нибудь дельное и разумное. Оно действительно не признавало России существующею, а только имеющею существовать. Вся эта громада, которая уже так много имела и будет всегда иметь влияния на судьбу человечества, являлась ему

каким-то случайным скоплением человеческих единиц, связанных или сбитых в одно целое внешними и случайными действующими; жизни же внутренней и сильной, разумной и духовной, создавшей ее, оно как будто бы и не предполагало, а когда и предполагало, то принимало за какое-то хаотическое брожение, которому изрекало приговор в слове презрения или насмешки. Разумеется, эти понятия, эти приговоры никогда не облекались в определенный образ и, так сказать, в формальные решения. Их должно искать в общем ходе образованности и в каждой ее подробности. Случайно и бессознательно вырвавшиеся слова часто яснее высказывают мысль, чем обдуманый и обсужденный приговор; в них всегда менее лицемерия, более искреннего чувства, и часто более общего мнения, чем личного. А такими словами наполнена вся наша словесность от Земледельческой Газеты, которая частехонько представляет русского крестьянина каким-то бессмысленным и почти бессловесным животным, до изящнейших выражений нашего общества, которое великодушно допускает в русском человеке ум, понятливость, смысленность и некоторое добродушие, впрочем без всяких убеждений и разумных начал, то есть порядочные материалы для будущего человека, а все-таки еще не человека. Такими же словами богат наш общественный разговор, от беседы мелкого чиновника, питающего глубочайшее презрение к бородачу, до тех недостижимых кругов и салонов, в которых патриотическая любовь снисходительно собирается приготовить для души того же бородача духовное и умственное содержание, которого она еще до сих пор лишена, а для его жизни вещественное благополучие по новейшим иностранным образцам. Это не частные ошибки, это мнение общее, более или менее ясно выговаривающееся; но если бы принимать это и за частные ошибки, то должно помнить, что есть заблуждения частные, которые возможны только при известном заблуждении общества. Таков, например, презрительный отзыв одного из наших

журналов о русской сказке и песне; в нем утверждали, что Пушкин в своей балладе и в сказочных отрывках исчерпал все богатство нашей народной поэзии, а Лермонтов в прекрасной сказке об опричнике и купеческом сыне далеко перешел за ее пределы, между тем как ни тот, ни другой, кажется, даже не поняли вполне ни ее неисчерпаемых богатств, ни даже ее неподражаемого языка. Действительно, ее почти бесконечная область обозначается, с одной стороны, чудными стихами:

Высота ль, высота ль поднебесная;
Глубота ль, глубота ль Окиан-море;
Широко раздолье по всей земле!

стихами, полными несокрушимой силы, в которые облеклась душа великого народа, призванного на беспримерные судьбы, --- а с другой, стихами:

Высота ль, высота ль потолочная,

в которых та же сила вспоминает с добродушной иронией о своем прежнем молодом разгуле, не скорбя: потому что чувствует себя целою и несокрушимой и знает, что она только призвана ходом исторических судеб на другое, более смиренное поприще.

Ты скажешь, что ошибка критика зависела от его личной ограниченности или безвкусыя; что он мог, как лицо, не понять всего величия нашего песенного мира, в котором отражается и величие русского народа, и смиренное добродушие русского человека и вся внутренняя жизнь того мирового явления, которое мы называем Россией; что он мог не понять Ильи Муромца, идеала гигантской силы, всегда покорной разуму и нравственному закону, идеала, конечно, неполного, но которому ни одна народная поэзия не представляет равного; точно так же как он не понял слов сказки об Алеше Поповиче, притворившемся калекою, «еле жив идет» и принял за выражение трусости — живой оборот, который был бы понятен крестьянскому десятилетнему мальчику. Ты скажешь, что всего этого мог он не понять по личной своей недо-

гавливости и что общее мнение не должно отвечать за ошибки журнального критика. Мне до лица дела нет; но я думаю, ты согласишься, любезный друг, что такого рода ошибки об английских или немецких песнях были бы невозможны в Германии и в Англии; что там никто бы не осмелился отозваться таким образом о балладах Чеви-Чес (Chevy-Chase) или сражении при Оттербурне (Otterburne battle) или о Нибелунгах и сказках о Дитрихе Бернском, несмотря на то, что они далеко уступают нашей русской сказке и песне; ты признаешься, что есть какое-то глубокое почтение или, лучше сказать, благоговение перед голосом народной старины, которое в Англии и Германии обязательно для всякого писателя и охраняет его от его собственной ограниченности. И вот почему такие ошибки или, лучше сказать, возможность таких ошибок представляет явную улику против нашего просвещения. Впрочем, не для чего доказывать слишком явную истину.

Естественным и необходимым последствием таких понятий и такого презрения к жизни было то, что наука и общество могли, без всяких упреков совести, без всякого внутреннего сомнения, беспрестанно стремиться к ее преобразованию. Попытки казались безопасными, потому что хаоса не испортишь, а стремление было благодетельно, ибо все наше просвещение отправлялось от глубокого убеждения в своем превосходстве и в нравственной ничтожности той человеческой массы, на которую оно хотело действовать. Высокие явления ее нравственной жизни были почти не известны и нисколько не оценены. Всякий член общества думал так же, как изящный повествователь нашего времени, что любая девочка из любого общественного заведения может и должна произвести духовный переворот во всякой общине русских дикарей. Никому и в голову не приходило, что из этих общин чуть-чуть не австралийцев, еще не слыжавших о христианском законе, выходили и выходят беспрестанно Паисии, Серафимы и множество других духов-

ных деятелей, которых нравственная высота должна изумлять даже тех, кто не сочувствует их стремлениям; что из этих общин льются потоки благодеяний, что из них являются беспрестанно высокие примеры самопожертвования, что в тяжелые годы военного испытания они спасали Россию не только своим мужеством, но и разумным согласием, а в мирные времена отличаются везде, где еще не испорчены, неподражаемою мудростью и глубоким смыслом своих внутренних учреждений и обычаев. Этому можно бы научиться из истории, из наблюдения даже поверхностного, или хоть из немца Блазиуса; но надобно хотеть учиться.

До сих пор все попытки, сделанные просвещением для преобразования жизни, остались безуспешными. Хорошо бы было, если бы можно было сказать и безвредными; но этого сказать нельзя. Эти неудачи и частый вред, сопровождавший их, можно было предвидеть. Упорство жизни проистекало от разумного, хотя и не сознанного источника. Она не могла отдать себе отчета в своем чувстве, но чувствовала в образованности нашей и в соприкосновении с нею что-то холодное и мертвенное; а отвращение всего живого к мертвому есть закон природы вещественной и умственной.

Мнимая деятельность или мнимая подвижность этой образованности не была только тем благородным и могучим стремлением, в котором проявляется энергия духа, познавшего свое величие и порывающегося (иногда даже ошибочными путями) к предназначенной ему цели, но она не была даже тем бодрым и самобытным движением, которым всякое Божие создание выражает свою внутреннюю, жизненную силу. Нет: она в областях умственного мира была тем невольным движением, тою сыпучестью, которая сообщается ветром воде или степному песку; а ветром было для нее дуновение западной мысли. Наше просвещение мечтало о воспитании других, тогда, когда оно само, лишенное всякого внутреннего убеждения, ме-

няло и меняет беспрестанно свое собственное воспитание, и когда едва ли не всякое десятилетие могло бы благодарить Бога, что десятилетию протекшему не удалось никого воспитать. Так, люди, которым теперь лет около пятидесяти и которые по впечатлениям, принятым в молодости, принадлежат к школе немецко-мистических гуманистов, смотрят с улыбкою презрения на уцелевших семидесятилетников энциклопедической школы, которой жалкие остатки встречаются еще неожиданно не только в глуши деревень, но и лучших обществах, как гниющие памятники недавней старины. Так тридцатилетние социалисты... Впрочем, продолжать нечего: общество само себя может исповедывать. Грустно только ведь, что эта шаткость и это бессилие убеждений сопровождаются величайшей самоуверенностью, которая всегда готова брать на себя изготовление умственной пищи для народа. Это жалко и смешно, да к счастью оно же и мертво и по тому самому не прививается к жизни. За всем тем не все проходит без вреда, кое-что и остается. Кое-где ветер нагонит воду или песок на какой-нибудь уголок доброй земли, когда-то плодородной и богатой собственной растительностью, и затопит или засушит его надолго, если не навсегда.

Я сказал, что всякая система, как и всякое учреждение Запада, содержит в себе решение какого-нибудь вопроса, заданного жизнью прежних веков. Перенесение этих систем на новую народную почву небезопасно и редко бывает безвредно. Тут, где вопрос еще не возникал, он непременно возникнет, хотя может быть и в другой форме, если только имел возможность возникнуть при условиях этого общества. Если же общество таково, что вопрос разумно возникнуть не мог (а таково отношение почти всех вопросов Запада к России), в жизни умственной народа непременно произойдет (конечно, кратковременное, но болезненное и крайне бессмысленное) движение, подобное тому жизненному расстройству, которым сопровождается введение начал неорганических, даже

отчасти и безвредных, в органическое тело. Этих примеров не мало, и найти их легко; но главный, самый яркий, самый общий во всей нашей науке, образованности и быте — это формализм неизбежный, как подражание чужеземным образцам, понятым в виде готового результата, независимо от умственного исторического движения, которым они произведены. Формализм имеет и должен иметь постоянное притязание заменять собою всякую нравственную и духовную силу и находить всякий закон, всякую охрану и даже всякое начало движения в голых и вещественных формулах, прилаженных к вещественным требованиям и побуждениям человеческим. Жизненную гармонию заменяет он, так сказать, полицейскою симметриею в науке, где он более боится заблуждений, чем ищет истины; в искусстве, где он более избегает неправильности, почти всегда сопровождающей всякое гениальное явление, чем стремится к красоте или к облечению внутренней красоты духовной в формы, ею созданные и ей соответствующие; в быте, где он вытесняет и заменяет всякое теплое и свободное излияние души холодным и мертвым призраком благочиния. Таков характер формализма; таков он был в схоластической философии, оставившей следы свои в новейшей германской философии, которую, за всем тем, можно считать одним из величайших явлений человеческого мышления; таков он был в так называемой классической литературе XVIII века; таков в пластических художествах школ, славившихся еще недавно; таков в обществах, сохраняющих слишком строго формы, от которых уже отлетел дух, их создавший (как, например, в Китае и в позднейшей Византии), или в обществах, не создавших своих собственных духовных начал и принимающих извне формы, созданные другими началами. В этом последнем отношении, современная Франция представляет нам поучительный пример. Лишенная собственной жизненной силы, или еще не познав ее, она переносит к себе со всевозможным усердием английские учреждения, прилаживая их к

себе, то есть искажая их с самую наивную уверенностью и перенося к себе призрак жизни, которого у нее нет. Зато при этом перенесении исчезает весь смысл образца, и вся простота заменяется бестолковою многосложностью. Газеты представляли недавно яркое доказательство тому в исчислении чиновников английских и французских.

.

Борьба между жизнью и иноземной образованностью началась с самого того времени, в которое встретились в России эти два противоположные начала. Она была скрытою причиною и скрытым содержанием многих явлений нашего исторического и бытового движения и нашей литературы; везде она выражалась в двух противоположных стремлениях: к самобытности с одной стороны, к подражательности с другой. Вообще можно заметить, что все лучшие и сильнейшие умы, все те, которые ощущали в себе живые источники мысли и чувства, принадлежали к первому стремлению; вся бездарность и бессилие — ко второму. Первое представляется Ломоносовым, несмотря на то, что сам великий основатель науки в России отчасти подчинился невольно влиянию иноземному; второе в Тредьяковском, презрителе всего русского, одежды, обычаев и языка, которые он называл мужицкими. Это не система, а факт исторический. Правда, что многие, даже даровитые, даже великие деятели нашей умственной жизни, были, слабостью молодости, соблазном жизни общественной и особенно, так называемого, высшего просвещения, увлечены в худшее стремление; но все от него отставали, обращаясь к высшему, к более плодотворному началу. Таково было развитие Карамзина и Пушкина.

Но прежняя борьба была неполная, бессознательная; теперь наступает и наступило время для яснейшего сознания и для полного разрешения давнишнего вопроса. С одной стороны, мы владели наукою, то есть всеми ее внешними результатами, и нам остается

только развить в самих себе жизненное начало, дабы и начала науки не оставались мертвыми, как до сих пор; с другой, мы уже начинаем сознавать яснее бессилие и бесплодность всякой подражательности, будь она явно рабская, то есть привязанная к одной какой-нибудь школе, или свободная, то есть эклектическая. Этому может и должен научить нас опыт. Наконец, внутреннее колебание и духовное замирание западного мира, теряющего веру в свои прежние начала и бессильно стремящегося создать новые по путям чисто аналитическим, может и должно служить нам уроком, обличая перед нами слабость наших прежних образцов и ничтожность нашего стремления. Прежнее стремление нашей образованности кончило свой срок. Оно было заблуждением невольным, может быть, неизбежным наших школьных годов. Я не говорю, чтобы не только все, но даже большинство получило уже новые убеждения и сознало бы внутреннюю духовную жизнь русского народа — как единственное и плодотворное начало для будущего просвещения; но можно утвердительно сказать, что из даровитых и просвещенных людей не осталось ни одного, кто бы не сомневался в разумности наших прежних путей. Остаются только еще привычки, — к несчастю слишком крепкая цепь и которая вдруг порваться не может; остается в большинстве глубокое неведение тех древних, живых и вечно новых начал, к которым должно возвратиться; остается гордость, которая сознает или, по крайней мере, подозревает в себе ошибку, да признаться в ней не хочет ни себе, ни другим; остается, наконец, скептицизм, тот, о котором я уже говорил, который потерял веру в силу формальной науки и не может еще поверить плодотворной силе жизни. Вот препятствия, с которыми должно бороться и которые не могут долго устоять против убеждения истинного и глубокого. Ими объясняется упорство, с которым многие добросовестные и далеко не бездарные люди отстаивают прежнее направление нашей образованности. Иные из них выставляют с гордым самодовольстви-

ем наши успехи в науке и художествах; но добросовестная оценка всего, что мы сделали по этим частям, не должна бы нам внушать другого чувства, кроме смирения, а разумная критика легко может показать, что задатки, данные искусству неученою Русью, далеко еще не оправданы ученою Россиею... Другие еще извиняют нас нашею будто весьма недавней образованностью, но полтора ста лет могли бы и должны бы (если бы направление взятое было неложно) довести наше просвещение до высоких результатов, или по крайней мере вызвать зародыши великого развития в будущем; а мы, кажется, этим похвастаться не можем. Наконец, нашлись и такие люди, которые решились без дальних умозрений назвать всех своих противников грязными варварами, спрятаться за одно великое имя Петра. Это умно, благородно, учено, доказывает одинаковое уважение к науке и ее правам на анализ, к истории и ее постоянному развитию, к человеческой мысли и ее праву на самобытность. Эти люди могут оставаться без возражения и без ответа, — они сами себе улыка.

Все такие явления неизбежны, но все они по внутренней своей слабости доказывают, что эпоха перерождения в нашем просвещении наступила. Еще важнее явления, доказывающие, что мы начали понимать не только темным инстинктом, но истинным и наукообразным разумением всю шаткость и бесплодность духовного мира на Западе. Очевидно, что он сам сомневается в себе и ищет новых начал, утратив веру в прежние, и только утешает себя тем, что называет нашу эпоху — эпохою перехода, не понимая, что это самое название доказывает уже отсутствие убеждений: ибо там, где есть убеждения и вера, там есть уже радостные чувства жизни, узнавшей новые цели, а не горькое чувство перехода неизвестного. Но нам предоставлено было возвести инстинктивные сомнения западного мира в наукообразные отрицания, — и этот подвиг должно считать лучшею заслугою нашей современной науки, заслугою, которую наше об-

разованное общество начало уже оценивать, хотя конечно оценило не вполне. Так, например, прекрасные и глубокомысленные статьи Ивана Васильевича Киреевского: о современном состоянии европейского просвещения⁶⁾, статьи, в которых строгая логика согрета теплым чувством всеобщей любви и которым, конечно, современная журналистика Европы не может представить ничего равного, пробудили многие новые мысли во многих и были радушно приветствованы всеми. Со временем эти статьи будут поняты еще полнее; выводы, в них заключенные, получают по большей части значение несомненных истин. Но, разумеется, анализ на этом остановиться не может: он пойдет далее и покажет, что современная шаткость духовного мира на Западе — не случайное и преходящее явление, но необходимое последствие внутреннего раздора, лежавшего в основе мысли и в составе обществ; он покажет, что начало той мертвенности, которая выражается в XIX веке, заключалось уже в составе германских завоевательных дружин и римского завоеванного мира, с одной стороны, и в односторонности римско-протестантского учения, с другой: ибо закон развития умственного — в вере народной, то есть в высшей норме его духовных понятий... Примером же можно бы представить в самом западном мире Англию, которой современная жизненность и исключительное значение объясняются только тем, что она (то есть англо-саксонская Англия) никогда не была вполне завоевана, никогда не была вполне римскою и никогда вполне протестантскою. При этом будущем успехе анализа и, без сомнения, с ним вместе, разовьется синтез науки и жизни успокоенной и оправданной разумным сознанием: ибо стремление, отрицающее подражательность нашей образованности, не есть стремление к мертвому и темному невежеству, но к науке живой, к внутреннему освобождению ее от лож-

⁶⁾ См. статьи И. В. Киреевского в «Москвитянине» 1845 года и в первом томе его «Сочинений».

ных систем и ложных данных и к соединению ее с жизнью, то есть к созданию просвещения.

Конечно, успехи будут медленны, и только дети наши воспользуются трудами наших современников: ибо несмотря на сомнения многих в разумности прежней нашей образованности, несмотря на выражающуюся жажду и на какие-то предчувствия уже не-эклектического российского, но органического русского просвещения, никогда еще, может быть, подражательность и смирение перед западным миром не были так сильны или, по крайней мере, так общи, как теперь. Но анализ начал свое дело, и это дело не может оставаться без плода. Недавно все наше просвещенное общество узнало о химическом разложении Румфордова супа из сухих костей, которым долго кормили бедных и который, не содержа в себе ничего питательного, более способен ускорить голодную смерть, чем спасти от нее. Конечно, с этого открытия бедные сыты еще не будут, но уж и того много, что постараются возвратиться к хлебу, бросив надежду на суп из сухих костей.

РАЗГОВОР В ПОДМОСКОВНОЙ (1856 г.)

Ольга Сергеевна, Анна Федоровна, Николай Иванович Запутин, Иван Александрович Тульнев.

Ольга Серг.: Ведь вы не совсем правы к Виктору Гюго.

Запутин: Да разве Иван Александрович бывает когда-нибудь прав в суждении о французских поэтах?

Ольга Серг.: По-моему, он почти всегда неправ; но уж особенно к Гюго он вовсе несправедлив, а я как-то особенно люблю стихотворения Гюго.

Тульнев: Этим дело пусть и кончится: обещаюсь оставить его в покое.

Ольга Серг.: Очень верю я вашим обещаниям. Только стоит взглянуть на вашу улыбку, так сейчас

заметишь как вы искренны. Признавайтесь, какую вы еще хотели злость сказать.

Тульнев: Может быть, никакой.

Ольга Серг.: Не верю, не верю, не верю. Признавайтесь и не сердите меня.

Тульнев: Хорошо положение. Не признаюсь, рассердитесь за молчание. Признаюсь, рассердитесь за дорогого поэта.

Ольга Серг.: Ну вот видите, была же злая мысль. Уж лучше высказывайте!

Тульнев: Не рассердитесь?

Ольга Серг.: Ну, да нет же, не рассержусь. Вы нарочно отмалчиваетесь, чтобы меня сердить.

Анна Федор.: Пожалуйста, не сердите ее! Я вижу, что у нее уж и вправду ножка сердится.

Тульнев: Каюсь... Я думал с внутренним восхищением о двух стихах Виктора Гюго:

*La France est le géant du Monde
Cyclope dont Paris est l'oeil.*

Эта Франция в виде кривого великана, этот город Париж вместо глаза во лбу у кривого: ведь это образ истинно поэтический.

Ольга Серг.: Ну скажите! Это по-вашему добро-совестно? Докопались до какого стиха...

Тульнев: А по-вашему он хорош?

Ольга Серг.: Перестаньте и не прерывайте! От того, что один или два стиха неудачны, так уж и Гюго никуда не годится! По-вашему, это доказательство?

Анна Федор.: В этом и я согласна с тобой. Я от Ивана Александровича таких доказательств не ожидала.

Тульнев: Да помилуйте, я и доказывать ничего не думал. Обещался даже прекратить разговор, а так как-то вспомнил два стиха.

Ольга Серг.: Может быть, даже я виновата, что заставила вас их повторить. Не правда ли?

Запутин: Ну, уж признайтесь, не совсем без хитрости кончили вы спор злым воспоминанием.

Тульнев: Признайтесь же и вы: если бы вы в ком из наших поэтов, с именем сколько-нибудь известным, встретили такое дикое уродство, были бы вы так же снисходительны? Да и найдете ли вы такие два стиха у которого-нибудь из них? Подумайте, поищите!

Запутин: Вдруг не вспомнишь.

Тульнев: Вообразите, если бы кто Россию вздумал прославить в стихах и представить ее одноглазым Циклопом.

Запутин: А вы хотите сказать, что мы глядим в оба?

Тульнев: Ну, этого собственно я говорить не хотел; но оставимте покуда свое. Опять пойдут споры, а я человек мирный, как наше время.

Запутин: Именно, как наше время, до первого задора.

.

...Анна Федор.: Скажите, Иван Александрович, как же это нет границ между Азией и Европой? Неужели вы не шутите?

Тульнев: Право мне кажется, что в этом делении много произвола. Отвергать его я, пожалуй, не стану; но есть деление, которое, может быть, важнее этого полупроизводного размежевания без живых урочищ: это деление по началам жизни и просвещения. Между Европой и Азией есть область...

Запутин: Так, так! Простите меня, я перебил вашу речь, но признайтесь, ведь ясно, куда вы клоните разговор. Россия и мир Восточный не принадлежат собственно ни Азии, ни Европе, и так далее. Ольга Сергеевна, Анна Федоровна! Как вы думаете, не туда ли речь клонилась?

Ольга Серг.: Кажется.

Анна Федор.: Я вижу по добродушному смеху Ивана Александровича, что он уличен.

Тульнев: Признаюсь.

Запутин: А из этой теории опять бы возникла речь о народности и самобытных началах.

Тульнев: Может быть.

Запутин: К чему это? К чему все эти толки о народности? Послушайте, вы знаете, что я не доволен статьей в «Московских ведомостях»; вы знаете, что в ней многое, а уж особенно одно местечко, мне крепко не по сердцу; но есть хоть одно слово дельное. Выражений собственно я не помню, но смысл тот, что народность крепкая не требует подпоры, а слабой не подпрешь, и кокетничать с ней нечего. К чему же об ней и толковать? Пустите ее на волю судьбы и собственной силы. Есть что в ней доброго и здорового, оно само скажется, и скажется тем естественней и сильней, чем менее вы будете с ней нянчиться и носить, как с хилым ребенком.

Тульнев: В ваших словах есть доля правды, но что же делать? Что у кого болит, тот о том и говорит.

Ольга Серг.: Как! Вы признаетесь, что это у вас болезнь?

Тульнев: У нас — без сомнения.

Ольга Серг.: У кого же, у нас? Не у вас ли одних? Ведь вы одни заговорили о народности и все толкуете о ней.

Тульнев: Вы правы, да и не совсем. Не мы, современники, начали: уже Ломоносов, лучший и ревностнейший труженик русского просвещения, горячий и почтительный ученик западной науки, чувствовал права народности и не мало за них спорил, и с той самой поры спор не прекращался. Вид спора менялся, вопросы ставились новые, взгляд расширялся и уяснялся, но одно и то же дело продолжалось до нашего времени.

Запутин: Вы, вероятно, признаетесь, что немало важным эпизодом в этой истории была борьба Шишкова с Карамзиным, и, кажется, тогдашний представитель европеизма был не совсем под силу представителю народности.

Тульнев: Тем более чести самому делу, что, при таком неравенстве талантов, борьба была еще возможна. Впрочем, мы не стыдимся Шишкова и его славя-

нофильства. Как ни темны были еще его понятия, как ни тесен круг его требований, он много принес пользы и много кинул добрых семян. Правда, почти все литераторы той эпохи, все двигатели ее были на стороне Карамзина; но не забудьте, что Грибоедов считал себя учеником Шишкова, что Гоголь и Пушкин ценили его заслуги, что сам Карамзин отдал ему впоследствии справедливость, и что самый русский по языку из всех русских прозаиков вышел по собственному признанию из школы Шишкова.

Анна Федор.: Кто же это?

Тульнев: Автор «Семейной хроники».

Запутин: Да вы очень счастливы этим приобретением.

Тульнев: Вы говорите об нем как об случайности. Да разве оно случайно? Разве вы думаете, что то русское слово, живописное и живое, которым вы наслаждаетесь при чтении книги, изданной в нынешнем году, не коренится в русском слове, которым автор говорил с исключительной и гордой любовью от самого детства? Разве вы думаете, что воображение, чувство, мысль и их выражение срослись у него в одно неразрывное целое в один день? По-вашему, говори с утра до ночи на всех языках Вавилонского столпотворения, думай на всех этих языках (ведь человек думает же словом), и вдруг, когда захочешь, начни думать на своем родном языке, как будто век другого и не знал: вчерашний француз будет сегодняшним русским вполне и внесет в свою речь все благоухание детских воспоминаний и молодой жизни, всю живость сочувствий души с природой и природы с душой человеческой, и все богатство слова и оборотов, в которое облеклись прошедшая жизнь и дума народа? Ведь вы это не думаете; так зачем же вы говорите о славянофильстве нашего автора, как случайность?

Анна Федор.: Послушайте, Николай Иванович, мне кажется Иван Александрович прав.

Запутин: Не стану спорить, может быть, он и прав теперь, а главное, он говорил вам с поэтическим во-

одушевлением, между тем как вы знаете, что я не очень способен к поэзии, хоть и чувствую ее. Что прикажете делать? Я просто поклонник логики и доволен своим божеством. Позвольте возвратиться в его область. Мы отклонились от вопроса. Почему вы сказали по случаю народности: «что у кого болит, тот о том и говорит», и согласны ли вы с «Московскими ведомостями», что здоровая народность не требует ухода, как хилый ребенок?

Тульнев: Я право не знаю, что мне и сказать на первый вопрос ваш. Неужели вы не чувствуете, что самый спор наш, что самый вопрос, вами поставленный, уже заключает в себе ответ? Да, мы больны своею искусственною безнародностью, и если бы не были больны, то и толковать не стали бы о необходимости народности. Подите-ка скажите французу или англичанину, или немцу, что он должен принадлежать своему народу; уговаривайте его на это, и вы увидите, что он потихоньку будет протягивать руку к вашему пульсу с безмолвным вопросом: «в своем ли уме этот барин?». Он в этом отношении здоров и не понимает вас, а мы признаем законность толков об этом предмете. Почему? Потому что больны.

Запутин: Ведь и в «Московских ведомостях» сказано, что ни в Англии, ни во Франции, ни в Германии не думают об отыскании народности.

Тульнев: Сказано, да без смысла. Вывод-то очень прост, но критик его не сделал: ни в Англии, ни во Франции не думают об народности, потому что там нет чужих стихий, а у нас думают, потому что они у нас есть. Послушайте, ведь не вы писали статью.

Запутин: Конечно, не я, вы в этом уверены.

Тульнев: Очень уверен, а то и толковать бы и не стал. Вы не хуже меня знаете, что от Клопштока до Фихте и Шиллера включительно шла в Германии борьба, и борьба упорная; что тогда там отстаивали и отстаивали народность, не в жизни политической только, а в жизни художеств, науки и быта; что торжество было не совсем легко и что сам Фридрих был полу-

француз и презирал Германию. Да что мне вас учить? Редактору «Московских ведомостей» не случилось читать историю литературной Германии: его и винить нельзя; но вы должны со мной согласиться.

Запутин: В этом, разумеется, я согласен. Факт исторический в вашу пользу. Вы видите, что я добросовестно спору и умею соглашаться, когда противник прав.

Тульнев: Я иного от вас не ожидал; мы с вами знакомы не с вчерашнего дня. Ну, так видите, тогда Германия была больна безнародностью и говорила о народности, и выходит по-моему: «что у кого и болит, тот о том и говорит». А что же об нас толковать? Вспомните, что у нас положено, по предложению Анны Федоровны, условие не говорить по-французски.

Ольга Серг.: Это Анета надо мной подшутила: она знала, как тяжело мне это условие.

Запутин: Помнится мне, Иван Александрович, что в предисловии к «Русской беседе» было сказано что-то об эпохе, в которой Германия отказывалась от себя.

Тульнев: Было; но по случаю этой эпохи, я бы вам сказал свою мысль, да вы, пожалуй, вооружитесь против меня: лучше не скажу.

Ольга Серг.: Нет, нет, не вооружимся. Говорите! Я обещаюсь, что не вооружусь и Анета обещает.

Анна Федор.: Пожалуй, обещаю.

Ольга Серг.: И Николай Федорович обещает?

Запутин: Ну, я не очень обещаюсь.

Тульнев: Я и так скажу. Посмотрите на Германию. Она более всех других народов Европы отказывалась от народности своей, даже отчасти стыдилась себя, у что же?.. Разве это временное отречение было бесплодно? Нет, Германия награждена тем, что, когда она возвратилась к самопознанию и самоуважению, она принесла из эпохи своего унижения способность понимать другие народы гораздо лучше, чем француз, англичанин или итальянец. Она почти открыла Шекспира. Мы так же от себя отрекались, унижались более чем Германия, во сто раз более. Я наде-

юсь, я уверен, что, когда мы возвратимся домой (а мы возвратимся — и скоро), мы принесем с собой такое ясное понимание всего мира, которое и не снится самим немцам. Но смотрите, это между нами, не принимайте во зло добровольного признания.

Запутин: Я не признаю ни странствования, ни необходимости возврата, ни особенной необходимости холить свою народность. Крепка она, так не в опасности; слаба, так Бог с ней! В истории одно правило: “*Vae victis*”. Виноват, *mesdames*, что сказал слово полатыни. Это значит: «Горе побежденным».

Анна Федор.: Латинское слово прощается, а французское нет.

Ольга Серг.: Как я рада: не я первая обмолвилась.

Запутин: Да что же я сказал?

Ольга Серг.: *Mesdames*.

Запутин: Нечего делать, признаю свою вину. Но я повторяю опять свое возражение. Из чего поддерживать народность? Если она слаба, она осуждена, и ничто ее не спасет; если сильна, ничто не погубит. В обоих случаях заботы бесполезны.

Тульнев: Сейчас мы говорили о примере Германии и, кажется видели, что в ней заботы были не бесполезны; но мне кажется бесполезным говорить о пользе или бесполезности самой заботы. Она — простое и естественное выражение любви к мысли и к людям. Позвольте мне вам повторить слово простого русского человека. Был на площади кремлевской спор между православными и раскольниками. Православный, кончив свою речь, с доказательствами, прибавил: «я знаю, что придет час, и вы все приобщитесь к нам». Один из раскольников отвечал ему: «если ты это знаешь, то почему ты теперь хлопчешь, когда час еще не пришел?» Ответ был превосходен: «Глупый, глупый, ты человек! Если бы сын мой был погружен в какой-нибудь великий порок, и сказано бы мне было свыше, что он к вечеру покается, я все-таки уж с утра начну его уговаривать и умолять, ведь это действительно любви».

Анна Федор.: Какое чудное слово! Да вы верно его сами выдумали.

Тульнев: Верьте мне: мы таких слов и выдумывать-то не умеем. Право, наша народность стоит таки чего-нибудь. Впрочем это дело стороннее, а вот что несомненно. Во-первых, пример самой Германии показывает, что бесполезно заботиться об укреплении народности; во-вторых, если бы даже доказано было, что она восторжествует собственными силами (в чем, разумеется, я не сомневаюсь), то все-таки каждый из нас, верящих в ее необходимость, обязан и ускорить это торжество, и дать ему характер полного сознания, и облегчить самую тяжесть борьбы, которая раздвояет внутреннюю жизнь человека.

Запутин: Иначе сказать: вы хотите придать силу народности, которой вы не очень-то доверяете. Признайтесь, что так.

Тульнев: Уж конечно не так. Никому из нас не входит в голову ни малейшего сомнения на счет окончательного торжества народности; но каждый час дорог: в каждый час погибают следы, дорогие следы прежней жизни, заветы прекрасной старины. Сознай мы ее достоинство тому лет сто раньше, и сколько спасли бы мы любопытных преданий, затейливых сказок, чудных песен, которые теперь утратились, а могли б и нас радовать и поучать, да и Германиею были бы приняты с благодарностию в какое-нибудь новое собрание *der Stimmen der Völker*. Опять скажу: в нас нет ни тени сомнения. Сомневаться, уцелеет ли русская народность. Да это право так смешно, что никому в голову придти не может! Совсем не в том дело.

Запутин: А в чем же?

Тульнев: Я уже вам сказал; но скажу больше, только пожалуйста не обидьтесь. Все наши слова, все наши толки имеют одну цель, цель педагогическую. Вас, или простите, не вас, но людей безнародных, хотелось бы нам предостеречь от губительного подражания. Нескольких поколений блуждали в пустыне: зачем же и другим также бесплодно томиться?

Запутин: Очень и очень вам благодарны, но признаюсь особенного томления мы не чувствуем.

Тульнев: Жаль.

Запутин: Жалейте, если хотите; но я не вижу, об чем вы жалеете. Где видели вы или видите безнародность? Положим, вы русские люди...

Тульнев: Далеко еще не русские.

Запутин: Так и жалейте о себе! А мы считаем себя русскими, и русскими вполне. Я, право, не уступлю никому в любви к России и никак не считаю себя менее русским, чем кто бы то ни был. Конечно, мы позволяем себе думать, что образованность европейская усвоена нами не даром, что она сколько-нибудь порасширила наши понятия, посягчила наши нравы, поочистила наше умственное и духовное существо, поставила нас, наконец, повыше темной массы. Вы качаете головой, вы не согласны; но таково наше убеждение. Из этого следует ли что мы не русские, что у нас нет ни русского ума, ни русского сердца? На этот вывод, на это произвольное обвинение мы никак не согласны; и вам нелегко будет нас переубедить, разве бы вы доказали нам, что русское и невежественное, русское и безграмотное одно и то же, и что оно-то и дорого. Но на это, вероятно, вы не согласитесь; да этого про вас конечно никто и не подумает.

Тульнев: А это однако пишут и печатают.

Запутин: Полноте, кто может такую нелепицу говорить? Ведь мы все здесь люди порядочные.

Тульнев: Я со своей стороны скажу вам: кто сомневается в вашей любви к России? Разве не известно хоть бы о вас, как вы ей служили на двух поприщах, военном и гражданском? Дай ей Бог побольше таких слуг! Вы сами знаете, что это не комплимент, а говорится искренно; но любовь любви рознь. Я видел, да и вы видали, иностранцев, которые были готовы умереть за Россию, и даже больше, не решались нигде жить, кроме России, а все же и вы, и я, считали их иностранцами. Скажите же просто: почему, вне круга чувств и дел гражданских, можете вы себя считать

русским? Или еще иначе: есть ли в вашей жизни, в ваших обычаях, в ваших привычках, в ваших наружных одеждах, во всей целости вашего существа что-нибудь, что вы сами могли назвать русским, кроме имени и происхождения?

Ольга Серг.: Как же? Мы вместе с Николаем Ивановичем были нынешний год на блинах.

Анна Федор.: Не смейся, Ольга! Иван Александрович почти то же скажет и об нас.

Запутин: Не знаю, право, что на это сказать: Эдак... собственно... то есть, отличительного русского...

Тульнев: Видите, что вы сами в душе со мной согласны.

Запутин: Ведь и французы, и англичане, и немцы нашего времени сошлись во всех привычках жизни наружной: таков век наш, век общеевропейской жизни; а вы не лишаете их права считать себя вполне принадлежащими своей родине...

Тульнев: Постойте: вы сами знаете, что это не возражение. Во-первых, каждый из этих народов внес свою долю в общий обычай, и этот обычай у них дело общее, а мы ничего не вносили в него, и нам совершенно чужой; да и сверх того, неужели вы вправду считаете себя столько же русским, сколько мистер Блоссом англичанин или фон Винтерблат немец?

Анна Федор.: Какой это Винтерблат? Не тот ли самый, который, по обычаю Австрии, уступал место сыну, потому что сын целым поколением благороднее отца и который повторял вам то отвратительное слово австрийского сановника?

Тульнев: Именно тот самый, который повторял: *Erst als Baron wird der Mensch geboren; alle Anderen werden geworfen.* Именно тот.

Ольга Серг.: Хорош!

Тульнев: Хорош или дурен, все равно: что в нем порок, и что достоинство, до нас не касается. Я говорю — все в нем хорошее или дурное принадлежит его народности. Скажем ли то же о себе? Имеем ли на то

право? Самые споры о народности служат доказательством в мою пользу и вы признали его силу. Наше положение исключительно, и мы должны в этом сознаться. Только этого я и прошу.

Запутин: Я принимаю ваше заключение, однако же с некоторыми оговорками. Происхождение значит же что-нибудь?

Тульнев: Позвольте: оговорка эта вовсе ничтожна; да вы и сами ее выговариваете с какою-то весьма понятной робостью; вы чувствуете ее несостоятельность. Помните вы наших двух знакомых, из которых один родился, а оба воспитывались в Париже? Что было в них русского? Сами знаете, что ничего.

Запутин: Правда, но они слова русского не знали.

Тульнев: Итак значение имеет не происхождение, а язык? Что же? Много говорим мы, много думаем по-русски? Есть чем похвалиться. Да и слово наше разве русское вполне? Ведь слово не в лексиконе одном (да и тот у нас оскудел) и не в грамматике (которая впрочем у нас построена Бог весть как и для какого языка); оно в самом отношении мысли и чувства к звукам, служащим выражением для них. Больше того: слово народное не в одних словах, а во всех народных обычаях, сочувствиях, обрядах, во всем быте народа. Язык, конечно, отчасти не позволит нам вовсе оторваться от родины и быть совершенно похожими на наших парижских знакомых; но право не далеко ушли мы от них.

Запутин: Пусть так: я принимаю ваше заключение без оговорок. Да-с, я допускаю, что мы гораздо меньше принадлежим народности, чем просвещенные англичане, французы или немцы своей народности. Неужели вы думаете, что такое заключение меня озадачит или оскорбит? Совсем нет.

Тульнев: Я понимаю, что ваша добросовестность должна была вас привести к признанию безнародности нашей образованной братии, а о дальнейших водах можно поговорить.

Анна Федор.: Я вас перебыю; ведь признание Николая Ивановича грустное признание. Неужели вам не тяжело чувствовать и знать себя как-то одиноким на земле? У всякого человека есть что-то, о чем он может сказать: «наши, наш или даже мой народ», а у вас этого нет. Мне кажется, до слез было бы больно, если я должна была сознать такое одиночество.

Ольга Серг.: А по мнению Ивана Александровича, и ты должна то же сказать, как и все мы. Не прогневайся, а если уж гневаться, так на него, а не на меня.

Тульнев: Это печальная истина; но степени отчуждения далеко неодинаковы для всех, а Анна Федоровна, может быть, менее всех нас должна быть обвинена в этом недостатке.

Ольга Серг.: А я?

Тульнев: Оставим вопросы личные: в них толку нет.

Запутин: Хоть мне и очень неприятно являться в дурном свете перед вами, а особенно перед Анной Федоровной, но не хочу ни скрывать истины, ни умалчивать моего взгляда на нее. Я опять признаю, что мы менее принадлежим русской народности, чем образованные англичане или французы своей народности.

Тульнев: То есть вовсе не принадлежим ей.

Запутин: Пожалуй, я и тут спорить не стану. Так я же вам скажу, что вы это считаете несчастием, бедою, нравственным пороком, а я так считаю это истинным счастьем, достоинством и превосходством перед всеми другими.

Анна Федор.: Что вы это говорите?

Запутин: Да, я это говорю и повторяю. У меня нет ни поэтической восторженности, ни романтических затей: я просто, как вы знаете, сухой, практический логик, туманов не люблю, а гляжу делу прямо в глаза. Народность есть ограничение общечеловеческого, а только общечеловеческое и дорого. Чем менее оно во мне ограничено, тем лучше, да-с. В этом отношении я себя считаю выше англичанина, и француза, и немца. Они стеснены, сжаты, съезжены своею народ-

ностью, а я отрешен от нее и радуюсь. Моя интеллектуальная свобода шире, мои общечеловеческие сочувствия и понимания объемистей. Весь мир человеческий мне доступен во всем своем бесконечном просторе и даже во временных правах своих тесных национальностей; я понимаю всякую отдельную культуру ума; я смотрю с некоторым сочувствием даже на всякую aberrацию человеческой мысли и стою выше их в полной свободе своих общечеловеческих выводов.

Тульнев: Весело разговаривать с человеком таким, как вы. У вас ум строго логический. Вы понимаете все выводы из своих данных, не увертываетесь от них (как это многие делают), не хитрите перед другими и самим собой, и смело идете своей дорогой от причин к следствиям, которые из них вытекают законно. Вы верны своему мнению и поэтому ставите наше образованное общество выше всех других.

Запутин: Постойте, общечеловеческое в наше время доступно стало везде многообразным, и те, точно так же, как мы, отрешились от своей народной ограниченности.

Тульнев: Пусть оно и так; у нас такое отрешение обычнее, как вы сами признали, и следовательно умственное превосходство нашего общества не подлежит сомнению.

Запутин: Хоть бы и так, пожалуй!

Тульнев: Странны тут два обстоятельства. Первое, то, что, при таком логическом сознании нашего превосходства, в нас так мало самоуверенности, и что мы постоянно до сего времени принимаем от других, а не налагаем на них, формы и обычаи; и второе то, что при таком превосходстве мы так мало показываем изобретательности и так мало способствуем общему успеху просвещения, а между тем стоим во главе его по вашему мнению.

Запутин: Я вам на это скажу: учения у нас мало; даже пособий и средств к учению мало. Вы говорите русскому народу, чтобы он сохранял народность, а ему просто надобно говорить: учись.

Тульнев: Да кто же советует народу сохранять народность? Кому пришла в голову такая блажная мысль? Это говорится образованным или, лучше сказать, говорится образованным другое: «видите, друзья, что вы ничего не можете истинно-дельного придумать, что вы в общем ходе человеческого знания бесплодны. Причина вашей бесплодности, вашей, или лучше сказать, нашей ничтожности к науке — отсутствие народной стихии. Старайтесь жить сами, если можете, и по крайней мере не тяните других в ту мертвую область, в которой погибают ваши собственные силы». А если что говорится народу, то не говорится: «не учись», а говорится: «учись, да притом не забывай»; смысл всего толка о народности ясен: зачем же представлять его превратно? А лучше объясните-ка нам разгадку той странности, о которой я вам сейчас говорил. Как же это мы так высоко стоим над всеми тесными национальностями вследствие своего отрешения от своей национальности и так мало содействуем общему ходу просвещения?

Запутин: Опять скажу: учения мало, пособий и средств к учению мало.

Тульнев: И так мы находимся в области общечеловеческого знания по отречению от своих народных начал и ничего в ней не производим, потому что еще не доучились. Мы отреклись, чтобы знать, да притом и не знаем. Положение незавидное!

Запутин: Не то; а нас, знающих, мало.

Тульнев: Пожалуйста не говорите о числе. Много мелких областей найду я вам в Европе, где число ученых (разумеется не пропорционально, а в общем итоге) меньше и много меньше нашего, а производительность ученая много выше нашей.

Анна Федор.: Неужели вправду мы так мало сделали для наук?

Тульнев: Спросите лучше у Николая Ивановича.

Ольга Серг.: Николай Иванович, что же вы молчите? А еще говорите, что по своей... как вы это ска-

зали?.. да, по общечеловеческой высоте мы умствен-
но превосходим других?

Запутин: Видите, тут можно много сказать: всех причин и не придумаешь; а одно остается все-таки твердым и несомненным. Дорого только общечеловеческое — истина. Национальное есть ограничение общечеловеческого, и разумный человек не может и не должен искать ограниченности, когда может владеть полнотою интеллектуальной свободы. Таков девиз образованных русских людей.

Анна Федор.: По-вашему выходит: образованных не русских людей, а только разве рожденных в России.

Ольга Серг.: Благодарствую, Анет; а вот еще говорят, что мы женщины в логике неспособны: ведь это логика.

Тульнев: И даже превосходная. Но позвольте рассмотреть положение, утвержденное Николаем Ивановичем, и испытать его крепость. Народность тесней общечеловеческой области; кто же об этом спорит? Человек должен стараться приобрести все общечеловеческое, — опять никто не спорит. Следовательно он должен освободиться от всего народного. Вот тут-то и вся завязка, и я говорю, что это следовательно не следует и ни на чем не основано.

Запутин: Как же так не следует?

Тульнев: Конечно, не следует. Сперва общечеловеческое является, как предмет познания и справедливо ставится выше частного, народного; а потом вдруг общечеловеческое является, как противоположное народному в орудии познания, в уме человеческом. Да где же тут логика? Тут народное может быть противопоставлено только личному, потому что мы познаем, сколько мне известно, личным, а не человеческим умом.

Запутин: Да и не народным.

Тульнев: Конечно. Народное начало является только, как первый воспитатель ума личного, и вопрос должен быть поставлен следующим образом: народность служит ли пособием или делается помехой лич-

ности при восприятии общечеловеческого? Верно ли мое определение? Довольны ли вы им?

Запутин: Вполне.

Тульнев: Я знаю, что с этим вопросом связан еще другой; но о том после. Начнемте с начала. Хорошо бы было для нас, если бы мы представляли в себе чистый разум, отрешенный от всякой случайности. Тогда бы вечная истина всего сущего и истина общечеловеческая воссоздались бы в нашем понимании, как в великом зеркале, достойном самой истины и способном отражать все ее лучи во всей их чистоте. Но мы не таковы. Каждый из нас не что иное как личность, охваченная тесною рамою своей случайной определенности, зеркало мелкое и окрашенное краской своих частных способностей и склонностей. Так ли?

Запутин: Это ясно.

Ольга Серг.: Пожалуй, для вас ясно: вы ведь тоже рылись в немецких философах, а для нас нужно бы было поясней.

Тульнев: Добрая школа для ума — эта немецкая философия. Самая борьба с ней, которая, разумеется, возможна только при полном ее изучении, приучает ум к строгости, которой не дает никакое другое занятие; но я выражусь совершенно просто. Ум человеческий, даже самый обширный, крайне ограничен и не может надеяться на безусловное постижение общечеловеческой истины.

Ольга Серг.: Вот это понятно для всех.

Тульнев: Хорошо! Все истины науки, за исключением дважды два четыре (горение есть соединение сгораемого с кислородом, и тому подобное), передаются нам от других людей в формах, образцах, выражениях, определенных теми народностями, к которым эти люди принадлежат, и следовательно каждая народность отражается в нас. Точно то же и с нашей народностью. Но если мы даем ей тот вполне свободный и естественный доступ, на который она имеет неоспоримое право, она по самой полноте и разнообразию своих прикосновений к нашему уму, захватывает его

полнее и шире чем другие. Что же? Это несчастье? Это обеднение? Очевидно нет. Мы ее познаем полнее, но из этого следует ли, чтобы мы другие понимали уже? Хорошо бы было, если бы и все народности, то есть отражение общечеловеческого во всех народных формах, было нам так же доступно; но это невозможно. Брошу ли я алмаз потому только, что я всех алмазных копеек не могу перевести в свою шкатулку? Это было бы безумием.

Запутин: Сравнение не доказательство.

Анна Федор.: Сравнение, кажется, служило только объяснением для Ивана Александровича. Было при сравнении и доказательство; что же вы на него не отвечаете?

Запутин: Оно благовидно, но, конечно, не решительно.

Тульнев: Я это сам знаю; но всматривайтесь глубже. Многообразна жизнь человека в народе; она свою долю общечеловеческого достояния, ею схваченную и выраженную в слове и быте, складывает в стройное, живое и сочлененное целое; и человек принимая в себя всю эту жизнь, кладет стройную и сочлененную основу своему собственному пониманию. Все остальное, переходя в этот уже готовый организм, с ним совлекается, ассимилируется (если угодно), обогащает его, но не дробит и не убивает духа. То же самое вне жизни народной, принятое прямо от других народов с их народными формами, дробится в какую-то калейдоскопическую пестроту разнородных начал и никогда не складывается в живое и полное целое.

Запутин: А работа собственного, личного ума? Вы ее ставите ни во что?

Тульнев: Именно ни во что. Жизнь личная, отвлеченная от общества народного, сама по себе так скудна, так малообъемиста, что она не может переработать в одно целое материалы, доставляемые ей великими личностями- народами. Ее критика есть критика случайного произвола, а не критика организма, отделяющего пищу, ему естественную, из случайных ма-

териалов, сообразно со своими жизненными законами. Личный ум человека складывает материалы, полученные от народов, в каком-то библиотечном порядке и сам дробится по полкам своей собственной библиотеки на отделы: скажем, немецкой философии, английской общественности, французских полусочувствий с человечеством и прочее, сам бегаёт по своей библиотеке и, не съютив в себе ничего цельного, ничего не производит, да и по правде сказать, ничего и не думает. Думание требует некоторой цельности в мыслящем существе. Своя народность заменилась не общечеловеческим началом, а многогранностью вавилонскою, и человек, не добившись невозможной чести быть человеком безусловно, делается только иностранцем вообще, не только в отношении своему народу, но и ко всякому другому и даже к самому себе. Каждый отдел его мозга иностранен другому.

Запутин: Очень вам благодарны: вы нам отказываете даже в мыслящей способности.

Тульнев: Не в способности, а в силе; и не вам, а, увы, нам всем. Вот причина, почему мы в такой ничтожной мере содействуем общему ходу ума человеческого. Да послушайте еще: вы логик, вы математик; подумайте о следующей причине. Ни один из живых народов не высказался вполне. Его печатное слово, его пройденная история выражают только часть его существа; они, если позволите такое слово, не адекватны ему. Невысказанное, невыраженное таится в глубине его существа и доступно только ему самому и лицам, вполне живущим его жизнью. Образованный иноземец, француз или немец, знает все то, что мы знаем, то есть, высказанное народами, то есть их неполное, неадекватное выражение, и сверх того знает свой народ вполне, внутреннюю свою жизнь; а мы знаем только неполное выражение всех народов и более ничего. Очевидно, мы беднее всякого образованного иноземца, и много бедней на все количество мысли и жизни, которые выскажутся в будущей истории каждого народа, а это бесконечно много. Вот

опять отчего мы так слабы умственно; вот отчего мы принуждены быть прихвостнями европейской мысли. Ведь все это просто, как математическая формула.

Анна Федор.: Мы обе это все поняли, кроме одного словца.

Тульнев: Вероятно, адекватный?

Анна Федор.: Именно. Зачем вы употребляете такие слова, которых не поймешь?

Тульнев: Хотел я употребить русское, в версту. Да вы лучше ли бы поняли меня?

Ольга Серг.: Что, Анет, поняла?

Тульнев: Это почти то же, что вровень. Что скажете вы, Николай Иванович? Согласны ли вы со мной?

Запутин: Мне кажется, вы ищете многосложных объяснений тому, что очень просто. Мы не доучили и следовательно не можем подвигать науку вперед. Прежде чем других поведешь, надо их догнать. Надобно знать не зады только, а идти в уровень с современной наукой.

Тульнев: Догнать временную науку, которая с каждым днем сама подается вперед? Да вы, я думаю, шутите. Кто в уровень с современной наукой? Такого человека нет и быть не может на земле. Все ученые — ученики друг у друга постоянно, и потому самому со-трудники, и всякий идет своим путем. Только мы одни своего пути не пролагаем. Мы всегда догоняем и никогда не догоним просто потому, что всегда ступаем в чужой след; а почему мы так ступаем, я вам, кажется, показал в чисто логических выводах.

Анна Федор.: Повторите, пожалуйста, если можно, вкратце.

Тульнев: Другие имеют внутреннюю целость, а мы нет. Другие знают внешним образом явление чуженародных мыслей, а свою народную жизнь знают знанием живым и внутренним; а мы и себя, как и других, знаем только скудным знанием внешним. Следовательно они бесконечно богаче нас умственною силою, а мы не хотим искать в себе того богатства, ко-

торое нас бы разом поравняло с ними и вероятно выдвинуло бы нас еще далеко вперед.

Запутин: Известно притязание русского воззрения на науку.

Тульнев: Конечно. От вас, разумеется, я не слышу вопроса: есть ли русская арифметика или русская астрономия? Вы человек истинно-просвещенный и знаете, к каким наукам может относиться различие воззрения. Вы знаете, что оно не может касаться тех наук, которых предмет есть простое изучение внешних законов, и относится во всяком случае только к тем наукам, которых предмет связан с нравственными и духовными стремлениями человека. Поэтому позвольте вас спросить: почему же в них не может быть народного воззрения? (Оставим покуда слово русское в стороне).

Запутин: Мне кажется, ответ очень прост: везде истина одна, и взгляд на нее у всех должен быть один.

Тульнев: Но всякая истина многосторонняя, и ни одному народу не дается ее осмотреть со всех сторон и во всех ее отношениях к другим истинам. Иная сторона или отношение иному народу недоступны по его умственным способностям, или не привлекают его внимания по его душевным склонностям. Я говорю: народу, а не лицу; ибо, кажется, показал вам, почему лицо всегда находится в связи с своим народом и вне этой связи бесплодно. Такова тайна исторической судьбы, еще не вполне разгаданная, но несомненная в своем проявлении. Общечеловеческое дело разделено не по лицам, а народам: каждому своя заслуга перед всеми, и частный человек только разрабатывает свою долю в великой доле своего народа. Такова его частная заслуга. Вы сомневаетесь в возможности народного воззрения? Хорошо! Что ж? Если бы французское направление высшего общества в Германии отстоялось, был бы Шеллинг, был бы Гегель? Как по вашему мнению? Вы знаете, что нет. А между тем истина философская одна, как и всякая другая истина. Посмотрите! Шеллинг и Гегель переведены, их чи-

тают; а из миллионов французов или англичан сколько людей понимают их? Сколько ценят? Два, три, много десятков. И вы скажете, что француз или англичанин создал бы ту систему, которая так мало доступна его пониманию, когда она уже создана?

Запутин: В ваших словах есть много вероятного, но ведь не все науки философия; большая часть далеко не так многосложна и не допускает такого различия воззрений.

Тульнев: Полноте; вы сами знаете, что нет почти ни одной науки, которая была бы так одностороння, чтобы не допускала множества различных взглядов. Да, они возможны отчасти в том, что мы готовы считать точными науками. Не всякому сказал бы я это, но вам могу сказать и вы поймете меня. Теория волн в физике и теория атомов в химии не носят особенных характеров? Они не указывают на различие народов? Эйлер не должен был быть немцем, и Дальтон не должен ли был быть англичанином? Скажите сами.

Запутин: Остроумно, нечего сказать.

Тульнев: Скажите откровеннее: справедливо. Вникните во все, что мы говорили, и вы не только признаете, что народное воззрение возможно почти во всех науках, но еще признаете, что никакое другое воззрение невозможно, а возможна только безнародная слепота (что нами и доказывается постоянно с успехом). Ведь и слепой может рассказывать со слов зрячего, что тот видел; но вслушайтесь, и вы сейчас заметите, что человек не свое пересказывает, а чужое.

Запутин: Строго судите вы и, признайтесь, чересчур строго. Сам я знаю, что мы очень мало еще сделали; но уж не так же мало.

Тульнев: Не так мало? Да как же еще меньше? Скажите мне хоть одну теорию, одну мысль, один отрывок учения, которым мы обогатили европейскую образованность. К чему нам себя обманывать? Лучше ясно понять причину теперешней скудости, понять нашу болезнь, да искоренить ее из своей собственной души и жизни.

Запутин: Да, не правда ли? Пора искоренить нам из своей души наше сочувствие ко всему человеческому, нашу любовь к человечеству вообще, все то, чем еще живет в нас стремление к прогрессу, нашу радость при успехах других народов, наше горе при их горе? Не так ли?

Тульнев: По правде сказать, не мешало бы нам поберечь радость и горе для домашнего обихода.

Анна Федор.: Неужели вы бы хотели, чтобы мы были бесчувственны ко всему, что не прямо относится к нам самим и к русскому народу?

Тульнев: Простите меня, но вы мне напоминаете довольно забавный ответ одного бесстыдного гуляки. Жена у него была в загоне, дети без призора, ну и дом в том виде, как вы можете вообразить. Ему старый дядя попрекал за такое нерадение и прибавил: «ты своих детей не любишь». — «Что ж делать, дядюшка? Я берегу свою любовь для рода человеческого». Как вы думаете? Менее бы он любил род человеческий, если бы поболее любил свою жену и детей?

Запутин: Иван Александрович любит говорить притчами.

Тульнев: Пожалуйста, не льстите мне; ведь это во мне было бы русское свойство. Я рад, что вы перевели вопрос на сочувствие. Это та другая сторона, о которой я намекнул и которая связана с первой. Я сам показал логическую причину скудости, бессвязности и бесплодности нашего понимания, а теперь посмотрим на другие причины. Только боюсь не утомил ли вас разговор наш, Ольга Сергевна.

Ольга Серг.: Нет, нет; знаете... Это все так ново. Я и не думала, чтоб вопрос о народности был бы так серьезен. У нас думают все, что это просто мода, какая-то затея Сла... Я было и забыла, что вы не любите слышать, когда вас так называют.

Тульнев: Не люблю, потому что криво толкуют прозвище, которое не нами же выдуманно; а впрочем, я шучу: мне совершенно все равно, как зовут; только бы понимали. Мы было начали о сочувствии и люб-

ви. Сочувствие, любовь. Это великие слова; но ведь им надобно быть не словами только, а делом. Любовь есть чувство живое по преимуществу; она есть сама жизнь. Пожалуйста не говорите мне о любви к отвлеченностям, ни о любви к готтентотам или к северо-американцам, когда нет любви искренней и сердечной к ближайшему ближнему, той любви, в которой нет снисходительности, но которая есть вся любящее смирение.

Анна Федор.: Благодарствуйте за это слово: мне что-то такое давно в голову приходило, да я никогда сказать этого не умела.

Тульнев: Бог вам дал чувство, а мне далось? может быть, только слово. Ваш удел завиднее. Видите ли, Николай Иванович? Странную мы проделку сделали с душою человеческою (кто именно, все равно), разградили мы ее в такой административный порядок, что про целость ее, мы никак не вспомним, да и она не вспомнит, если нам поверит; вот тут понимание, вот тут чувство, вот то, вот другое. А на деле она право не похожа на нашу таблицу: она живое и недробимое целое. Только любовью укрепляется самое понимание.

Запутин: Уж по крайней мере в этом чувстве вы нам не откажете. Сами вы признали, что не можете отказать нам в любви к России, а неужели вы откажете нам в любви к истине, к добру, к правде? Нет! Пусть вы, может быть, и правы в отношении к пониманию (я должен сказать, что вы ловко защитили свое дело), но, позвольте, тут вы на нашей почве. Тесен объем вами проповедываемой любви, тесен ее горизонт; шире наши сочувствия, наши требования ненасытимее. Да, вы любите старину, вы любите обычаи, обряды, так сказать, физиономию частной жизни, которая нас окружает. Мы любим прогресс, мы любим будущее, мы любим человечество.

Тульнев:

Я то люблю, что сердце греет,
Что я могу своим назвать.

(Жаль этого чудного таланта. Рано он угас: много бы сказал прекрасного). Что же вы бы подумали, если бы кто стал утверждать, что он любит всех жителей планетарной системы. Постойте, ваша речь впереди... Что бы вы сказали, если бы кто горевал о том, что тифус свирепствует на Юпитере, или хоть в Калифорнии, а не заботился, не мрут ли дети корью в его деревне? Видите: любовь не довольствуется отвлеченностями, призраками, родовыми названиями, географическими или политическими определениями: она жива и любит живое, сущее. Не говорите ей о будущем селянине, усовершенствованном по последнему рецепту заморского мыслителя: это был бы только вкус, и не более. Говорите о мужике в его курной избе, в его красной рубахе, с его, может быть, неусовершенствованной сохой. Вот тут она себя узнает, тут любовь. Поймите меня: я беру черты русские, но говорю о всякой земле. Любовь просит сближения, общения, размена чувств и мысли, одним словом, она не гуляет иностранкою в своем собственном народе.

Запутин: И не хочет даже подумать о других, обо всем человеческом братстве?

Тульнев: Напротив, она до него-то и доходит посредством тесной связи с ближайшим братством. Не верю я любви к народу того, кто чужд семье, и нет любви к человечеству в том, кто чужд своему народу. А душа не мозаика и не дорожный ящик с перегородками. В ней все силы находятся в связи и зависимости друг от друга. Только в любви жизнь, огонь, энергия самого ума. Она дает ему побуждение к деятельности и труду, крепость в преодолении препон, проницательность и объем его взглядам, она созидает человека. А только человек и понимает все человеческое. Сама же она требует для себя сочувствия, общения и, следовательно, погружения в жизнь своего народа... Вот видите, я вам показал сперва, что народность одна только дает нашему уму материал самой мысли, посредством которого человек может поравняться с людьми, принадлежащими иной народности;

а сверх того ясно, что она одна только воспитывает и силу для этого соперничества.

Запутин: По-вашему, самая умственная деятельность человека определяется областью его народной жизни и народных воззрений, далее он и не может и не должен идти. Это не очень утешительно для гениальных натур. Вероятно, они попросят простора более.

Тульнев: Пределы эти вам кажутся тесными, а в них уместились и Гомер, и Шекспир, и Данте, чистейшие преставители своей народности. Заметьте, пожалуйста, что чем человек полнее принадлежит своему народу, тем более доступен он и дорог всему человечеству. Я бы сказал, что это несколько странно, если бы всякий из нас не замечал того же самого в отдельных лицах. Чем крепче и определеннее личность человека, тем более обыкновенно внушает он сочувствия.

Анна Федор.: Мы, женщины, очень часто замечаем, как мало привлекательного в характерах пошлых, в которых нет ничего определенного. Не знаю даже, не грешим ли мы несколько излишнею оценкой людей с твердою волею и оригинальностью ума.

Ольга Серг.: Ах, милая; да что же толку в том, кто похож на фабричное изделие?

Анна Федор.: О тебе, друг мой, и говорить нечего: ты с нами просто не вежлива. Но позвольте, Иван Александрович, ведь народность не определяет же границ частному уму и его стремлениям; мне кажется такой взгляд был бы односторонен.

Тульнев: Зачем же давать такое тесное значение моим словам о народности? Я говорил о ней, что она лучший воспитатель личному пониманию, что она служит единственною основою всего его развития, одна может быть для него источником силы, и силы плодотворной; но из этого следует ли, что она должна держать его в пеленках? Она есть начало общечеловеческое, облеченное в живые формы народа. С одной стороны, как общечеловеческое, она собою богатит всё человечество, выражаясь то в Фидие и Плато-

не, то в Рафаеле и Вико, то в Беконе или Вальтер-Скотте, то в Гегеле и Гёте; с другой стороны, как живое и отвлеченное проявление человечества, она живет и строит ум человека. В то же время она, по своему общечеловеческому началу, в себя принимает все человеческое, отстраняя чуженародное своею неподкупною критикой. Тогда как отдельному лицу нельзя не поддаваться самым формам чуженародности и не смешивать их с той общечеловеческой стихией, которая в них таится; но человек, воспитанный в народности, растет и крепнет, разумно богатится всем богатством человеческого мышления, законно расширяет ее прежние пределы, а иногда доходит до законного отрешения от ее ненужных случайностей. Впрочем такое отрешение всегда опасно, даже когда оно является, как сознательное отрицание; оно бессмысленно и убийственно, когда оно является, как дело невежества. А таково оно у нас.

Запутин: Такое невежество или незнание невозможно.

Тульнев: Не только возможно, но крайне обыкновенно; ибо знание дается только жизни, не отделяющей себя от народного быта со всеми его прихотливыми особенностями. Заметьте, пожалуйста, жизни, а не ученой наблюдательности; ибо всякий живой народ есть еще невысказанное слово.

Анна Федор.: Которое, не правда ли, надобно слушать не ухом, а душою?

Запутин: Конечно, в этом с вами Иван Александрович спорить не станет. Хорошо и то, что он по крайней мере позволяет людям выходить за пределы народности. Он тем самым признает, что общечеловеческое служение выше того служения, которого круг ограничивается народом и его интересами.

Тульнев: Вы опять впадаете в ошибку, произвольно отделяя то, чего отделять не должно. Служение народности есть в высшей степени служение делу общечеловеческому. Конечно, были особенные случаи, в которых человек возвышался до служения общечело-

веческой, Божественной правде, помимо народа своего. Но к чему о них говорить? Или лучше: имеем ли мы право о них говорить? Где та общечеловеческая мысль, которой мы служим? Где это высокое поприще? Побережемте великие слова для великих дел, и особенно не забудем одного обстоятельства: чем более человек становится слугою человеческой истины, тем дороже ему его народ. Тот кто себя всего посвятил высочайшему из всех служений, кто более всех отверг от себя тесноту своего народа, сказал: «я хотел бы сам лишиться Христа, только бы братья мои по крови к Нему пришли». Никто не произносил никогда слова любви пламеннее этого слова. Но дело наше не искание цели для деятельности человеческой, а определение того, что нужно, чтобы человеку быть действительно способным к какой-нибудь деятельности. Без народности человек умственно беднее всех людей, и сверх того он мертвее всех людей.

Запутин: Что, Ольга Сергевна, ведь не в лестной картине нарисовал Иван Александрович своих противников?

Ольга Серг.: Я признаюсь, что за всем тем я не чувствую оскорбления, а чуть-чуть не убеждение.

Тульнев: За странным призраком погнались у нас многие. Общеευропейское, общечеловеческое! Но оно нигде не является в отвлеченном виде. Везде все живо, все народно. А думают иные себя обезнародить и уйти в какую-то чистую, высокую сферу. Разумеется, им удастся только уморить всю жизненность и, в этом мертвом виде, не взлететь в высоту, а, так сказать, повиснуть в пустоте. Чему смеетесь вы, Ольга Сергеевна?

Ольга Серг.: Как же не смеяться? Ведь это «М а г о м е т о в г р о б».

ПРЕДИСЛОВИЕ И ПОСЛЕСЛОВИЕ К БИОГРАФИИ ЛОРДА МЕТКАЛЬФА

Недавно еще Англия была в открытой борьбе с Россией; недавно ее флоты смело громили наши кре-

пости и подлю грабили наши берега; войска ее мужественно скрещивали штыки с нашими, а потом, изнемогая под трудами и лишениями, теряли на время и бодрость духа, и всякое право на наше уважение. Англия является в двух видах: в славе и бесчестии, в силе и слабости. Европа готова была признать упадок морской царицы; но на третий год войны она явилась с новыми, еще большими силами на суше и на море, и казалось, что она, как крепкий боец, только разгорелась от тяжкой борьбы, которая, повидимому, должна была утомить ее. Европа снова задумалась.

Война кончилась, водворился мир. Прежние враги протягивают друг другу руку, готовые меняться плодами промышленности и земледелия, плодами умственных и духовных трудов. Но какие бы ни было политические отношения между державами, их соперничество не прекращается, и возможность враждебных столкновений не может быть вовсе устранена. Англия есть естественный соперник всякого народа, имеющего притязание занять высокое место во всемирном обществе народов, и должно признаться, что нелегко достигнуть первенства перед нею; ибо, вследствие разумных законов истории, такое первенство только тогда может быть достигнуто, когда оно заслужено.

Для военной ли борьбы, для мирного ли соперничества, существует одно правило, которое не терпит исключения: слабую сторону противника или соперника знать полезно, чтобы при случае вспомнить о ней и воспользоваться ею; сильную сторону соперника знать необходимо, и должно помнить об ней постоянно, чтобы не пасть в борьбе. Неразумно останавливать слишком часто мысль свою на недостатках и слабостях врага, потому что при таком направлении мысли легко впадаешь в самонадеянность, за которою нередко следует справедливое наказание; неблагородно и, скажем решительнее, низко радоваться этим недостаткам и слабостям, потому что такое чувство противно человеческому достоинству. Мысль же о силе и достоинстве врага порождает в благородных душах

напряжение всех нравственных сил: в уме ясновидение, в воле крепость, в совести искреннее сознание своих собственных слабостей к их исправлению.

Некогда, в статье одного из участников «Русской беседы», было указано на те духовные силы, которые скрываются за вещественными силами Англии и служат им живую основу. Назидательно и отрадно видеть, как эта духовная и нравственная жизнь выражается в отдельных личностях, вызывая других людей на уважение и подражание. Сила этих личностей истекает из силы самого народа и в свою очередь увеличивает ее. Во всех явлениях жизни оправдывается глубокий смысл известного стиха «Не Садко богат, а богат Новгород».

Лорд Меткальф, деятель благородный и исторически важный, но мало известный вне Англии, принадлежал к числу тех личностей, в которых высказывается достоинство их родной земли. «Русская беседа» считает делом полезным сообщить своим читателям выписку из статьи «Эдинбургского обозрения» (*“Edinburgh Review”*, July 1855) об его недавно изданной биографии.

«Русская беседа» уверена, что помещенное здесь жизнеописание знаменитого английского сановника обратит на себя внимание читателя. Такие люди, как лорд Меткальф, приносят честь своей родине, но в то же время они принадлежат всему человечеству. Полная преданность долгу, горячая любовь к отечеству, высокое бескорыстие в том благородном смысле слова, который не ограничивается равнодушием к деньгам; готовность к самопожертвованию в деле общественного служения: таковы его качества. Сановник гражданский, он соединяет со всеми доблестями своего звания лучшие черты мужества военного; и при рассказе о его предсмертной болезни нельзя не чувствовать, что он встретил бы опасность боевую в строю или на стене, подкопанной неприятелем, с таким же спокойствием, с каким он встречал страдание и смерть, не отступая ни на шаг от исполнения обязан-

ностей, которые он считал священными и оставаясь совершенно чуждым всякому чувству слабости или страха. Но как ни достойны уважения все эти прекрасные черты в характере лорда Меткальфа, они не определяют его вполне. Те же самые добродетели и в той же высокой степени встречаются нам нередко в истории всех народов и всех времен, особенно же в истории древних миродержавных стран, Греции и Рима. В лорде Меткальфе есть еще лучшая и высшая сторона. Он по преимуществу сановник-христианин. Из живого источника Христианства истекли его неизменная кротость, его неутомимая вежливость, — верное свидетельство уважения человека к достоинству человеческого в себе и в других, и наконец неистощимая любовь к людям-братьям, какой бы ни были они крови, на какой бы степени развития они ни стояли. Лорд Меткальф был предан всею душою своему отечеству; но когда в Индии встречаются, повидимому, враждебно выгоды Англии и требования человечества, он не колеблется ни на минуту, не дает места никакому сомнению в своем сердце и смело вступает за нравственные права беззащитного чужеродного племени. И он поступает таким образом не потому, чтобы он был убежден в твердости английского владычества, чтобы он не видал для него никакой опасности в туземцах, нет. Он уверен в шаткости английской власти, он не обманывает себя насчет опасности; но выгоды отечества, которому он был всегда готов жертвовать и счастьем жизни, и самой жизнью, противны требованиям человеческой правды и человеческой любви, и выбор его решен. «Если власть Англии неразлучна с нравственным унижением Индии, она должна прекратиться, и чем скорее, тем лучше». Таковы его слова. Таких примеров, таких людей не представляет нам история древнего мира; на такую высоту не ставили Рим и Греция ни своих государственных мужей, ни своих мыслителей, ни Метеллов, ни даже Платонов: это слова мира христианского. Повторим еще раз: образ лорда Меткальфа дорог нам, потому что он пред-

ставляет образец сановника-христианина; и прибавим к чести его отечества, что, как благородно и откровенно высказал Меткальф свои убеждения в официальном представлении, так же благородно следовали его внушениям те государственные люди, которым предлагало окончательное решение общественного вопроса. Генерал-губернатор Ост-Индии, Ямайки и Канады представлял только полнейший образец явления, нередкого в его отечестве.

Какое же отношение между таким явлением и жизнью, из которой оно возникает? Этот вопрос заслуживает внимательного и добросовестного ответа. Один из английских министров (едва ли не лорд Пальмерстон сказал: «Мы управляем в Даунинг-стрите (там собираются министры), но не в Даунинг-стрите родились мы и воспитывались»). То же самое можно сказать и о всех сановниках вообще. Они выходят из общей толпы граждан и приносят с собой новое звание чувства, мысли и убеждения, приобретенные в жизни не служебной, в которую беспрестанно снова возвращаются. Следовательно, в сановнике английского высказывается англичанин вообще, и в таких людях, как лорд Меткальф, выражается лучшая часть английского общества. Какое же понятие лежит в этом гражданском обществе о самом себе?

Вследствие особенностей исторического развития в Англии, никогда не принимавшей римских учреждений и следовательно отличавшейся от других западных государств тем, что вполне принадлежала новому миру, а, может быть, и вследствие того духовного движения, которое в продолжении многих лет стремилось осуществить в ней Общество Святых (так оно тогда называлось), в ней укоренилось следующее понятие: общество политическое в мире христианском не есть церковь, но оно есть общество христиан, и следовательно гражданин относится к нему не страдательно, как христиане к языческому и язычески-построенному Риму, но как христианин к обществу братьев, признающих один и тот же Божественный закон. Обязанность граж-

данская является высокою обязанностью нравственного сотрудничества и взаимной любви; и безучастие к общему делу (разумеется не в смысле политики внешней) обращается в эгоистическое преступление святейшего закона. Такое воззрение ставит каждого человека под неизбежную и постоянную ответственность и выражается общеизвестным словом: *"The public business of England is the private business of every Englishman"* (общее дело Англии есть частное дело каждого англичанина). Это слово не относится несколько к политической форме общества. Немногим принадлежит право действовать на решение общественного дела прямо или даже косвенно, но на всех лежит обязанность участвовать в нем нравственно. Исполнение этой обязанности составляет, по мнению англичан, христианскую честность гражданина. Точно так же, как в частной жизни сочлось бы признаком преступного равнодушия, если кто не предостерег себе близкого человека от опасности, которой тот не знает, или не старался бы его отклонить от ложного и вредного пути: точно также, по закону христианской любви и истекающей из нее гражданской честности, равнодушие или безучастие сочлось бы признаком эгоизма в тех случаях, в которых человек видит или думает, что видит, опасность или ложь, или нравственный разврат в путях общественных. Молчание тогда в глазах англичанина столь же преступно, сколько и одобрение, как выражено в двух английских стихах:

Base silence and its heartless lie
Or godless lie of praise.

(Есть ложь в бездушии молчания,
Есть ложь в безбожии хвалы.)

Действительно, как бы ни был слаб и страстен каждый человек христианин в своей частной жизни, он должен надеяться, ожидать, требовать от общества своих братьев того совершенства или того стремления к совершенству, которого сам по личной слабости осуществить не может. Иначе он на самом деле

показывает, что не признает за ними права называть себя обществом христианским. Это чувство или убеждение выражается беспрестанно в журналах и суждениях англичан об общественных вопросах: “it is unchristian” (это не по-христиански). Таков очень часто приговор английского мнения, и на него никогда не слышать прямого возражения.

Скажем вкратце: христианин по убеждению, англичанин относится к своему отечеству не как к отвлеченному государству, но как к обществу христиан, которого он сам живой член. Он ему обязан не одним смиренным повиновением, как древнему Риму, но смиренным повиновением и бесстрашною правдою в самом обширном смысле этого слова. На нем лежит ответственность не за себя одного, но и за всех. Таково основание понятия о христианской честности гражданина, которая есть развитие христианской честности человека в отношении к обществу единомысленных и единоверных братьев. Из христианской честности гражданина возникает христианская честность сановника: из достойного англичанина — лорд Меткальф, генерал-губернатор Ост-Индии, Ямайки и Канады.

Конечно Англия не осуществляет вполне внутри себя и на самом деле закона ею признаваемого: далеко не все англичане представляют собой образцы христианской честности гражданина, и не все сановники — Меткальфы; но начало общественного преуспевания заключается в нравственном законе, который оно ставит себе идеалом. А сила общества в людях, осуществляющих его. Здесь не место говорить о причинах неполноты в его проявлении, о недостатках и следовательно слабости Англии. Наше дело, наша неизбежная обязанность — познать источник сил этой страны — нашей естественной соперницы; и мы надеемся, что здесь помещенная биография благородного государственного человека-иностранца небесполезна будет для этого учения.

Такие люди, как Веллингтон, Коллингвуд, Бентинк и Меткальф — сила Англии; Грагамы, Пальмерстоны, Редклифы — ее слабость, несмотря на временный успех.

**РЕЧЬ, произнесенная В ОБЩЕСТВЕ ЛЮБИТЕЛЕЙ
РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.**

ОТВЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,

**сказанный действительному члену ГРАФУ Л. Н. ТОЛ-
СТОМУ, на его вступительное слово, в заседании
4-го февраля 1859 г.**

Общество любителей российской словесности, включив вас, граф Лев Николаевич, в число своих действительных членов, с радостью приветствует вас, как деятеля чисто художественной литературы. Это чисто художественное направление защищаете вы в своей речи, ставя его высоко над всеми другими временными и случайными направлениями словесной деятельности. Странно было бы, если бы общество вам не сочувствовало в этом; но позвольте мне сказать, что права вашего мнения, вами столь искусно изложенного, далеко не устраняет прав временного и случайного в области слова. То, что всегда справедливо; то, что всегда прекрасно; то, что неизменно, как самые коренные законы души, — то, без сомнения, занимает и должно занимать первое место в мыслях, побуждениях и, следовательно, в речи человека. Оно, и оно одно, передается поколением поколению, народом народу, как дорогое наследие всегда множимое и никогда не забываемое. Но с другой стороны есть, как я уже имел честь сказать, постоянное требование самообличения в природе человека и в природе общества; есть минуты и минуты важные в истории, когда это самообличение получает особенные, неопровержимые

права и выступает в общественном слове с большею определенностью и большею резкостью. Случайное и временное в историческом ходе народной жизни получает значение всеобщего, всечеловеческого, уже и потому, что все поколения, все народы могут понимать и понимают болезненные стоны и болезненную исповедь одного какого-нибудь поколения или народа. Права словесности, служительницы вечной красоты, не уничтожают прав словесности обличительной, всегда сопровождающей общественное несовершенство, а иногда являющейся целительницей общественных язв. Есть бесконечная красота в невозмутимой правде и гармонии души; но есть истинная, высокая красота и в покаянии, восстанавлиющем правду и стремящем человека или общество к нравственному совершенству.

Позвольте мне прибавить, что я не могу разделять мнения, как мне кажется, одностороннего, германской эстетики. Конечно, искусство вполне свободно: в самом себе оно находит оправдание и цель. Но свобода искусства, отвлеченно понятого, несколько не относится к внутренней жизни самого художника. Художник не теория, не область мысли и мысленной деятельности: он человек, всегда человек своего времени, обыкновенно лучший его представитель, весь проникнутый его духом и его определившимися или зарождающимися стремлениями. По самой впечатлительности своей организации, без которой он не мог бы быть художником, он принимает в себя, и более других людей, все болезненные, так же как и радостные, ощущения общества, в котором он родился. Посвящая себя всегда истинному и прекрасному, он невольно, словом, складом мысли и воображения, отражает современное в его смеси правды, радующей душу чистотою, и лжи, возмущающей ее гармоническое спокойствие. Так сливаются две области, два отдела литературы, об которых мы говорили. Так писатель-служитель чистого искусства делается иногда обличителем, даже без сознания, без собственной воли и

иногда против воли. Вас самих, граф, позволю я привести в пример. Вы идете верно и неуклонно по сознанному пути; но неужели вы вполне чужды тому направлению, которое назвали обличительною словесностью? Неужели хоть бы в картине чахоточного ямщика, умирающего на печке в толпе товарищей, повидимому равнодушных к его страданиям, вы не обличили какой-нибудь общественной болезни, какого-нибудь порока? Описывая эту смерть, неужели вы не страдали от этой мозолистой бесчувственности добрых, но не пробужденных душ человеческих? Да, — и вы были, и будете невольно обличителем.

Идите с Богом по тому прекрасному пути, который вы избрали. Идите с тем же успехом, которым вы увенчались до сих пор, или еще с бóльшим, ибо ваш дар не есть дар преходящий и скоро исчерпываемый; но верьте, что в словесности вечное и художественное постоянно принимает в себя временное и преходящее, превращая и облагораживая его, и что все разнообразные отрасли человеческого слова беспрестанно сливаются в одно гармоническое целое.

К СЕРБАМ. ПОСЛАНИЕ ИЗ МОСКВЫ

Много получили вы, братья, милостей от Господа Бога в последние годы: свободу от нестерпимого ига народа дикого и неверного, самостоятельность и самобытность в делах общественных, возможность мирного и безмятежного жития, возможность развития умственного, нравственного и духовного, согласно с духом просветившего нас христианства, и, наконец, возможность содействовать благу меньших братий ваших наставлениями и примерами вашими. Таких счастливых приобретений достигли вы собственным мужеством, отчасти также содействием и сочувствием единокровного, единоверного вам народа русского, более же всего благословением Бога, устроившего обстоятельство политической жизни для прекращения бедст-

вий и унижения, которыми испытывал Он в продолжении веков вашу веру и терпение.

Таким Божьим милостям не могли бы мы не радоваться, когда бы они посетили и всякий другой, вполне нам чуждый, народ; но никому не можем мы сочувствовать так, как вам и другим славянам, особенно же православным. Никакой иноземец (какой бы ни был он добрый и благомыслящий) не может в этом с нами равняться: ибо для него вы все-таки чужие, а для нас, сербы, вы земные братья по роду и духовные братья по Христу. Нам любезен ваш наружный образ, свидетельствующий о кровном родстве с нами; любезен язык, звучащий одинаково с нашим родным языком; любезен обычай, идущий от одного корня с нашим собственным обычаем. И так искренно и от глубины души благодарим мы Бога за милости, которые он вам ниспосылает, и просим, дабы Он продлил и увеличил ваше благоденствие и прославил вас всякою истинною славою блага духовного и преуспеяния общественного пред всеми народами.

Доброе начало положено вами.

Великое ваше терпение под многовековым игом, блистательное мужество в час освобождения, более же всего разум и чувство правды, которые недавно вас освободили от правителя, мнимого защитника и истинного изменника сербского народа, останутся навсегда незабвенными. Такие прекрасные начала обещают и прекрасное будущее. Народ сербский, внушивший уже почтение другим народам, не унизит никогда своего достоинства. Но мы знаем, что после испытаний, через которые вы уже прошли, предстоят вам другие испытания, не менее опасные, хотя, повидимому, и менее тяжелые. Свобода, величайшее благо для народов, налагает на них в то же время великие обязанности; ибо многое прощается им во время рабства, ради самого рабства, и извиняется в них бедственным влиянием чужеземного ига. Свобода удваивает для людей и для народов их ответственность перед людьми и перед Богом. С другой стороны, сча-

стье и благоденствие преисполнены соблазна, и многие, сохранившие достоинство в несчастьях, предались искушениям, когда видимое несчастье от них, удалилось и, заслужив Божие наказание, навлекли на себя бедствия хуже тех, от которых уже избавились. Всякие внешние и случайные несчастья могут легко быть побеждены. Часто даже, испытывая народную силу, они ее еще укрепляют и воспитывают для будущей славы; но пороки и слабости, вкравшиеся в жизнь и душу народа, раздваивают его внутреннюю сущность, подрывают в нем всякое живое начало, делаются для него источником болезней неисцельных и готовят ему гибель в самые, повидимому, цветущие годы его благоденствия и преуспевания. Поэтому да позволено будет нам, вашим братьям, любящим вас любовью глубокой и искренней и болеющим душевно при всякой мысли о каком-нибудь зле, могущем вас постигнуть, обратиться к вам с некоторыми предостережениями и советами. Мы старше вас в действующей истории, мы прошли более разнообразные, хотя не более тяжелые, испытания и просим Бога, чтобы опытность наша, слишком дорого купленная, послужила нашим братьям в пользу, и чтоб наши многочисленные ошибки предостерегали их от опасностей, часто невидимых и обманчивых в своем начале, но крайне губительных в своих последствиях; ибо опасности для всякого народа зарождаются в нем самом и истекают часто из начал самых благородных и чистых, но не ясно сознанных, или слишком односторонне развитых. Посему просим вас, братья, не обвинять нас в гордости, как людей, надеющихся на свою мудрость, для преподавания вам каких-нибудь уроков, но верить в нашу братскую любовь, которая не хочет, чтобы знание, приобретенное нами посредством многих и горьких опытов, оставалось для вас бесполезным.

Первая и величайшая опасность, сопровождающая всякую славу и всякий успех, заключается в гордости. Для человека, как и для народа, возможны три вида гордости: гордость духовная, гордость умствен-

ная и гордость внешних успехов и славы. Во всех трех видах, она может быть причиной совершенного падения человека или гибели народной, и все три встречаем мы в истории и в мире современном. Самый разительный пример гордости духовной находим мы не в Риме (где всё духовное является более предлогом, чем началом), но в позднейших или нынешних греках. Богу угодно было избрать их язык для прославления своего имени в Священном Писании и их самих для распространения веры в мире. Незабвенна память их мучеников, незабвенна слава их духовных учителей. От них просветились многие народы и мы, славяне, от них получили лучшее свое достояние, истинное знание Бога и Спасителя нашего, свободное от всякой ереси и лжи, которыми помрачены народы западные. Никогда без благодарности и без искреннего благоговения не могли бы мы вспомнить такие великие труды и заслуги греков; но от этих самых заслуг возгордились они безумно. Славу своих прежних подвижников переносят они на себя и, наряжаясь в нее, превозносятся перед другими народами и презирают братьев своих о Христе. Веру, которой некогда служили их предки, считают они как бы не общей для всех исповедующих ее, но своей, греческою, и себя единственными сынами Церкви, а других как будто рабами и приемышами. Из этого гибельного начала истекает ненависть их ко всем другим народам, несогласным с их неуместными притязаниями, и в особенности к нам, славянам; желание поработать нас или держать нас в рабстве турецком, чтобы через турок над нами господствовать; вражда против нашего языка, который, если бы могли, они изгнали бы из храмов Божьих и их священнодействия церковного, в противоположность их же первоучителям; и, наконец, такое ожесточение, что православный грек становится тяжелее племенам славянским, чем турок-магометанин. Это известно всему миру. Конечно, и другие страсти, как то: корыстолюбие и любовь к власти, примешиваются к вражде греков против славян; но начало ее

есть духовная гордость, вследствие которой они, как евреи в древности, готовы считать себя единственными избранниками Божиими, а все другие народы чем-то низшим и созданным для служения избранному племени греческому. Таковы в них плоды духовной гордости: вражда ко всем народам и умственная слепота, не позволяющая им видеть свои собственные выгоды. Дай Бог, чтобы они исправились от такого страшного порока! Мы и теперь любим их, как братьев и учителей наших; но как еще ревностнее стали бы мы тогда заботиться о их благе и даже проливать нашу кровь за них, забывая всякое зло и помня только об их заслугах и о великой Божьей благодати, данной их предкам!

Духовной гордости греков соответствует умственная гордость всех западных народов. Богу угодно было оградить их от таких бедствий, которые обрушились на Грецию и на племена славянские, и облегчить им преуспеяние в развитии наук, художеств и гражданственности. Они воспользовались милостью Божьей, достигли высокого развития умственного; но, ослепленные своими успехами, они, с одной стороны, сделались (как известно) вполне равнодушными к высшему благу — Вере, и коснеют в слепоте духовной, а с другой — сделались не благодетелями остального человечества (к чему были призваны), но врагами его, всегда готовыми утеснять и поработать другие народы. Горький опыт слишком ясно доказал это славянам; да и в целом мире корабли европейских народов считаются не вестниками мира и счастья, а вестниками войны и величайших бедствий. Какова надменность англичанина или любого немца (как бы ни было мелко и ничтожно его собственное отечество), каково презрение его ко всем остальным народам мира, каково желание попирать ногами все их права и обращать их в бессильное орудие своей корысти, — знают все. Гибельное семя дает и гибельный плод, и вражда западных народов, особенно же англичан и немцев, против всех, порождает естественную и справед-

ливую ненависть во всех народах против них. Таково наказание гордости умственной.

Обращаясь к вам, братья наши, с полной откровенностью любви, не можем и мы скрыть и своей вины. Русская земля, после многих и тяжких испытаний от нашествий с востока и запада, по милости Божией освободившись от врагов своих, раскинулась далеко по земному шару, на всем пространстве от моря Балтийского до Тихого Океана, и сделалась самым обширным из современных государств. Сила породила гордость; и когда влияние западного просвещения исказило самый строй древне-русской жизни, мы забыли благодарность Богу и смирение, без которых получать от Него милости не может ни человек, ни народ. Правда, на словах и изредка, во время великих общественных гроз, на самом деле душою смирялись мы; но не таково было общее настроение нашего духа. Та вещественная сила, которою мы были отличены перед другими народами, сделалась предметом нашей постоянной похвалы, а увеличение ее единственным предметом наших забот. Умножать войска, усиливать доходы, устрашать другие народы, распространять свои области, иногда не без неправды, — таково было наше стремление; вводить суд и правду, укрощать насилие сильных; защищать слабых и беззащитных, очищать наши нравы, возвышать дух — казалось нам бесполезным. О духовном усовершенствовании мы не думали; нравственность народную развращали; на самые науки, о которых, повидимому, заботились, смотрели мы не как на развитие Богом данного разума, но единственно как на средство к увеличению внешней силы государственной, и никогда не помышляли о том, что только духовная сила может быть надежным источником даже сил вещественных. Как превратно было наше направление, как богопротивно наше развитие, уже можно заключить и из того, что во время нашего ослепления мы обратили в рабов в своей собственной земле более двадцати миллионов наших свободных братьев и сделали общественный разврат глав-

ным источником общественного дохода. Таковы были плоды нашей гордости. Война, — война справедливая, предпринятая нами против Турции, для облегчения участи наших восточных братьев, послужила нам наказанием: нечистым рукам не предоставил Бог такое чистое дело. Союз двух самых сильных держав в Европе, Англии и Франции, измена спасенной нами Австрии, и враждебное настроение почти всех прочих народов, заставили нас заключить унижительный мир: пределы были наши стеснены, военное наше господство на Черном море уничтожено. Благодарим Господа, поразившего нас для исправления. Теперь узнали мы тщету нашего самообольщения; теперь освобождаем мы своих поработанных братьев, стараемся ввести правду в суд и уменьшить разврат в народных нравах. Дай Бог, чтобы дело нашего поколения и исправления не останавливалось, чтобы доброе начало принесло добрый плод в нашем духовном очищении, и чтобы мы познали навсегда, что любовь, правда и смирение одни только могут доставить народу так же, как и человеку, милость от Бога и благоволение от людей.

Без сомнения, гордость сил вещественных по самой своей основе унижительней, чем гордость умственная и гордость духовная; она обращает все стремление человека к цели крайне не достойной, но зато она не столь глубоко вкореняется в душу и легко исправляется, уже и потому, что ложь ее обличается первыми неудачами и несчастьями в жизни. Бедственная война нас образумила. Твердо надеемся, что и успехи (когда Богу будет угодно нас утешить ими) не вовлекут нас в прежнее заблуждение.

И вы, братья наши сербы, легко можете подпасть такому же искушению в отношении к другим, нашим общим братьям. Перед иными можете превозноситься, видя их слепоту в деле богопознания, перед другими — видя их поработение, перед многими — видя их слабость. Но подумайте, что у вас лучшее богопознание не от вас самих, а от милости Божией: отцы ваши завещали вам Православие, как иным заве-

щали ересь, а сохранять истину легче, чем возвернуть-
ся к истине от наследственной лжи. Тут есть великая
причина к радости и благодарению, но нет повода к
гордости. Так же и порабощение, хотя и горькое, не
дает повода к пренебрежению. Успех в борьбе часто
зависит от обстоятельств, которые самое отчаянное
мужество победить не может. Не долго ли рабство-
вали вы сами? Не долго ли рабствовала русская земля
перед татарами? И вот Господь освободил сперва нас,
а потом и вас, а болгаре, которых царство славилось
далеко, теперь под игом; а чехи, которых подвиги
достойны были всякого удивления, преклоняют голо-
ву перед чужеродным владычеством. Такова воля Бо-
жия теперь, но будущее неизвестно: ибо хотя по не-
счастью большая часть славян порабощена чужой вла-
сти, но по мужеству своему они все достойны свобо-
ды. Так же и слабость племени не оправдывает пре-
небрежения, ибо часто слабые и незамечательные в
мире делаются самыми крепкими орудиями воли Бо-
жией. Поэтому не оскорбляйте братьев презрением,
которое несноснее самого угнетения, но помните, что
они вам равны, хотя и менее счастливы. Вы, по мило-
сти Божией, православные, сильные и свободные, иск-
ренним дружелюбием привлекаете к себе слабых, по-
рабощенных и ослепленных. Пусть всякий славянин,
из какого он края бы ни был, видя вашу к нему брат-
скую любовь, будет готов вас подкреплять доброже-
лательством, сердечным сочувствием и союзом на де-
ле. Таков закон Божий, и такова даже ваша собствен-
ная выгода. Бог устроил современные нам судьбы ми-
ра так, что лучшая из человеческих добродетелей, —
братолюбие, — есть в то же время единственное спа-
сение для славян и единственная сила, могущая осво-
бодить их от врагов и утеснителей, которых, вы сами
знаете, и называть не нужно. Благодарим Его Святую
Волю.

Мы знаем, что есть славянские племена, которые
еще ничем не прославлялись, между тем как вы мо-
жете уже исстари хвалиться многими блистательными

подвигами; но и тут нет повода к гордости: ибо, подумайте! Хотя уже и в прежние время вы отличались мужеством, но сколько в летописях ваших разврата, измены, междоусобного кровопролития, братоубийств и даже отцеубийств, чем и язычники гнушаются? Не явно ли, что святая Вера, озарившая ваших предков, не проникла в сердца их, и не сделалась, как следовало, для них источником святости и добродетели? За эти пороки и через эти самые пороки Господь Бог наказал их на многие поколения. Это говорим мы, конечно, не с тем, чтобы оскорбить вас, наших дорогих и уважаемых братьев, но с тем, чтобы, отстранив всякую гордость и уразумев как свои собственные вины, так и наказания Божии, вы стремились вперед ко всякой добродетели и всякой честной славе, достойной народа христианского, и приобрели от всех почтение и любовь, чему, как мы уже сказали, доброе начало вами положено.

Поистине, сербы, великие милости даровал вам Бог, большие, думаем, чем вы сами знаете. Телесное здоровье есть одно из лучших благ для человека; но цену этого блага узнает он, когда лишится его, или когда изучит чужие болезни и сравнит их со своим собственным здоровым состоянием. Так и вы можете узнать ваши преимущества только по сравнению с недостатками других обществ (а на такое сравнение вы еще не обращали внимания), или по откровенному признанию самых этих обществ, узнавших из опыта свои болезни и их причины. Пусть это знание послужит вам предостережением, дабы вы могли избежать ошибок, которые другие народы избегнуть не умели и дабы, перенимая доброе и полезное, вы не заразились злыми началами, часто примешанными к добру и вовсе незаметными для неопытного взгляда.

Первое, важнейшее и неоценимое счастье ваше, сербы, — это единство ваше в Православии, то есть в высшем знании и в высшей истине, в корне всякого духовного и нравственного возрастания. Таково ваше единство в Вере, что для турка слова «серб» и

«православный» кажутся однозначными. Этим лучшим из всех благ более всех должны вы дорожить и охранять его как зеницу ока: ибо действительно, что есть Православие, как не зеница ока внутреннего и духовного?

Не насилием посеяно Христианство в мире; не насилием, а побеждая всякое насилие, возросло оно. Поэтому не насилием должно быть охраняемо оно, и горе тем, которые хотят силу Христову защищать бессилием человеческого орудия! Вера есть дело духовной свободы и не терпит принуждения; Вера же истинная побеждает мир и не просит меча мирского для торжества своего. Поэтому уважайте всякую свободу совести и Веры, дабы никто не мог оскорблять истину и говорить, что она боится лжи и не смеет состязаться с ложью оружия мысли и слова. Ревнуйте к чести Божией не робостью и сомнением в ее могуществе, но смелою и спокойною уверенностью в ее победу.

Но с другой стороны имейте всегда в виду значение и достоинство Веры. Весьма ошибаются те, которые думают, что она ограничивается простым исповеданием, или обрядами, или даже прямыми отношениями человека к Богу. Нет: Вера проникает все существо человека и все отношения его к ближнему; она как бы невидимыми нитями или корнями охватывает или переплетает все чувства, все убеждения, все стремления его. Она есть как будто лучший воздух, претворяющий и изменяющий в нем всякое земное начало, или как бы совершенный свет, озаряющий все его нравственные понятия и все его взгляды на других людей и на внутренние законы, связующие его с ними. Поэтому Вера есть также высшее общественное начало; ибо само общество есть не что иное, как видимое проявление наших внутренних отношений к другим людям и нашего союза с ними.

Здоровое общество гражданское основывается на понятии его членов о братстве, о правде, суде и милосердии; а эти понятия не могут быть одинаковыми

при различных верах. Еврей и магометанин исповедуют единого Бога, как и христиане; но одинаковы ли их понятия о правде и милости с нашими? Конечно, скажут, что они не знают ни Таинства Святой и Приснопоклоняемой Троицы, ни любви Божией, спасшей нас через Христа, и что, следовательно, различие между ними и нами слишком велико; но мы знаем, что и у христиан, кроме истинной Православной Церкви, нет ни вполне ясного понятия, ни вполне искреннего чувства братства. Это понятие, это чувство воспитывается и крепнет только в Православии. Не даром община и святость мирского приговора, и беспрекословная покорность каждого перед единогласным решением братьев — сохранилась только в землях православных. Учение Веры воспитывает душу даже общественного быта. Папист ищет власти посторонней и личной, как он привык ей покоряться в делах Веры; реформат доводит личную свободу до слепой самоуверенности, так же как и в своем мнимом богопознании. Таков дух их учения. Один только православный, сохраняя свою свободу, но смиренно сознавая свою слабость, покоряет ее единогласному решению соборной совести. Оттого-то и не могла земская община сохранить свои права вне земель православных; оттого славянин вполне славянином вне Православия быть не может. Сами наши братья, совращенные в западную ложь, будь они паписты или реформаты, с горем сознаются в этом. То же окажется и во всех делах суда и правды и во всех понятиях об обществе; ибо в основе его лежит братство.

Да будет же всем полная свобода в Вере и в поведении ее! Да не терпит никто угнетения или преследования в деле богопознания или богопоклонения. Никто хотя бы он был (чего Боже избави) совратившийся с пути истинного серб! Да будет он вам все еще братом, хотя несчастным и ослепленным! Но да не будет уж он, ни законодателем, ни правителем, ни судьей, ни членом общинного схода: ибо иная совесть у него, иная у вас. Великий Апостол языков го-

ворит: «Не стыдно ли вам, христианам, судиться перед язычниками? Пусть судят между вас братья». Поэтому иноверец должен быть для вас, как гость, охраняемый вами от всякой неправды и пользующийся всеми вашими правами в делах жизни частной, но не должен быть полноправным гражданином или сыном великого Сербского дома, судящим с братьями в делах общественных. Бог избавил вас от внутреннего разъединения, не допускайте таких разъединений в самих недрах совести народной и общественного духа. Горько нам подумать, что не все славяне православные. Верим, что и они со временем все просветятся истиною; любим их душою и всегда готовы протянуть им руку братства и помощи против всех; но думаем, что они таким исключением оскорбиться не могут, и сами, по любви к вам, не захотели бы внести семена раздора и разномыслия в ваше общество.

Есть между вами богатые и бедные, точно так же как сильные и слабые, здоровые и немощные, умные и глупые; но что бы вы сказали о законе, по которому было бы велено такому-то быть богатому, а такому-то быть бедным, или такому-то быть сильным, и такому-то слабым, или такому-то умным, а такому-то глупым? Разумен ли был бы такой закон, и согласен ли с христианством? Не все ли вы люди? Не все ли вы славяне? Не все ли сербы? Счастливы вы перед всеми народами в том, что всякий серб смотрит на серба, как на брата равного ему, и нет между вами высшего или низшего, кроме службы обществу, которая определяет людям разные чины, по разным заслугам или потребностям государства. Сохраняйте это равенство, дорожите таким великим сокровищем! Не допускайте никаких законов, никаких мер правительственных, никаких обычаев, которые могли бы разрывать братство. Во всех других землях ввелось такое злое начало, что иной считается благородным, иной низкий по крови: «такой мне не равен», или «такой не может быть в нашем круге, потому что он низшего происхождения», или «такой-то не смеет свататься за мою

дочь, потому что он не благородного дома», и так далее. Из великой неправды возникает великое общественное зло: гордость мнимовысших, злоба и зависть мнимонизших, и следовательно раздоры и слабость общественные. Пусть это зло остается при тех, у которых оно уже существует и произошло из истории. Не прививайте себе болезни, от которой вас Бог избавил! Не забывайте примера Польши, вам единокровной. Там немногие тысячи считали себя народом, а народ считали стадом, едва достойным имени человеческого; и вот, несмотря на все свои ратные подвиги, на всё свое мужество, на свою славу, государство польское пало. Не забывайте такого урока! Пусть судия судит, и правитель управляет, и князь княжит, как нужно обществу; но вне своей должности да будет всякий серб ныне и всегда равен своим братьям.

Многому вы должны еще учиться, братья, у тех народов, которым Бог дал издавна свободу от внешнего угнетения, и возможность посвятить мысль и дни свои усовершенствованию наук и художеств. Сами вы видите, и не нужно вам доказывать, какие силы дает наука человеку, и как покоряет ему самую природу. Но наука дает еще более: она расширяет пределы Богом данного нам разума, уясняет наши понятия, просветляет наши умственные взоры, раскрывает тайны мира Божиего и чудеса Его творческой премудрости. Приобретать науку не только необходимо для жизни общественной, но и обязательно для исполнения воли Божией, давшей нам разум как поле многоплодное, которое не должно лежать в залежи и поростать терниями невежества и ложных мнений, но украшаться жатвой знания и истины. И так мы говорим, что много добрых и полезных знаний еще должны вы приобрести от других народов (будь они немцы или иные) для достижения той степени умственного развития, к которой вы призваны. Но знание не есть еще истинное просвещение. Знание есть расширение умственного богатства: просвещение же истинное, сверх знания, заключает в себе развитие высших начал нравственных

и духовных. Приобретение знаний не многотрудно, приобретение же высшего нравственного развития есть высшая задача для человека, и многие люди, лишенные по обстоятельствам жизни знания научного, но глубоко проникнутые нравственным светом, ближе к полному просвещению, чем многознающие, но лишенные силы жизни духовной.

Верьте нам, сербы, знающим и испытывающим над собою, и отчасти над отечеством нашим, болезни современного мира! Многие и лучшие люди в целой Европе завидуют вам; хотя и не вполне знают ваши преимущества. И эта зависть понятна: ибо в единстве Веры, в законе и чувстве братского равенства, в цельности жизни и простоте нравов заключаются такие сокровища, которых уже не купят ни знания, ни усилия частные, ни сила и учреждения государственные. Вы приступаете к развитию умственных своих богатств, и конечно еще многому должны научиться; но вы приходите не как убогие, а как богатые, не как низшие в обществе народов, а как высшие; ибо все то, что есть у других, вы можете приобрести с небольшим трудом, а что у вас собственного, Богом данного, того они приобрести не могут. Храните свои сокровища и дорожите ими! Гордость есть великий и гибельный порок; но не менее гибельно и самоунижение, не знающее цены даров, полученных нами от Бога. Пусть наши ошибки послужат вам предостережением и уроком.

И мы имели многие из тех преимуществ, которые вы имеете теперь, некоторые в меньшей степени, как например братское равенство и простоту жизни; некоторые даже в высшей, как например полноту и силу общинного устройства. И мы так же как и вы, вследствие происшествий исторических, пришли в соприкосновение с Европою и ее просвещением. С горестью увидели мы свое невежество, с удивлением чужое знание. Мы полюбили это знание, мы старались усвоить себе его сокровища, и мы были правы: ибо такова обязанность человека. Но в слепом благоговении пе-

ред чужим богатством мы не умели распознать его злую примесь, а свое высшее богатство забыли. Нам казалось, что страны более нас ученые, должны превосходить нас во всех отношениях, и что всякий обычай их, всякое учреждение лучше наших собственных. Всему чужому стали мы не учиться только как следовало, а подражать. Вместо смысла просвещения, вместо внутреннего зерна мысли, в нем проявляющейся, стали мы перенимать его формы и наружный вид: вместо того, чтобы возбудить в себе самодейственную силу разума, мы стали без разбора перенимать все выводы, сделанные умом чужим, и веровать в них безусловно, даже когда они были ложны, так что то самое, что должно было в нас пробуждать бодрственную деятельность мысли и духа, погрузило нас надолго в умственный сон. Суд принимали мы от немцев, с его тайною и с его формальностью, отстраняющею права человеческой совести; управление строили на немецкий лад, не соответствующий нашим собственным потребностям, чиновначалия гражданские и военные рядили в иностранные имена; войско обращали по-немецки в движущиеся машины, наперекор народному духу, и эти машины стягивали в уродливые наряды, как в цепи, уничтожающие всякое свободное движение членов; красивую и удобную одежду наших предков заменяли безобразными одеждами западных народов, о которых со временем без насмешки и вспомнить нельзя будет; все обычаи свои изменяли, чтобы принимать обычаи чужие, и снова беспрестанно меняли эти обычаи по указу иноземному; наконец (даже стыдно об этом вспомнить), самый язык свой, великое наречие речи славянской, древнейшего и лучшего из всех слов человеческих, презирали мы и бросали на письмо, в обществе и даже в дружеской беседе, заменяя его жалким лепетом самого скудного из всех языков европейских. Таково было наше безумие; таковы были явления того времени, когда вещественная гордость государства сопровождалась самоунижением народа. Но это самоунижение было не в народе, а

только в высшем сословии, оторвавшемся от народа. Оно хотело подражать всему иноземному, хотело казаться иноземным, и для народа оно сделалось иноземным. Исчезло всякое доверие, исчезло всякое духовное общение, всякий размен мысли. Разум миллионов оставался бесплодным для общества, добровольно заключившего себя в тесные пределы тех немногих тысяч, которые согласились отказаться от всех своих родных обычаев. Эти немногие, под именем просвещения, гонялись только за его ложным призраком, гордясь тем, что в глазах народа они казались немцами; а народ удалялся от истинного знания, видя в нем как бы силу враждебную и гибельную для русского народа. Ошибка высших ввела низших в ошибку, ей противоположную, и наше слепое поклонение знанию и просвещению Европы остановило надолго развитие знания и просвещения в русской земле.

Не нужно, братья, объяснять вам, как губительны были последствия такого внутреннего разъединения, какое множество ошибок истекло из одной ошибки, какими неправдами и страданиями в жизни частной, какой бесплодностью в жизни общественной, каким бессилием в жизни государственной были мы наказаны за наше чужепоклонство. И теперь не избавились мы, и еще не скоро избавимся от его горьких плодов. Для нас они видны и чувствительны во всем. Для вас, живущих далеко, они не могут быть столь явными, и поэтому мы считаем необходимым представить вам хоть один пример, по которому вы могли бы судить о прочих.

Известно вам, что прежде Императора Петра Первого берега Черного моря принадлежали Турции, и только одно устье Днепра было в руках русских казаков, наших братьев запорожцев. Не было у них ни кораблей, ни возможности строить корабли. На легких челноках, часто на однодеревках и душегубках, пускались они в бурное море, исстари страшное мореплавателям, страшное даже и теперь при всех усовершенствованиях мореплавания, и тысячами налета-

ли на берега вечных врагов имени христианского. От Батума до Царьграда гремела их гроза. Трапезунд и Синоп и самые замки Босфора дрожали перед ними. Турецкие флоты, смело гулявшие по Средиземному морю и нередко грозившие берегам Франции, Италии и Испании, прятались в пристани перед лодками запорожцев... Не из хвастливости, но по истинной правде говорим мы: свидетелями нам самые турецкие летописи и еще теперь незабытые предания. Не было в целой Европе ни одного народа, который мог бы похвалиться такими дивными подвигами мужества на морях, — и опять без хвастливости можем сказать, что люди северные ничем не уступали своим южным братьям. Не следовало ли думать, что с такими людьми русский флот далеко превзойдет флоты других народов, когда лодки заменятся могущими и сильно вооруженными судами? Такой успех был вероятен: смело скажем, он был несомненен. Но ожидания не сбылись: в этом должны мы признаться, несмотря на бесспорное мужество наших моряков. Отчего же такая неудача? Отчего люди, далеко превосходившие на море всех своих соперников, стали едва равными им? Причина весьма проста: они стали не теми людьми, которыми были прежде. Император Петр начал первый у нас строить большие корабли по образцу голландскому (и за это ему честь и слава!), но к разумному делу он примешал страшное неразумие. Название всех частей корабельных, все слова, относящиеся до мореходства, все слова команды принял он также от голландцев. Какие же вышли последствия? Этих немецких слов, этих названий, вовсе бессмысленных для русского уха и не представляющих ничего русскому уму, набрались тысячи. Теперь поступает на корабль будущий моряк, человек, которого Бог одарил и ловкостью, и смелостью необычайною, человек, подобный тем, которые в старые годы на узких лодках громили берега Черного моря, потрясали Царьград и уничтожали флоты турецкие; но он теперь поступает не в моряки, а в школьники. Ему надо твердить ты-

сячи бессмысленных и дико звучащих слов, и в этом бессмысленном учении проходят года его горячей и живой молодости. Вместо любви к своему делу, вместо опытности моряка, он приобретает равнодушие и даже как бы отвращение от своего занятия, от своего корабля, от самого моря. Пройдут года и морской богатырь обратится в полумертвый немецкий словарь. Правда, он будет исправлять свою обязанность, потому что он христианин и русский; но истинный моряк в нем погиб уже безвозвратно. По этому примеру, братья, судите и обо всем. Вся земля русская обратилась как бы в корабль, на котором слышатся только слова немецкой команды. По милости Божией мы теперь начали образумливаться и возвращаться к своему языку, к своему собственному духу. Нас спасла Вера, которой мы не изменили, нас спасла стойкость народа, который не обольстился примером высшего сословия; но не скоро излечивается болезнь, и потерянные года уже не возвратятся. Да будет наш пример уроком для вас! Учитесь у западных народов, это необходимо: но не подражайте им, не веруйте в них, как мы в своей слепоте им подражали и веровали. Да избавит вас Бог от такой страшной напасти.

Чужой ум должен в вас пробуждать деятельность собственного ума, и этою деятельностью будете вы возвышаться более и более; но вы не должны прививать чужой жизни к себе, потому что с нею вы привьете к себе не чужое здоровье, а чужие болезни. Даже скажем более: то, что в другом народе не только безвредно, но даже и полезно, то в вас делается началом зла и гибели. Всякое живое создание имеет свои законы бытия, свой строй и лад, на которых основано само существо его, и которые, в свою очередь, определяют свойство его проявлений и произведений. Но то, что в одном стройно и ладно (потому что согласно с его существом), делается началом нестройности и разладицы, когда оно привито к другому, которого существо основано на ином законе.

Никто не может петь чужим голосом или красиво ходить чужою походкою.

Так и внутренняя жизнь народа приходит в нестройность и разлад, когда она позволяет струе жизни чужой влиться в ее жилы. Поэтому обсуживайте строго чужие мысли, прежде чем примите их, и не будьте спешны на нововведения, разве бы польза их была ясна и несомненна.

Много есть у вас единокровных за границею вашего княжества, и эти единокровные вам люди истинно желают вам добра, и часто по своей образованности и знаниям могут принести вам много пользы. Принимайте их с любовью, выслушивайте их добрые советы, пользуйтесь их сердечною службою с сердечною же благодарностью, но и тут не откладывайте осторожности. Часто бывает, что они жили и образовались под сильным влиянием чужеземных начал, хоть бы например немецких, и не остались чуждыми их прелести. Часто случается, что по привычке, принятой с детства, они изменили бессознательно лад своей жизни внутренней и своего ума; научились, например, принимать умножение формальностей за правительственную мудрость, стеснительные меры за порядок, бумажную отчетливость за речительство, которое будто бы лучше и верней человеческой совести; чиновничье вмешательство во все и чиновничью опеку надо всем — за единственную охрану спокойствия и порядка общественного; наконец, вообще немецкую хитрость за образованность истинную, а славянскую простоту за остаток старинной дикости. Точно так же и многие обычаи иноземные привыкли они часто предпочитать своим, сербским. Конечно, их в этом винить нельзя, ибо самая их ошибка очень естественна; но вас просим мы оберегаться ее, а их просим мы не слишком доверять своей мнимой мудрости и помнить, что они приступают к вашему союзу не как чистейшие и безусловно лучшие, но напротив того, как люди несколько искаженные и требующие, так сказать, внутреннего омовения от иноземной проказы.

Простота есть степень высшая в общественной жизни, чем искусственность и хитрость, и всякое начало, истекающее из духа и совести, далеко выше всякой формальности и бумажной администрации. Одно живо и живет, другое мертво и мертвит. Предоставьте последнее Австрии!

Точно такое же слово обращаем мы и к вашим молодым согражданам, чадам православной Сербии, получившим свое научное воспитание вне пределов родной земли, в странах чужих, на Западе, а может быть даже и в нашей России. Без сомнений, много умственных сокровищ приобрели они для обогащения своего отечества, и иначе приобрести их не могли; но редкий из них, и едва ли кто-нибудь, остался свободным от всякого вредного влияния. Они сами не должны себе слишком много доверять. Живая связь с отечеством не прерывается на несколько лет вовсе безнаказанно: много замирает, — хотя на время, — чувств добрых и естественных, много закрадывается в душу соблазнов и неустройств. Пусть возвратившийся сам себя ставит как бы на искус! Пусть сживает он опять вполне с своей родиной, до тех пор, пока сам почувствует себя опять истинным, простым сербом, только кое-чему научившимся в школе других народов! Пусть заслуживает он ваше доверие, прежде чем получит доверие к самому себе!

Ни строгостью, ни законами нельзя оградить обычаев от искажения. Строгие законы только обличают неуверенность общества в своей собственной твердости и под их мнимой защитой тайный источник нравственной порчи растет и наполняется мало-помалу скрытым наращением, до тех пор пока он осилит или изменит самый закон. Часто даже строгость закона переживает его самого, и обращается на то, что он прежде ограждал. Так, например: у нас некогда уголовными и неразумными законами думали оградить обычаи русские от изменения иноземного; а потом император Петр стал наказывать смертью или ссылкой на каторгу не только тех, которые держа-

лись русского обычая в одежде, но даже и тех, которые такую одежду изготовляли для желающих носить ее. Трудно поверить такому ожесточению против нравов отечественных, но мы не выдумываем, а свидетельствуем собранием русских законов, и признаем, что начало позднейшей жестокости заключалось в неразумии прежних, мнимо охранительных мер. Только внутреннее убеждение и чувство народное могут охранять обычай, который всегда истекает из внутренней жизни. Да будет же у вас ограждением сербского обычая не строгость законов, но презрение общественное к его нарушителям. Мы знаем, что обычаи не могут оставаться навсегда неизменными, и что требования жизни мало-помалу изменяются или приноравливают их согласно изменениям самой жизни. Внутреннее чувство народа само служит мерилom для законности и необходимости этих постепенных изменений. Так, например, сам язык принимает от других языков необходимый прилив чужих слов для выражения предметов или понятий, чуждых природе отдельной страны или жизненному строю ее жителей. Не нужно, конечно, сербу выдумывать свои названия для заморского тигра или крокодила, для английского пэра, для французской моды или немецкой дипломатии; но к чему бы стали вы, подобно нам, искать чужих слов для тех предметов и понятий, которые точно так же могут получить название из вашего собственного наречия? В таком приливе иноземных звуков, повидимому, заключается только пустая ошибка; но это не так: в ней заключается прямой и страшный вред, которого последствия трудно исчислить. Начало его есть умственная лень и пренебрежение к своему собственному языку; следствие же его — оскудение самого языка, то есть самой мысли народной, которая с языком нераздельна, гибельная примесь жизни чужой и часто разрушение самых священных начал народного быта. Дайте какой бы то ни было власти название иноземное, и все внутренние отношения ее к подвластным изменятся и получают иной

характер, который нескоро исправится. Назовите Святую Веру религией, и вы обезобразите самое Православие. Так важно, так многозначительно слово человеческое, Богом данная ему сила и печать его разумного величия.

Мы уже показали вам, как вредно было для нас иноземное название всех предметов, принадлежащих к мореплаванию, а могли бы показать еще много и много других примеров; но что скажем мы о несчастной Польше? Рано вступила она в тот гибельный путь, на который мы попали поздно и, надеемся только на время; рано исказила она свою жизнь этою словесною иноземщиной. Шляхта, костеляны, рыцари, войты изуродовали ее славянский быт и славянскую простоту ее общественных отношений: народ разорвался пополам, и зародыш будущей гибели запал и разросся в самое время мнимой государственной силы. Польша гордилась тем, что в ней процветал язык римский (вместе с римскою религией); Польша гордилась тем, что во Франции ее паны удивляли самих французов изяществом слова; а слово народное, а мысль народная спали, как заброшенное поле, не приносящее никаких добрых плодов человеку. Последствия вам известны. Горько нам говорить об ошибках и грехах Польши, но мы обязаны вам напоминать о несчастных примерах, уже представленных другими народами, и, как видите, непристрастно говорим о самих себе.

Обогащайте ум знанием языков, но у себя не допускайте чужезычия. Пусть в Сербии добровольный чужезычник пользуется только тем уважением, которое подобает попугаю. Предоставьте ему топырить хохол и охорашиваться на своей насести.

Повидимому, весь обычай состоит из мелочей, но он не мелочь. Что могло бы быть важного, например, в одежде? Не все ли равно, как человек одет и как сшиты лоскуты, которыми он прикрывается? Ведь это вещь вовсе мертвая и не способная действовать на жизнь? Так и у нас толкуют, но вы этим толкам не

верьте. Таково благородство души человеческой, что и мертвое получает от нее живое значение, в свою очередь действует на жизнь. Изменение одежды народной и предпочтение одежды западной происходит от злого источника, от презрения к своему и раболепства перед чужим. Совместно ли такое чувство с братолюбием и с тем почтением, которое всякий человек обязан питать к своей родине и к своему народу? Извинительно ли было бы изменение платья для большего удобства или даже для красоты; но судите сами: было ли что удобное в одеждах западных от шитого кафтана и пудры до теперешнего фрака и галстука? О женских одеждах и говорить нечего: они всегда были то уродливые, то непристойные, а по большей части и уродливые и непристойные вместе. Западная одежда беспрестанно изменяется и беспрестанно определяется так называемою модою. А что такое мода? Где-нибудь (по большей части в Париже) известный кружок людей применяет покррой платья или прическу по своей прихоти, и остальные французы, а потом, за ними и другие народы, не медля принимают эту перемену, не смея даже сомневаться в ее красоте, как бы ни была она нелепа. Вдумайтесь беспристрастно в причины этого подражания, и вы убедитесь, что оно происходит из душевного холопства перед мнимовысшими. А где замешалось холопство, там душа теряет чистоту и благородство. Одежда народная есть свободный обычай народа. Изменение ее ради удобства может отчасти показать некоторую свободу и даже разумность человека (ибо и самый обычай так созидался), но подражание Западному наряду есть не что иное, как признанное холопство перед вкусом мнимовысшего общества. Пусть те, которым нравится такое признание, пользуются таким уважением, которое они заслуживают, а именно тем самым, которое человек оказывает обезьяне.

Многому, как мы уже сказали, должны вы учиться у иностранцев, часто даже пользоваться их услугами. Умейте ценить их, награждайте их, любите их и

благодарите за пользу, которую они вам принесут, но не включайте их в свое общественное братство, разве бы они были православные славяне, ибо эти вам не иноземцы. Мы говорим: пользуйтесь их услугами и по мере услуг награждайте их, но всё это говорим мы о делах торговли, наук и искусства — в дело гражданственности вашей им вмешиваться не должно. Что же сказать о деле ратном? Честно и праведно сражаться за родину и братьев, честно и праведно сражаться за всякую правду человеческую; но есть люди, которые, не разбирая за кого и за что сражаться будут, нанимаются биться за иноземцев и за чужие государства. За деньги продают они свою кровь и кровь тех, которых убивать будут; и есть цари и народы, которые покупают ее. И то и другое да будет чуждо вам, благородным и мужественным сербам. Предоставьте разным немцам продавать себя в убийцы, а храброму Неаполю, честной Англии и главе римской религии, папе, предоставьте покупать их. При них пусть и остается такая мерзость! Мы думали, что нам не следовало бы вас и предостерегать в этом; но вы вступили в круг других народов, в котором понятие о честном и бесчестном весьма шатко и неопределенно, и поневоле должны мы вас предостерегать против такого зла, которое еще мало оглашено и осуждено, и следовательно может соблазнить людей, не предупрежденных против него. И мы в старину нанимали немцев сражаться за нас; зато немало и поработали мы им впоследствии.

Не вдавайтесь в соблазн быть европейцами. Это слово употребляется теперь нередко, но какой же в нем смысл? Испанцы, шведы, французы одинаково европейцы; похожи ли они друг на друга? В них общего весьма мало. Или не означает ли это слово кого-то высшего развития человеческого духа? Хорошо нравственное развитие обществ, защищающих себя руками продажных убийц и не понимающих даже гнусности своего греха; а эти общества тоже европейские. Хорошо нравственное развитие обществ, со-

ставивших союз для спасения народа, искони враждебного христианству и законам человечества; а это союз обществ европейских. Хорошо развитие обществ, которых представители без стыда постоянно готовы брататься с такими отступниками, каков Омер-Паша. Очень невысоко нравственное достоинство Европы. Еще недавно при несчастном кораблекрушении, негр-африканец, чтобы спасти своих сотоварищей от голодной смерти, добровольно пожертвовал жизнью; а эти товарищи, немецкие-европейцы, приняли жертву и съели его. Кто был выше перед людьми и перед Богом? Черный ли африканец, отдавший жизнь свою для спасения братьев, или немцы, съевшие его, чтобы продлить свою жизнь? Где же честь европейского имени? И действительно, между собой народы полуримские и немецкие не хвалятся им: они, или лучше сказать, их хитрые посланцы, да наши братья, изменившие своему родному обычаю, употребляют это слово, как ловкую приманку для славян, чтобы привести их в духовное рабство, — и, к несчастью, часто поддаемся мы на их обман. Будьте глухи к этому жалкому соблазну. Ищите имени человеков, а еще более христиан, и всего того, чем такие имена оправдываются, и не думайте вовсе о том, какими путями, европейскими или иными, достигнете вы своей высокой цели. Не надевайте на свою умственную свободу щегольского ошейника с надписью «Европа».

Сохраняйте простоту своих нравов. В ней одной вы найдете залог общественной силы и общественного здоровья; в ней корень истинного мужества и способности к самопожертвованию. Пусть серб в своем отечестве не думает отличаться от своих братьев ничем, кроме услуги, оказанной своему отечеству или землям славянским. Если б даже он заслужил почести в иных землях, какое вам дело до них? Ему чваниться такими подвигами перед вами неприлично, и вам не следует позволять такого тщеславия. Положим, что его уважают или ему благодарны за что ни было иноземные властители: пусть и выставляет он на показ

знаки этого уважения или благодарности вне Сербии; но в соборе сербов им места быть не должно. Всегда ли похвала английской королевы или австрийского императора будет похвалой и в ваших глазах? Не думаем. Пусть серб украшается только наградами, полученными им от народного мнения или от государства сербского. Если случится, что его труды даже в других землях послужили ко благу или чести его родине и братьям, пусть сама Сербия о том судит и награждает, а чужого суда и чужих наград вам допускать нельзя. В самых почестях и знаках отличия будьте осторожны. Да служат они воздаянием только за службу общественную! Кто служил отечеству, может получать от общества свидетельство своей службы; но не допускайте и отвергайте всякое внешнее отличие за те подвиги, которые человек-христианин совершает в пользу ближнего, или в исполнение закона Христова. В них служит он уже не обществу людскому, а высшему Судии, своей совести и Тому, Кто судит его совесть, Богу. Всякая общественная награда, всякий знак отличия был бы оскотлением самого подвига и посягательством на такой суд, который выше вашего. Мы знаем, что другие народы позволяют себе такую незаконность, но вы удаляйтесь от нее с презрением. Рассудите сами: осмелились бы вы дать какую-нибудь золотую бляху на грудь Апостолу Павлу за его апостольство? Так точно судите, хотя и в меньшей степени, обо всяком подвиге, совершенном ради совести и Бога, будь-то милостыня или спасение людей с опасностью собственной жизни, или труд духовный. Что может быть, например, неразумнее, и, скажем более, что может быть богопротивнее знаков отличия, данных людьми за дело проповеди, поучения или правления церковного? Почему же бы уже не давать наград за пост, за усердие к молитве и за дары исцеления? Общество отличает и награждает службу общественную, но это не должно подавать повод к тщеславию; и поэтому мы советовали бы вам отличать только старцев, уже кон-

чивших свое служение, чтобы их всякий мог узнавать во всяком соборе народном и радоваться, глядя на заслуженного старца; а тому, кто еще служит, пусть будет наградою его самая служба, его должность и ваше доверие к нему.

Презируйте роскошь: она сама по себе не достойна людей разумных, а вас бы она сделала данниками других народов. Не увлекайтесь их примером, не смешивайте предметов, служащих к истинному удобству жизни, с предметами роскоши. Одни улучшают мало-помалу жизнь даже бедняка (как, например, лучшее освещение, крепкие и легкие ткани, огнеупорные сосуды и пр.), а другие служат только к неге богатых. Не смешивайте искусства, которое выражает лучшие стремления души человеческой и облагораживает ее, с щегольством или потехою, которые унижают ее. Во всем этом мы ни от кого не могли слышать предостережения и впадали, и часто еще и теперь впадаем в ошибки, вредные для нашей общественной и частной жизни. И теперь мы еще готовы отличать почти одинаково великого песнопевца, прославляющего свое отечество, и театральную плясую, которой искусство ничего не заслуживает кроме презрения. Теперь вы еще бедны, как недавно вышедшие из рабства; но земля ваша богата дарами Божиими, и вы сами трудолюбивы, богатство ваше должно увеличиваться. Не употребляйте нового богатства на пустой блеск, негу и роскошь! Пусть богатый употребляет лишки своего богатства на помощь бедным (разумеется, не поощряя тунеядства), или на дело общей пользы и общего просвещения. Пусть будет у земли Сербской та Святая роскошь, чтобы в ней не было нужды и лишений для человека трудолюбивого! Затем богатство и блеск да украшают храмы Божии. Но в ваших частных жилищах должна быть простота, так же как и во всем вашем домашнем быту. Роскошь частного человека есть всегда похищение и ущерб для общества. Она должна внушать вам пренебрежение. Бархаты да парчи польских панов одели Польшу в

рубище, да и нам нечего похвалиться. В самых общественных зданиях соблюдайте строгую простоту, которая, впрочем, не исключает красоты. И в них роскошь, щегольство и блеск всегда сопровождаются пожертвованием истинной пользы, и даже когда по видимому безвредны, уже вредны тем, что служат признаком общественной гордости и государственного самопоклонения, а ко всему этому Бог не благоволит. Поистине, сербы, та земля велика, в которой нет ни нищеты у бедных, ни роскоши у богатых, и в которой все просто и без блеска, кроме храма Божия. Такая страна действительно сильна: она угодна Богу и честна у людей.

По свету об вас ходит великая похвала, которую, как думаем, вы заслуживаете: это похвала чистоте ваших нравов. С нею связаны святость и крепость уз семейных, счастье и истинные радости жизни, здоровье народное и, прямо или косвенно, все начала общественного преуспевания. Не умаляйте своей славы! Пусть будет без чести в обществе, кто не честен в своей жизни домашней. Тот, кто не имеет чистой совести, или совести не слушается в своем деле личном, не послушается ее в деле общественном, и следовательно ему доверять нельзя; а показывая уважение к людям порочным, общество делается участником их пороков. Напрасно говорят иные, что должно допускать их до гражданских должностей за их умственные способности: это не справедливо. Удаляйте порочных, и из добрых найдутся люди с неменьшим умом и более заслуживающие доверие. Наконец, должно сказать, что та частная польза, которую мог бы принести ум человека порочного в должности общественной, гораздо ниже того соблазна, который истекает из его возвышения. Вы теперь больше прежнего будете находиться в сношениях с другими народами; не увлекайтесь примером их равнодушия к чистоте нравов, особенно же примером Германии и Франции. В этом отношении много выше всех других народов Англия, и от чистоты ее домашнего быта за-

висит даже ее политическая сила. Так же есть у многих народов нелепое и богопротивное мнение, что чистота нравов более прилична женщине, чем мужчине. Смотрите на такое мнение с презрением! От нравов мужских зависит нравственность женщины; а мужчине, сосуду крепкому и главе создания Божиего, — требовать таких добродетелей от женщины, которых в нем самом нет, есть дело не только не разумное, но и не чистое.

Будьте строги в суде общественного мнения: без этого не уберетесь от постепенной порчи нравов. Но не давайте воли неразумным подозрениям и недоверию, а исправляющихся не отталкивайте и не оскорбляйте. В суде же законном и уголовном будьте милосердны: помните, что в каждом преступлении частном есть большая и меньшая вина общества, мало оберегающего своих членов от первоначального соблазна, или не заботящегося о христианском образовании их с ранних лет. Не казните преступника смертью. Он уже не может защищаться, а мужественному народу стыдно убивать беззащитного, христианину же грешно лишать человека возможности покаяться. Издавна у нас на земле Русской смертная казнь была отменена, и теперь она нам всем противна, и в общем ходе уголовного суда не допускается. Такое милосердие есть слава православного племени славянского. От татар да ученых немцев появилась у нас жестокость в наказаниях, но скоро исчезнут и последние следы ее. Будьте, говорим мы, милосердны в наказаниях, но милосердие ваше да будет благоразумно. Лучше казнь, повидимому, строгая, но поражающая истинного преступника, чем мнимо легкая, но падающая на его семью. В таком наказании более неправды, чем милосердия. Многие ищут того, чтобы наказание было не унижительно для преступника, и думают, что в этом они следуют духу человеколюбия. Это великая ошибка. Всякое наказание, (кроме духовного назидания), унижительно по тому самому, что оно есть насилие над человеком; но честь его уже нарушена преступлением, и наказание, будучи последствием пре-

ступления, имеет свою целью исправление и не прибавляет ничего к бесчестию: ибо человек бесчестится не тем, что терпит поневоле, а тем, что делает по воле своей. Всякое другое понятие прилично только людям неверующим в достоинство духа человеческого, и годно разве для немцев, от которых оно и пошло, а не для славян.. Правда и милосердие в наказаниях заключается в том, чтобы всякая ненужная жестокость была устранена и чтобы невинный нисколько не страдал за виновного. Например, не более ли правды в суде китайском (хотя разумеется мы и того не хвалим), по которому отцы отчасти наказываются за своих детей, которых они воспитали, чем в суде европейском, где дети отчасти наказываются за отцов, на которых они никогда не могли иметь влияния? Наказание, говорим мы, не может быть унижительным для преступника: оно может быть унижительным только для самого наказывающего; но и в этом должно сохранять здоровое понятие. Человек не унижается, исполняя горькую обязанность, налагаемую на него обществом и охранением спокойствия и жизни братьев. Часовой, стоящий у темницы, и, так сказать, связывающий преступника, делается уже орудием казни; но он этим не унижается. То же скажем и о временных исполнителях суда военного или общинного. Унижительно ремесло постоянного казнителя, посвящающего жизнь свою совершению казни над братьями, ремесло палача; везде он в презрении, как лицо безнравственное и унижающее человеческую природу; но достойны ли уважения те общества, которые сами созидают ремесло, унижающее человека, и потом презируют его за то, чему сами виноваты? Это или лицемерие, или фарисейская неправда. Устройте уголовные законы так, чтобы у вас не было палача. Именем этого ремесла бесчестятся закон и общество, которым этот закон управляет. Наконец, дайте в суде более места совести, чем форме и тогда суд сербский будет уважаться всеми народами. Так было исстари в племенах славянских: так теперь в Англии, и она этим славится.

Еще скажем: да не будет у нас никакой торжественности в наказаниях, ибо всякое частное преступление и его наказание есть уже общее горе.

Дайте совести место и в суде гражданском. Стыдно, когда законный обряд в обществе более имеет значения, чем правда и добрая совесть; а это часто случается у других народов. Не развивайте у себя сутяжничества: оно противно миру и братолюбию. Мы думаем, что хорошо было бы, если бы всякий спор шел сперва на третейский суд; затем, если судьи не согласны между собой, пусть спор решается общиной; а если он происходит между членами разных общин, пусть он идет на суд людей посторонних, чтобы не было раздора между общинами.

Более всего держитесь всякого учреждения и всякого суда общинного. В нем более правды, чем во всяком другом; да через него и люди привыкают искать доброго мнения у братьев своих. Где сход сельский или городской решает дела, там уже с ранних лет воспитывается в человеке здоровое понятие о законности и справедливости, развивается разумное суждение, и уничтожается гибельное и весьма обыкновенное у многих народов равнодушие к общему делу. Сход мирской есть для народа училище, которое выше всякого книжного воспитания и никакою книжною мудростию не заменяется. Мирскими сходами были спасены дух и разум русских крестьян, несмотря на рабство, в которое заковал их несправедный закон.

Желательно, чтобы сход решал дела приговором единогласным. Таков был издревле обычай славянский. От немцев перешел к славянам обычай считать голоса, как будто бы мудрость и правда всегда принадлежали большему числу голосов, тогда как действительно большинство зависит весьма часто от случаев. Рассудите еще и о том, что где дела идут на решение большинством, в людях пропадает или, по крайней мере, слабеет желание убедить своих братьев, а следовательно слабеет и самое стремление к согласию в совести и разуме. Если уже нельзя получить решение

единогласное, лучше передать дело посреднику излюбленному от всего схода. Совесть и разум человека, почтенного общим доверием, надежнее, чем игра в счет голосов. У англичан в суде уголовном требуется единогласие присяжных для осуждения, и их суд уважается всем миром.

Вы христиане, вы православные: да будет у вас правда выше всего! Не верьте, что какому-нибудь народу могла служить неправда основою долговечного успеха и счастья; она восстанавливает против него чувство злобы в других народах и окружает его врагами. Много на свете людей, которые думают, что доброй цели позволительно достигать и злыми путями. Таково, как известно, учение иезуитов; но оно строго осуждается Святым Апостолом. Всякая неправда от лжи и от темного духа; а его не заставишь служить свету Божию, разве побеждая его правдою. И перехитрить его нельзя, ибо весь ум его в хитрости. Если когда и кажется, что добрая цель бывает достигнута злым путем, это только обман, которому не должно поддаваться. От злых средств остается в самом добре закваска, чрез которую видимое добро обращается в неожиданное зло, и люди неразумные удивляются потом такой перемене, не рассуждая путей Божией правды, которая всегда неизменна. Мы смеем вас предостерегать в этом деле, братья наши сербы; потому что некоторые из вас, как известно, привыкая к жизни других народов, привыкают и к хитрости их, особенно в сношениях дипломатических, и думают через нее послужить своему отечеству. Обманчива такая надежда. В хитрости нельзя победить ни иезуита, ни австрийца; но хитрость его легко победить прямодушием и простотою: в них сила, и сила истинная.

Вы создали у себя власть. Повинуйтесь ей и укрепляйте ее, дабы не впасть в безначалие и бессилие. Но охраняйте также у себя свободу, и особенно свободу мнения, как словесного, так и письменного. Она созидает силу духа, царство правды и жизнь разума в народе. Без нее глохнут и умирают все добрые нача-

ла, как видно из опыта многих народов, и отчасти из нашего собственного. Она нужна гражданам и, может быть, еще более нужна самой власти, которая без нее впадает в неисцеленную слепоту и готовит гибель самой себе.

Мы говорим: охраняйте свободу мнений, и охраняйте ее не только от власти, но и от самих себя. Пусть высказывается всякое суждение, как бы оно ни было противно вам самим. Если оно справедливо, оно распространится к благу общему; если оно ложно, оно обличится также ко благу общему: ибо правда всегда разумнее лжи. Что же бывает там, где мнение не высказывается из страха? Справедливые пропадают, потому что они любят свет, а ложные, которые любят тьму, не будучи обличены, разрастаются, как скрытая язва, и заражают собой самые источники жизни. Выслушивайте все, обличайте неправду, и вы победите ее своей верой в силу истины, которая есть от Бога.

Не говорите много о праве и правах и не очень слушайте тех, которые не говорят об обязанности, потому что обязанность есть единственный живой источник права. Знание собственного права в сильном ничего не значит, освящая только его волю, а в бесильном оно ничтожно, по самому его бессилию. Знание же обязанности связывает сильного, созидая и освящая права слабых. Себялюбие говорит о праве, братолюбие говорит об обязанности.

Уважайте своих пастырей духовных! На них лежит великая ответственность перед Богом, и справедливо, чтобы они имели великий почет у людей; но не позволяйте, чтобы они величали себя Церковью отдельно от народа. Будьте в этом ревнивы к своей чести, ибо вы все члены Церкви Божией. Латинское духовенство называет себя Церковью, отстраняя мирян или считая их стадом бессловесным; зато у них и нет Церкви истинной. Патриарх и Епископы Восточные еще в недавнем времени обличили эту латинскую ложь и тем заслужили великую и вечную благодарность от всего

Православного Христианства, хотя, к сожалению, многие из них на деле остаются не совсем верными своему собственному учению, стесняя права народа, и через такую неверность дают сами против себя оружие иноверцам в Болгарии.

Наконец, всячески пекитесь об образовании и распространении знания во всем сербском народе. Старайтесь, чтобы оно могло быть доступно всем. Распространение всякого знания в народе требуется не только пользою общественною, но и самою справедливостью. Ибо существование богатых уже и без того много имеет преимуществ перед жизнью бедных: справедливо ли, чтобы богатые одни удерживали у себя и это великое сокровище — знание? Любите и поощряйте науку не только ради прямой пользы, которую она приносит обществу и частным людям в жизни общественной, но гораздо более ради того, что ею расширяется и укрепляется разум, великий Божий дар. Знайте и то, что там, где наука пользуется свободою и почетом ради самой себя, там она плодотворна и сильно содействует общественному благу; там же, где ее принимают, как наемную работницу, там она бессильна и не приносит никаких плодов самому обществу. Это мы отчасти сами испытали и испытываем даже и теперь.

Сохраняйте же и развивайте у себя все добрые начала! Будьте верны Православию и едины в просвещении духовном. Не изменяйте никогда братскому равенству и будьте едины в цельности народной! Стремитесь к образованности и правде! И будьте едины в достижении всякого общественного блага и разумного совершенства!

Остальное, что справедливо и вам полезно, скажет вам собственный ваш ум; мы же сочли своим долгом сказать вам то, что узнали из опыта, и предостеречь вас от ошибок, в которые легко может впасть народ, входя в неизведанную ему область умственных сношений с другими европейскими народами. Другие племена славянские ранее вас вступили в это обще-

ние; некому их было предостеречь от предстоящей опасности, и тяжела была судьба их. Чехи и поляки пали под власть чужую, мы спаслись, но и то теперь только начинаем оправляться от болезни, которая грозила нам духовною смертью. Нас спасли, как мы уже сказали, стойкость народа, святое Православие и милость Божия; но нескоро еще исчезнут следы болезни, нескоро еще мы будем истинно русскою землею, живущей в духе русской самобытности. Грех был бы и стыд, если бы наш опыт не послужил в пользу младшим братьям нашим, вступающим в новое поприще жизни общественной, вам, и еще кого Бог призывает. Ибо мы надеемся, что день милости Божией взойдет и для всех других.

Может быть, мы вам многого не досказали, или сказали неясно, или даже с ошибками. Вы, братья, пополните недосказанное, поймите сказанное ясно, исправьте ошибочное, а слова наши, слова от сердца и любви, примите с любовью и благоволением.

Да будет Сербия счастлива и сильна, радостью для всех славян и предметом уважения для всех народов!

Примите наш братский поклон.

В Москве, в 1860 году.

Алексей Хомяков.
 Михаил Погодин.
 Александр Кошелев.
 Иван Беляев.
 Николай Елагин.
 Юрий Самарин.
 Петр Бессонов.
 Константин Аксаков.
 Петр Бартенев.
 Федор Чижев.
 Иван Аксаков.

III. БОГОСЛОВСКИЕ СТАТЬИ

ОПЫТ КАТИХИЗИЧЕСКОГО ИЗЛОЖЕНИЯ УЧЕНИЯ О ЦЕРКВИ¹⁾

Церковь одна

§1. Единство Церкви следует необходимо из единства Божьего, ибо Церковь не есть множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати, живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати. Дается же благодать и непокорным, не пользующимся ею (зарывающим талант), но они не в Церкви. Единство же Церкви не мнимое, не иносказательное, но истинное и существенное, как единство многочисленных членов в теле живом.

¹⁾ Мы не можем определить в точности, к какому году относится этот опыт; но несомненно, что в сороковых годах он уже был написан. А. С. Хомяков долго держал его в портфеле, так что об нем не знал никто; впоследствии он возымел мысль перевести его на греческий язык и напечатать в Афинах ;но это предположение не состоялось. Уже по смерти автора, в 1864 г., труд его издан был в «Православном обозрении» под заглавием: «О Церкви». В подлинной рукописи, в заголовке, стоит «Церковь одна», и мы удерживаем это заглавие. Во всяком случае, несомненно, что это первый труд автора по части богословия. В нем изложено в строгой, сжатой и в то же время простой и общедоступной форме, все то, что впоследствии было им так блистательно развито в трех его полемических брошюрах, изданных за границу на французском языке.

Первоначально автор выдавал это свое произведение за найденную где-то древнюю рукопись; и потому хотел ее напечатать с предисловием и послесловием от себя, в настоящее время к сожалению утраченными. В таком виде он ее посылал В. А. Жуковскому, как видно из писем А. Н. Попову, напечатанных в томе 8-м.

Это примечание, как почти все наши примечания, заимствовано из восьмитомного собрания сочинений А. С. Хомякова 1900 года, изданного его сыном Д. А. Хомяковым.

Церковь одна, несмотря на видимое ее деление для человека, еще живущего на земле. Только в отношении к человеку можно признавать раздел Церкви на видимую и невидимую; единство же ее есть истинное и безусловное. Живущий на земле, совершивший земной путь, несозданный для земного пути (как ангелы), не начинавший еще земного пути (будущие поколения), все соединены в одной Церкви — в одной благодати Божией: ибо еще неявленное творение Божие для него явно, и Бог слышит молитвы и знает веру того, кто еще не вызван Им из небытия в бытие. Церковь же, тело Христово, проявляется и исполняется во времени, не изменяя своего существенного единства и своей внутренней, благодатной жизни. Поэтому, когда говорится «Церковь видимая и невидимая», то говорится только в отношении к человеку.

§ 2. Церковь видимая или земная живет в совершенном общении и единстве со всем телом церковным, коего глава есть Христос. Она имеет в себе пребывающего Христа и благодать Духа Святого во всей их жизненной полноте, но не в полноте их проявлений; ибо творит и ведает не вполне, а сколько Богу угодно.

Так как Церковь земная и видимая не есть еще полнота и совершение всей Церкви, которым Господь назначил явиться при конечном суде всего творения, то она творит и ведает только в своих пределах, не судя остальному человечеству (по словам Апостола Павла к Коринфянам) и только признавая отлученными, то есть не принадлежащими ей, тех, которые от нее сами отлучаются. Остальное же человечество, или чуждое Церкви, или связанное с нею узами, которые Бог не изволил ей открыть, предоставляет она суду великого дня. Церковь же земная судит только себе, по благодати Духа и по свободе, дарованной ей через Христа, призывая и все остальное человечество к единству и к усыновлению Божьему во Христе: но над неслышащими ее призыва не произносит

приговора, зная повеление своего Спасителя и Главы: «не судить чужому рабу».

§ 3. С сотворения мира пребывала Церковь земная непрерывно на земле и пребудет до совершения всех дел Божиих по обещанию, данному ей самим Богом. Признаки же ее суть: внутренняя святость, не позволяющая никакой примеси лжи, ибо в ней живет Дух истины; и внешняя неизменность, ибо неизменен Хранитель и Глава ее Христос.

Все признаки Церкви, как внутренние, так и внешние, познаются только ею самою и теми, которых благодать призывает быть ее членами. Для чуждых же и не призванных они непонятны, ибо внешнее изменение обряда представляется непризванному изменением самого Духа, прославляющегося в обряде (как например, при переходе ветхозаветной Церкви в новозаветную, или при изменении обрядов и положений церковных со времен апостольских). Церковь и ее члены знают, внутренним знанием веры, единство и неизменность своего духа, который есть Дух Божий. Внешние же и непризванные видят и знают изменение внешнего обряда внешним знанием, не постигающим внутреннего, как и самая неизменность Божия кажется им изменяемой, в изменениях Его творений. Посему не была и не могла быть Церковь измененною, помраченною, или отпавшей, ибо тогда она лишилась бы Духа истины. Не могло быть никакого времени, в которое она приняла бы ложь в свои недра, в которое бы миряне, пресвитеры и епископы подчинились предписаниям и учению, несогласным с учением и духом Христовым. Не знает Церковь и чужд ей тот, кто бы сказал, что могло в ней быть такое оскудение духа Христова. Частное же восстание против ложного учения, с сохранением или принятием других ложных учений, не есть и не могло быть делом Церкви; ибо в ней, по ее сущности, должны были всегда быть проповедники и учителя и мученики, исповедующие не частную истину с примесью лжи, но полную и беспримесную истину. Церковь знает не от-

части-истину и отчасти-ложь, а полную истину и без примеси лжи. Живущий же в Церкви не покоряется ложному учению, не принимает таинства от ложного учителя; зная его ложным, не следует обрядам ложным. И Церковь не ошибается сама, ибо есть истина, не хитрит и не малодушничает, ибо свята. Точно также Церковь, по своей неизменности, не признает ложью того, что она когда-нибудь признавала за истину; и объявив общим собором и общим согласием возможность ошибки в учении какого-нибудь частного лица, или какого-нибудь епископа, или патриарха, она не может признать, что сие частное лицо, или епископ, или патриарх, его преемники, не могли впасть в ошибку по учению и что они охранены от заблуждений какой-нибудь особой благодатью. Чем святилась бы земля, если бы Церковь утратила свою святость? И где бы была истина, если бы ее нынешний приговор был противен вчерашнему? В Церкви, то есть в ее членах, зарождаются ложные учения, но тогда зараженные члены отпадают, составляя ересь или раскол и не оскверняя уже собой святости церковной.

§ 4. Церковь называется единою, святою, соборною (кафолическою и вселенскою), апостольскою; потому что она едина и свята, потому что она принадлежит всему миру, а не какой-нибудь местности; потому что ею святится все человечество и вся земля, а не один какой-нибудь народ, или одна страна; потому что сущность ее состоит в согласии и в единстве духа и жизни всех ее членов, по всей земле, признающих ее; потому, наконец, что в писании и учении апостольском содержится вся полнота ее веры, ее упований и ее любви.

Из сего следует, что когда называется какое-нибудь общество Христианской Церковью местною, как то: Греческою, Российскою или Сирийскою, такое название значит только собрание членов Церкви, живущих в такой-то стране (Греции, России, Сирии и т. д.) и не содержит в себе предположения, будто бы

одна община христиан могла выразить учение церковное или дать учению церковному догматическое толкование без согласия других общин; еще менее предполагается, чтобы какая-нибудь община или пастырь ее могли предписывать свое толкование другим. Благодать веры неотделима от святости жизни, и ни одна община и ни один пастырь не могут быть признанными за хранителей всей веры, как ни один пастырь, ни одна община не могут считаться представителями всей святости церковной. Впрочем, всякая община христианская, не присвоивая себе права догматического толкования или учения, имеет вполне право изменять свои обряды, вводить новые, не вводя в соблазн другие общины; напротив, отступая от своего мнения и покоряясь их мнению, дабы то, что в одном невинно и даже похвально, не показалось виновным другому, и дабы брат не ввел брата в грех сомнения и раздора. Единством обрядов церковных должен дорожить всякий христианин, ибо в нем видимо проявляется, даже для непросвещенного, единство духа и учения; для просвещенного же находится источник радости живой и христианской. Любовь есть венец и слава Церкви.

§ 5. Дух Божий, живущий в Церкви, правящий ею и умудряющий ее, является в ней многообразно, в писании, предании и в деле; ибо Церковь, творящая дела Божьи, есть та же Церковь, которая хранит предание и писала писание. Не лица и не множество лиц в Церкви хранят предание и пишут, но Дух Божий, живущий в совокупности церковной. Потому ни в писании искать основы преданию, ни в предании доказательств писанию, ни в деле оправдания для писания и предания — нельзя и не должно. Вне Церкви живущему непостижимо ни писание, ни предание, ни дело. Внутри же Церкви пребывающему и приобщенному к духу Церкви единство их явно по живущей в ней благодати.

Не предшествует ли дело писанию и преданию? Не предшествует ли писанию предание? Не угодны

ли были Богу дела Ноя, Авраама, родоначальников и представителей ветхозаветной Церкви? И не существовало ли предание у прародителей, начиная от первого родоначальника Адама? Не дал ли Христос свободу человекам и словесное учение, прежде чем апостолы, писаниями своими, засвидетельствовали дело искупления и закон свободы? Посему между преданием, делом и писанием нет противоречия, а совершенное согласие. Ты понимаешь писание, поскольку хранишь предание и поскольку творишь дела угодные мудрости в тебе живущей. Но мудрость, живущая в тебе, не есть тебе данная лично, но тебе, как члену Церкви и дана тебе отчасти, не уничтожая совершенно свою личную ложь; дана же Церкви в полноте истины и без примеси лжи. Посему не суди Церкви, но повинуйся ей, чтобы не отнялась от тебя мудрость.

Всякий, ищущий доказательств церковной истины, тем самым показывает свое сомнение и исключает себя из Церкви, или дает себе вид сомневающегося и в то же время сохраняет надежду доказать истину и дойти до нее собственной силою разума; но силы разума не доходят до истины Божией, и бессилие человеческое делается явным в бессилии доказательств. Принимающий одно писание и на нем одном основывающий Церковь, действительно, отвергает Церковь и надеется создать ее снова собственными силами; принимающий только предание и дело и унижающий важность писания действительно отвергает также Церковь и становится судьей Духа Божьего, говорившего писанием. Христианское же знание не есть дело разума пытающего, но веры благодатной и живой. Писание есть внешнее и предание внешнее и дело внешнее, — внутреннее же в них есть один Дух Божий. От предания одного, от писания или от дела, может почерпать человек только знание внешнее и неполное, которое может в себе содержать истину, ибо отправляется от истины, но в то же время и необходимо ложно, потому что оно неполно. Верующий знает

Истину, неверующий же не знает ее или знает ее знанием внешним и несовершенным. Церковь не доказывает себя ни как писание, ни как предание, ни как дело, но свидетельствуется собою, как и Дух Божий, живущий в ней, свидетельствуется собою в писании. Не спрашивает Церковь, какое писание истинно, какое предание истинно, какой собор истинен, какое дело угодно Богу, ибо Христос знает Свое достоинство и Церковь, в которой живет Он, знает внутренним знанием и не может не знать своих проявлений. Священным Писанием называется собрание ветхозаветных и новозаветных книг, которые Церковь признает своими. Но нет пределов писанию, ибо всякое писание, которое Церковь признает своим, есть Священное Писание. Таковы по преимуществу исповедания соборов и особенно Никео-Константинопольское. Посему, было до нашего времени Священное Писание и, если угодно Богу, будет еще Священное Писание. Но не было и не будет никогда в Церкви никакого противоречия, ни в писании, ни в предании, ни в деле: ибо во всех трех единый и неизменный Христос.

§ 6. Каждое действие Церкви, направляемое Духом Святым, духом жизни и истины, представляет совокупность всех его даров — веры, надежды и любви; ибо в писании проявляется не одна вера, но и надежда Церкви и любовь Божия, а в деле богоугодном проявляется не любовь одна, но и вера и надежда и благодать, и в живом предании Церкви, ожидающей венца и совершения своего от Бога во Христе, проявляется не надежда одна, но и вера и любовь. Дары Духа Святого неразрывно соединены в одном святом и живом единстве: но, как богоугодное дело наиболее принадлежит любви, как богоугодная молитва наиболее принадлежит надежде, так богоугодное исповедание наиболее принадлежит вере и неложно называется исповедание Церкви исповеданием или Символом Веры.

Посему должно понимать, что исповедание и молитва и дело суть ничто сами по себе, но разве как

внешнее проявление внутреннего духа. Поэтому еще, неугоден Богу ни молящийся, ни творящий дела, ни исповедующий исповедание Церкви, но тот, кто творит и исповедует, и молится по живущему в нем духу Христову. Не у всех одна вера или одна надежда или одна любовь: ибо ты можешь любить плоть, надеяться па мир и исповедывать ложь; можешь также любить, надеяться и веровать не вполне, а отчасти; и Церковь называет твою надежду надеждой, твою любовь любовью, твою веру верой, ибо ты их так называешь и она с тобой о словах спорить не будет; сама же она называет любовь и веру и надежду дарами Духа Святого и знает, что они истинны и совершенны.

§ 7. Святая Церковь исповедует веру свою всюю жизнью своею: учением, которое внушается Духом Святым, таинствами, в которых действует Дух Святый и обрядами, которыми Он же управляет. По преимуществу же исповеданием веры называется Символ Никео-Константинопольский.

В Символе Никео-Константинопольском заключается исповедание учения церковного; но, дабы ведомо было, что и надежда Церкви от ее учения нераздельна, исповедуется также и надежда ее: ибо говорится *чае м*, а не просто веруем, что будет...

Сие исповедание постижимо так же, как и вся жизнь духа, только верующему и члену Церкви. Оно содержит в себе тайны, недоступные пытливому разуму и открытые только Самому Богу и тем, кому Бог их открывает для внутреннего и живого, а не мертвого и внешнего познания. Оно содержит в себе тайну бытия Божьего, не только в отношении к его внешнему действию на творение, но и ко внутреннему, вечному его существованию. Потому, гордость разума и незаконной власти, присвоившая себе в противность приговору всей Церкви (высказанному на соборе Ефесском) право прибавить свои частные объяснения и человеческую догадку к Символу Никео-Константинопольскому, уже есть само по себе нарушение свя-

тости и неприкосновенности Церкви. Так как самая гордость отдельных Церквей, осмелившихся изменить Символ всей Церкви без согласия братий своих, была внушена не духом любви и была преступлением пред Богом и Святой Церковью; точно так же и их слепая мудрость, не постигшая тайны Божией, была искажением веры; ибо не сохранится вера там, где оскудела любовь. Посему прибавление слов *filioque* содержит какой-то мнимый догмат, неизвестный никому из богоугодных писателей или из епископов или апостольских преемников в первые века Церкви, ни сказанный Христом Спасителем. Как Христос сказал ясно, так ясно и исповедывала и исповедует Церковь, что Дух Святы́й исходит от Отца: ибо не только внешние, но и внутренние тайны Божие были открыты Христом и духом веры святым апостолам и Святой Церкви... Не отвергает Церковь, что Дух Святы́й посылается не только Отцем, но и Сыном; не отвергает Церковь, что Дух Святы́й сообщается всей разумной твари не от Отца токмо, но и через Сына; но отвергает Церковь, чтобы Дух Святы́й имел свое исходное начало не от Отца токмо, но и от Сына...

§ 8. Исповедав свою веру в Триипостасное Божество, Церковь исповедует свою веру в самую себя, потому что она себя признает орудием и сосудом божественной благодати и дела свои признает за дела Божие, а не за дела лиц, повидимому ее составляющих. В сем исповедании она показывает, что знание об ее существовании есть также дар благодати, даруемой свыше и доступной только вере, а не разуму.

Ибо, какая бы мне была нужда сказать: верую, когда бы я знал? Церковь же видимая не есть видимое общество Христиан, но дух Божий и благодать таинств, живущих в этом обществе; а вера не есть ли обличение невидимых? Посему и видимая Церковь видима только верующему, ибо для неверующего таинство есть только обряд, а церковь только общество. Верующий, хотя глазами тела и разума видит Церковь только в ее внешних проявлениях, но сознает

ее духом в таинствах и в молитве и в богоугодных делах... Святая Церковь исповедует и верует, что никогда овцы не были лишены своего Божественного Пастыря, и что Церковь не могла ни ошибиться, по неразумию (ибо в ней живет разум Божий), ни покориться ложным учениям по малодушию (ибо в ней живет сила духа Божия).

Веруя в слово обетования Божьего, назвавшего всех последователей Христова учения друзьями Христа и братьями Его и в нем усыновленными Богу, Святая Церковь исповедует пути, которыми угодно Богу приводить падшее и мертвое человечество к воссоединению в духе благодати и жизни. Посему, помняв пророков, представителей века ветхозаветного, она исповедует таинства, чрез которые в ветхо-заветной Церкви Бог ниспосылает людям благодать Свою и преимущественно исповедует она таинство крещения во очищение грехов, как содержащее в себе начало всех других: ибо через крещение только вступает человек в единство Церкви, хранящей все остальные таинства.

Исповедуя едино крещение во оставление грехов, как таинство, предписанное самим Христом для вступления в Церковь ново-заветную, Церковь не судит тех, которые не сделались причастными ей через крещение, ибо она знает и судит токмо самую себя. Ожесточенность же сердца знает один Бог, и слабости разума судит Он же, по правде и милости. Многие спасались и получили наследство, не приняв таинства крещения водою, ибо оно учреждено только для Церкви ново-заветной. Отвергающий его, отвергает всю Церковь и Духа Божия, живущего в ней; но оно не было завещано человечеству искони или предписано Церкви ветхо-заветной. Ибо если кто скажет: обрезание было крещением ветхо-заветным, --- тот отвергает крещение для женщин (ибо для них не было обрезания), и что скажет он о праотцах от Адама до Авраама, не принявших печати обрезания? И во всяком случае не признает ли он, что вне Церкви

ново-заветной таинство крещения не было обязательным? Если он скажет, что за Церковь ветхо-заветную принял крещение Христос, то кто положит предел милосердию Божьему, принявшему на себя грехи мира? Обязательно же крещение, ибо оно одно есть дверь в Церковь новозаветную, и в крещении одним изъясняет человек свое согласие на искупляющую силу благодати. Посему в едином крещении только он и спасается.

Впрочем, мы знаем, что, исповедуя едино крещение, как начало всех таинств, мы не отвергаем и других; ибо, веруя в Церковь, мы с нею вместе исповедуем семь таинств, то есть крещения, евхаристии, рукоположения, миропомазания, брака, покаяния, елеосвящения. Много есть и других таинств; ибо всякое дело, совершаемое в вере, любви и надежде, внушается человеку духом Божиим и призывает невидимую Божию благодать. Но семь таинств совершаются действительно не одним каким-нибудь лицом, достойным милости Божией, но всю Церковь в одном лице, хотя и недостойном.

О таинстве евхаристии учит Святая Церковь, что в нем совершается воистину преложение хлеба и вина в тело и кровь Христову. Не отвергает она и слова пресуществления, но не приписывает ему того вещественного смысла, который приписан ему учителями отпадших церквей. Преложение хлеба и вина в тело и кровь Христову совершается в Церкви и для Церкви. Принимаешь ли ты освященные дары, или поклоняешься им, или думаешь о них с верою — ты действительно принимаешь тело и кровь Христову и поклоняешься им и думаешь о них. Принимаешь ли недостойно — ты действительно отвергаешь тело и кровь Христову; во всяком случае, в вере или неверии ты освящаешься или осуждаешься телом и кровию Христовою. Но таинство сие в Церкви и для Церкви, а не для внешнего мира, не для огня, не для неразумного животного, не для тления и не для человека, не слыхавшего закона Христова. В Церкви

же самой (говорим о Церкви видимой) для избранных и отверженных, святая евхаристия не простое воспоминание о таинстве искупления, не присутствие духовных даров в хлебе и в вине, не духовное только восприятие тела и крови Христовой, но истинное тело и кровь. Не духом одним угодно было Христу соединиться с верующим, но и телом и кровию, дабы единение было полное и не только духовное, но и телесное. Равно противны Церкви и бессмысленные толкования об отношениях святого таинства к стихиям и тварям неразумным (когда таинство учреждено только для Церкви), и духовная гордость, презирающая тело и кровь и отвергающая телесное соединение со Христом. Не без тела воскреснем, и никакой дух, кроме Бога, не может вполне назваться бестелесным. Презирающий тело грешит гордостью духа.

О таинстве рукоположения учит святая Церковь, что чрез него передается преемственно от апостолов и самого Христа благодать, совершающая таинства: не так как будто никакое таинство не могло совершаться иначе как рукоположением (ибо всякий христианин может чрез крещение отворить младенцу или Еврею или язычнику дверь Церкви), но так, что рукоположение содержит в себе всю полноту благодати, даруемой Христом своей Церкви. Самая же Церковь, сообщаящая членам своим полноту духовных даров, назначила, в силу своей Богоданной свободы, различие в степенях рукоположения. Иной дар пресвитеру, совершающему все таинства, кроме рукоположения, иной епископу, совершающему рукоположение; выше же дара епископского нет ничего. Таинство дает рукоположенному то великое значение, что, хотя и недостойный он, в совершении своего таинственного служения, действует уже не от себя, но от всей Церкви, то есть от Христа, живущего в ней. Если бы прекратилось рукоположение, прекратились все таинства кроме крещения, и род человеческий

оторвался бы от благодати: ибо Церковь сама тогда бы засвидетельствовала, что отступился от нее Христос.

О таинстве миропомазания учит Церковь, что в нем передаются христианину дары Духа Святого, утверждающего его веру и внутреннюю святость; таинство же сие совершается по воле святой Церкви не епископами одними, но и пресвитерами, хотя самое миро может быть благословенно только епископом.

О таинстве брака учит Святая Церковь, что благодать Божия, благословляющая преемственность поколений во временном существовании рода человеческого и святое соединение мужа и жены для образования семьи, есть дар таинственный, налагающий на приемлющих его высокую обязанность взаимной любви и духовную святость, через которое грешное и вещественное облекается в праведность и чистоту. Почему великие учителя Церкви, Апостолы, признают таинство брака даже у язычников; ибо, запрещая наложничество, они утверждают брак между язычниками и христианами, говоря, что муж святится женою верною, а жена мужем верным... Итак, не скверен брак даже у идолопоклонников; но они не знают сами про милость Божию, данную им. Святая же Церковь, чрез своих рукоположенных служителей, признает и благословляет соединение мужа и жены, благословленное Богом. Посему брак не есть обряд, но истинное таинство. Получает же оно свое совершение в Святой Церкви, ибо в ней только совершается в полноте своей всякая святыня.

О таинстве покаяния учит Святая Церковь, что без него не может очиститься дух человеческий от рабства греха и греховной гордости; что не может он сам разрешать свои собственные грехи (ибо мы властны только осуждать себя, а не оправдывать), и что одна только Церковь имеет силу оправдания, ибо в ней живет полнота духа Христова. Мы знаем, что первенец царства небесного после Спасителя вошел в святыню Божию осуждением самого себя, то есть

таинством покаяния, сказав: «Ибо достойное по делом нашим приняли» и получив разрешение от Того, Кто может один разрешать и разрешает устами своей Церкви.

О таинстве елеосвящения учит Святая Церковь, что в нем совершается благословение всего подвига, совершенного человеком на земле, и всего пути, им пройденного в вере и смирении, и что в елеосвящении выражается самый суд божественный над земным составом человека, исцеляя его, когда все средства целебные бессильны, или дозволяя смерти разрушить тленное тело, уже не нужное для земной Церкви и для тайных путей Божиих.

§ 9. Церковь живет даже на земле не землею, человеческой жизнью, но жизнью божественною и благодатною. Посему не только каждый из членов ее, но и вся она торжественно называет себя Святою. Видимое ее проявление содержится в таинствах: внутренняя же жизнь ее в дарах Духа Святого, в Вере, Надежде и Любви. Угнетаемая и преследуемая внешними врагами, не раз возмущенная и разорванная злыми страстями своих сынов, она сохранялась и сохраняется непоколебимо и неизменно там, где неизменно хранятся таинства и духовная святость — никогда не искажается и никогда не требует исправления. Она живет не под законом рабства, но под законом свободы, не признает над собой ничьей власти, кроме собственной, ничьего суда, кроме суда Веры (ибо разум ее не постигает), и выражает свою Любовь и свою Надежду в молитвах и обрядах, внушаемых ей духом истины и благодатью Христовою. Посему, самые обряды ее, хотя и не неизменны (ибо созданы духом свободы и могут изменяться по суду Церкви), никогда и ни в каком случае не могут содержать в себе какую-нибудь, хотя малейшую примесь лжи или ложного учения. Обряды же, еще неизменные, обязательны для членов Церкви, ибо в их соблюдении радость святого единства.

Внешнее единство есть единство, проявленное в общении таинств; внутреннее же единство есть единство духа. Многие спаслись (например многие мученики), не приобщившись ни одному из таинств Церкви (даже и крещению), но никто не спасается, не приобщившись внутренней святости Церковной, ее Вере, Надежде и Любви; ибо не дела спасают, а Вера. Вера же не двояка, но едина — истинная и живая. Посему неразумны и те, которые говорят, что Вера одна не спасает, но еще нужны дела, и те, которые говорят, что Вера спасает кроме дел: ибо, если дел нет, то вера оказывается мертвою; если мертва, то и не истинна, ибо в истинной Вере Христос, истина и живот; если же не истинная, то ложная, то есть внешнее знание. А ложь может ли спасти? Если же истинная, то живая, то есть творящая дела, а если она творит дела, то какие еще дела потребны? Боговдохновенный апостол говорит: «покажи мне от дел твоих веру, которою ты хвалишься, как и я показываю Веру свою, от дел своих». Признает ли он две Веры? Нет, но обличает неразумную похвальбу. «Ты веришь в Бога, но и бесы верят». Признает ли он Веру в бесах? Нет, но уличает ложь, хвалящуюся качеством, которое и бесы имеют. «Как тело без души мертво, так и вера без дел». Сравнивает ли он веру с телом, а дела с духом? Нет, ибо такое подобие было бы неверно, но смысл слов его ясен. Как тело бездушное не есть уже человек и человеком назваться не может, но трупом, — так и Вера, не творящая дел, истинной Верой назваться не может, но ложною, то есть знанием внешним, бесплодным и доступным даже бесам. Что писано просто, то должно быть и читано просто. Посему те, которые основываются на апостоле Иакове для доказательства, что есть вера мертвая и Вера живая и будто две веры, не постигают смысла слов апостольских; ибо не за них, а против них свидетельствует апостол. Также, когда великий апостол языков говорит: «какая польза без любви, даже в такой вере, которая двигала бы горы?» он не утверждает воз-

можности такой веры без любви; но, предполагая ее, объявляет бесполезною. Не духом мудрости мирской, спорящей о словах, должно быть читано святое писание, но духом мудрости Божией и простоты духовной. Апостол, определяя Веру, говорит: «она есть невидимых обличение и утверждение уповаемых» (не ожидаемых токмо или будущих); если же уповаем, то желаем, если же желаем, то любим, ибо нельзя желать того, чего не любишь. Или бесы имеют также упование? Посему Вера одна и когда спрашиваем: «может ли истинная Вера спасти кроме дел?» то делаем вопрос неразумный, или, лучше сказать, ничего не спрашиваем, ибо Вера истинная есть живая, творящая дела: она есть Вера во Христе и Христос в Вере.

Те, которые приняли за Веру истинную мертвую веру, то есть ложную или внешнее знание, дошли в своем заблуждении до того, что из сей мертвой веры, сами того не зная, сделали восьмое таинство. Церковь имеет веру, но веру живую, ибо она же имеет и святость. Когда же один человек, или один епископ имеет непременно веру, что должны мы сказать? Имеет ли он святость? Нет, ибо он ославлен преступлением и развратом. Но вера в нем пребывает, хотя и в грешнике. Итак вера в нем есть осьмое таинство, как и всякое таинство есть действие Церкви в лице, хотя и недостойном. Через сие таинство какая же вера в нем пребывает? Живая? Нет, ибо он преступник; но вера мертвая, то есть внешнее знание, доступное даже бесам. И это ли будет осьмое таинство? Так отступление от истины самой собой наказывается.²⁾

Должно разуметь, что спасает не вера и не надежда и не любовь (ибо спасет ли вера в разум, или на-

2) Как непогрешимость в мертвой вере есть сама по себе ложь, так мертвенность ее выражается и тем, что эта непогрешимость связана с предметами мертвой природы, с местом жительства, или с мертвыми стенами, или с преемством епархиальным, или с престолом. Но мы знаем, кто во время Христовых страданий сидел на престоле Монсеевом.

дежда на мир, или любовь к плоти?), но спасет предмет Веры. Веруешь ли во Христа — Христом спасаешься в Вере; веруешь ли в таинства Христовы — ими спасаешься; веруешь ли в Церковь — Церковью спасаешься; ибо Христос Бог наш, в Церкви и в таинствах. Ветхозаветная Церковь спасалась Верою в будущего Икупителя. Авраам спасался тем же Христом, как и мы. Он имел Христа в уповании, мы же в радости. Посему, желающий крещения, крестится в желании, а принявший крещение имеет крещение в радости. Обоих спасает одинаковая Вера в крещение, но скажешь: «если Вера в крещение спасает, к чему еще креститься». Если ты не принимаешь крещения, чего же ты желаешь? Очевидно, что вера, желающая крещения, должна совершиться в принятии самого крещения — своей радости. Посему и дом Корнилиев принял Духа Святого, не принявши еще крещения, и кажник исполнился того же Духа вслед за крещением. Ибо Бог может прославить таинство крещения до его совершения, точно так же как и после. Так исчезает разница между *opus operans* и *opus operatum*. Знаем мы, что многие не крестили младенцев и многие не допускали их к причащению святых таин, и многие не миропомазывали их; но иначе разумеет Святая Церковь, крестящая и миропомазывающая и допускающая младенцев к причащению. Не потому так положила она, чтобы осуждала некрещенных младенцев, коих ангелы всегда видят лице Божие; но положила сие по духу любви в ней живущему, дабы и первая мысль младенца, входящего в разум, была уже не только желанием, но и радостью за принятие уже таинства. И знаешь ли ты радость младенца, еще, повидимому, не вошедшего в разум? Не возрадовался ли о Христе еще нерожденный пророк? Отняли же у младенцев крещение и миропомазывание и причащение святых даров те, которые, исследовав слепую мудрость слепого язычества, не постигли величия таинств Божиих, требовали во всем причины и пользы и, подчиня учение Церкви толкованиям схо-

ластическим, не желают даже молиться, если не видят в молитве прямой цели и выгоды. Но наш закон не есть закон рабства или наемничества, трудящегося за плату, но закон усыновления и свободной любви.

Мы знаем, когда падает кто из нас, он падает один; но никто один не спасается. Спасаящийся же спасается в Церкви, как член ее, и в единстве со всеми другими ее членами. Верует ли кто, он в общении Веры, Любит ли, он в общении Любви, молится ли, он в общении Молитвы. Посему, никто не может надеяться на свою молитву и всякий, моляся, просит всю Церковь о заступлении, не так, как будто бы сомневался в заступничестве единого ходатая Христа, но в уверенности, что вся Церковь всегда молится за всех своих членов. Молятся за нас все ангелы и апостолы и мученики и праотцы и всех высшая Мать Господа нашего, и это святое единение есть истинная жизнь Церкви. Но если беспрестанно молится Церковь видимая и невидимая, зачем же просить ее о молитвах? Не просим ли милости у Бога и Христа, хотя милость Его предваряет нашу молитву? Потому именно и просим Церковь о молитвах, что знаем, что она и неприсящему дает помощь своего заступления и просящему дает несравненно более, чем он просит: ибо в ней полнота духа Божия. Так и прославляем всех, кого Господь прославляет: ибо как скажем, что Христос в нас живет, если не уподобляемся Христу? Посему прославляем святых и ангелов и пророков, но более всех чистейшую Мать Господа Иисуса, не признавая Ее или безгрешною, по рождению, или совершенною (ибо безгрешен или совершенен один Христос); но помня, что Ее непонятное превосходство перед всем Божиим творением засвидетельствовано ангелом и Елисаветою и более всех самим Спасителем, назначившим ей в сыновнее повиновение и службу великого своего апостола и тайновидца Иоанна.

Также как каждый из нас требует молитвы от всех, так и он всем должен своими молитвами, жи-

вым и усопшим и даже еще нерожденным; ибо прося, чтобы мир пришел в разум Божий (как мы просим со всею Церковью), просим не за одни настоящие поколения, но и за те, которые Бог еще вызовет к жизни. Молимся за живых, дабы была на них благодать Господа, и за усопших, чтобы были они удостоены лицезрения Божиего. Не знаем мы о среднем состоянии душ, не принятых в царство Божие и не осужденных на муку, ибо о таком состоянии не получили мы учения от апостолов или от Христа; не признаем чистилица, то есть очищения душ страданиями, от которых можно откупиться делами своими или чужими: ибо Церковь не знает ни про спасение какими бы то ни было внешними средствами или страданиями, кроме Христовых, ни про торг с Богом, откупающийся от страданий добрым делом.

Все сие язычество остается при наследниках языческой мудрости, при людях, гордящихся местом и именем и областью, при учредителях осьмого таинства мертвой веры. Мы же молимся в духе Любви, зная, что никто не спасется иначе, как молитвою всеї Церкви, в которой живет Христос, зная и уповая, что покуда не пришло совершение времен, все члены Церкви живые и усопшие, непрестанно совершенствуются взаимною молитвою. Много выше нас святые, прославленные Богом; выше же всего Святая Церковь, вмещающая в себе всех святых и молящаяся за всех, как видно в боговдохновенной литургии. В молитве ее слышится и наша молитва, как бы мы ни были недостойными называться сынами Церкви. Если, поклоняясь и славя святых, мы просим, дабы прославил их Бог, мы не подпадаем обвинению в гордости; ибо нам, получившим позволение называть Бога Отцом, дано также позволение молиться: «да святится имя Его, да приидет Царствие Его, и да будет воля Его». И если нам позволено просить Бога, да прославит Он имя Свое, и совершает волю Свою: кто нам запретит просить, да прославит Он Своих святых и да упокоит Он Своих избранных? За неизбранных же

не молимся, как и Христос молился не о всем мире, но о тех, кого дал Ему Господь. Не говори: «какую молитву уделю живому или усопшему, когда моей молитвы недостаточно и для меня?» Ибо неумеющий молиться к чему бы ты и за себя? Молится же в тебе дух Любви. Также не говори: «к чему моя молитва другому, когда он сам молится и за него ходатайствует Христос?» Когда ты молишься, в тебе молится дух Любви. Не говори: «суда Божьего уже изменить нельзя»; ибо твоя молитва сама в путях Божиих и Бог ее предвидел. Если ты член Церкви, то молитва твоя необходима для всех ее членов. Если же скажет рука, что ей не нужна кровь остального тела, и она своей крови ему не даст, рука отсохнет. Так и ты Церкви необходим, покуда ты в ней; а если ты отказываешься от общения, ты сам погибаешь и не будешь уже членом Церкви. Церковь молится за всех и мы все вместе молимся за всех; но молитва наша должна быть истинною и истинным выражением Любви, а не словесным обрядом. Не умея всех любить, мы молимся о тех, кого любим и молитва наша лицемерна; просим же Бога, дабы можно было нам всех любить и за всех молиться нелицемерно. Кровь же Церкви — взаимная молитва и дыхание ее — славословие Божие. Молимся в духе Любви, а не пользы, в духе сыновней свободы, а не закона наемнического, просящего платы. Всякий спрашивающий: «какая польза в молитве?» признает себя рабом. Молитва истинная есть истинная Любовь.

Выше всего Любовь и Единение; Любовь же выражается многообразно: делом, молитвою и песнью духовною. Церковь благословляет все эти выражения Любви. Если ты не можешь выразить своей Любви к Богу словом, а выражаешь ее изображением видимым, то есть иконой, осудит ли тебя Церковь? Нет, но осудит осуждающего тебя, ибо он осуждает твою Любовь. Знаем, что и без иконы можно спастись и спасались, и если Любовь твоя не требует иконы, спасешься и без иконы; если же Любовь брата твоего

требует иконы, ты, осуждая Любовь брата, сам себя осуждаешь; и если ты, будучи христианином, не смеешь слушать без благоговения молитву или духовную песнь, сложенную братом твоим, как смеешь ты смотреть без благоговения на икону, созданную его Любовью, а не художеством? Сам Господь, знающий тайну сердец, благоволил не раз прославить молитву или псалом: запретишь ли ты Ему прославить икону или гробы святых? Скажешь ты: «Ветхий Завет запретил изображение Божие»; но ты, более Святой Церкви понимающий слова ее, (то есть писания), не понимаешь ли, что не изображение Божие запретил Ветхий Завет (ибо позволил и херувимов и медного змия и писание имени Божьего), но запретил человеку созидать себе Бога на подобие какого бы то ни было предмета земного или небесного, видимого или даже воображаемого.

Пишешь ли ты икону для напоминания о невидимом и невообразимом Боге, — ты не творишь себе кумира. Воображаешь ли себе Бога и думаешь, что Он похож на твое воображение, ты ставишь себе кумир, — таков смысл запрещения ветхозаветного. Икона же (красками писанное имя Божие) или изображение святых Его, созданное Любовью, не запрещается духом истины. Не говори: «перейдут-де христиане к идолопоклонству»; ибо дух Христов, хранящий Церковь, премудрее твоей расчетливой мудрости. — Посему можешь и без иконы спастись, но не должен ты отвергать иконы.

Церковь принимает всякий обряд, выражающий духовное стремление к Богу, так же как принимает молитву и икону; но выше всех обрядов признает она святую Литургию, в которой выражается вся полнота учения и духа церковного и выражается не условными какими-нибудь знаками или символами, но словом жизни и истины, вдохновенным свыше. Только тот понимает Церковь, кто понимает Литургию. Выше же всего единение Святости и Любви.

§ 10. Святая Церковь, исповедуя, что она чаёт воскресения мертвых и окончательного суда над всем человечеством, признает, что совершение всех ее членов исполнится с совершением ее самой, и что жизнь будущая принадлежит не духу только, но и телу духовному; ибо один Бог есть дух совершенно бестелесный. Посему она отвергает гордость тех, которые проповедуют учение о бестелесности за гробом и следовательно презируют тело, в коем воскрес Христос. Тело сие не будет телом плотским, но будет подобно телесности ангелов, как и сам Христос сказал, что мы будем подобны ангелам.

В последнем суде явится в полноте своей оправдание наше во Христе; не освящение только, но и оправдание: ибо никто не освятился и не освящается вполне, но еще нужно и оправдание. Все благое творит в нас Христос, в вере ли, в надежде ли, или в любви; мы же только покоряемся Его действию; но никто вполне не покоряется. Посему нужно еще и оправдание Христовыми страданиями и кровию. Кто же еще может говорить о заслуге собственных дел или о запасе заслуг и молитв? Только те, которые живут еще под законом рабства. Все благое творит в нас Христос, мы же никогда вполне не покоримся, никто, даже святые, как сказал сам Спаситель. Все творит благодать, и благодать дается даром и дается всем, дабы никто не мог роптать, но не всем равно, не по предопределению, а по предведению, как говорит апостол. Меньший же талант дан тому, в ком Господин предвидел нерадение, дабы отвержение большого дара не послужило к большему осуждению. И мы сами не растим дарованных талантов, но они отдаются купцам, чтобы и тут не могло быть нашей заслуги, но только несопротивление благодати растущей. Так исчезает разница между благодатью «достаточной и действующей». Все творит благодать. Покоряешься ли ей, в тебе совершается Господь и совершает тебя; но не гордись своей покорностью, ибо

и покорность твоя от благодати. Вполне же никогда не покоряемся; посему, кроме освящения — еще просим и оправдания.

Все совершается в совершении общего суда и Дух Божий, то есть дух Веры, Надежды и Любви, проявится во всей своей полноте, и всякий дар достигнет полного своего совершенства: — над всем же будет Любовь. Не должно однако же думать, что дары Божии, Вера и Надежда погибли (ибо они не раздельны с Любовью), но одна Любовь сохраняет свое имя, а Вера, пришедшая в совершенство, будет уже полным, внутренним ведением и видением; Надежда же будет радостью; ибо мы и на земле знаем, что чем сильнее она, тем радостнее.

§ 11. По воле Божией Святая Церковь, после отпадения многих расколов и Римского патриаршества, сохранилась в епархиях и патриаршествах Греческих и только те общины могут признавать себя вполне христианскими, которые сохраняют единство с восточными патриаршествами или вступают в сие единство. Ибо один Бог и одна Церковь, и нет в ней ни раздора ни разногласия.

Посему Церковь называется Православною или Восточною или Греко-Российскою; но все сии названия только названия временные. Не должно обвинять Церковь в гордости, потому что она называет себя Православною, ибо она же себя называет святою. Когда исчезнут ложные учения, не нужно будет и имя Православия; ибо ложного Христианства не будет. Когда распространится Церковь, или войдет в нее полнота народов, тогда исчезнут все местные наименования; ибо не связывается Церковь с какою-нибудь местностью и не хранит наследства языческой гордости; но она называет себя Единою, Святою, Соборною и Апостольскою, зная, что ей принадлежит весь мир и что никакая местность не имеет особого какого-либо значения, но временно может служить и служит для прославления имени Божьего, по Его неисповедимой воле.

Н Е С К О Л ь К О С Л О В П РА В О С Л А В Н О Г О Х Р И С Т И А Н И Н А О З А П А Д Н Ы Х В Е Р О И С П О В Е Д А Н И Я Х¹⁾

1.

Когда взводится клевета на целую страну, частные лица, граждане этой страны, имеют несомненное право за нее заступиться; но столько же имеют они и права встретить клевету молчанием, предоставив времени оправдание их отечества. Молчание в этом случае не может обратиться ему в ущерб, тем более, что в лице своего правительства и официальных своих представителей каждая страна пользуется защитой власти, па которой лежит обязанность блюсти ее достоинство и оборонять ее интересы. Человечество также не может понести никакого ущерба от более или менее лживых обвинений, взводимых на страну или народ невежеством или недоброжелательством.

Иное дело в области веры или Церкви. Как откровение Божественной истины на земле, будучи предназначена, по самому существу своему, сделаться общим отечеством для всех людей, Церковь ни одному из чад своих не разрешает молчания перед клеветою, против нее направленною и клонящейся к извращению ее догматов или ее начала. Область государства — земля и вещество; его оружие — меч вещественный. Единственная область Церкви — душа; единственный меч, которым она может пользоваться, который и врагами ее может быть с некоторым успехом против нее обращаем, есть слово. Поэтому, каждый из членов Церкви не только может по праву, но несет обязанность отвечать на клеветы, которым она подвергается. Молчание в этом случае, было бы преступлением не только по отношению к тем, кото-

¹⁾ Вышло в 1853 г. в Париже на французском языке. По-русски вышло впервые в 1867 г. Печатается с некоторыми выпусками.

рые пользуются счастьем принадлежать к Церкви, но также, и в еще большей степени, по отношению к тем, которые могли бы удостоиться того же счастья, если бы ложные представления не отклоняли их от истины. Всякий христианин, когда до него доходят нападки против веры, им исповедуемой, обязан, в меру своих познаний, оборонять ее, не выжидая особо-го на то полномочия: ибо у Церкви нет официальных адвокатов.

В силу этих соображений берусь и я за перо, чтобы отвечать, перед иностранными читателями и на чужом для меня языке, на несправедливое обвинение, направленное против вселенской и православной Церкви.

В статье, напечатанной в “*Revue des Deux Mondes*” и писанной, как кажется, русским дипломатом, г. Тютчевым, указано было на главенство Рима и в особенности на смешение в лице епископа-государя интересов духовных с мирскими, как на главную причину, затрудняющую разрешение религиозного вопроса на Западе. Эта статья вызвала в 1852 году ответ со стороны г. Лоранси, и этот то ответ требует опровержения.

Я оставляю в стороне вопрос о том, успел ли г. Тютчев в статье своей, достоинства которой не оспаривает даже и критик его, выразить мысль свою во всей ее широте и не смешал ли он, до некоторой степени, причины болезни с ее внешними признаками.

Не стану ни заступаться за своего соотечественника, ни критиковать его. Единственная цель моя: оправдать Церковь от странных обвинений, взводимых на нее г. Лоранси, и потому я не переступлю пределов вопроса религиозного. Желал бы я также избежать встречных обвинений, но этого я не могу. Мои путешествия по чужим странам и беседы с людьми просвещенными и даже учеными всех вероисповеданий, существующих в Европе, убедили меня в том, что Россия остается доселе для западного мира стра-

ною почти неведомою; но еще более неведома христианам, следующим за знаменем Римским или за хоругвью Реформы, религиозная мысль сынов Церкви. Поэтому, чтобы дать возможность читателям понять нашу веру и логичность ее внутренней жизни, мне необходимо будет, до некоторой степени, показать им, в каком свете представляются нам вопросы, о которых спорят между собой Рим и различные Германские исповедания. Я даже не могу дать обещания избегать неприязненности в выражении моей мысли; нет! Но я постараюсь быть справедливым и воздержаться от всякого обвинения не только похожего на клевету, но даже такого, которого основательность была бы сомнительна. А затем я вовсе и не гонюсь за честью прослыть равнодушным к тому, что считаю заблуждением.

Г. Лоранси взводит на Церковь два существенных обвинения. Первое заключается в том, будто бы она признает над собой главенство светской власти. На этом основании проводится между Римским исповеданием и православной Церковью сравнение, обращающееся естественно не в нашу пользу. «Папа, — говорит автор, — есть действительно государь светский, но не потому, что он первосвященник; а ваш владыка есть первосвященник, потому что он государь светский. На чьей же стороне истина?» Я не привожу подлинных, несколько растянутых выражений автора, но верно передаю их смысл. Прежде всего замечу мимоходом, что слово *первосвященник* чрезвычайно знаменательно и что Латиняне поступили бы благоразумно, перестав употреблять его. Оно слишком ясно указывает на родословную многих понятий, которых происхождение от Христианства более чем сомнительно. Еще Тертуллиан замечал это и употреблял выражение *Pontifex Maximus* в смысле ироническом. Затем, на первое обвинение, предъявленное г. Лоранси, я отвечу в коротких словах: оно сущая неправда; никакого главы Церкви, ни духовного, ни светского, мы не признаем. Христос ее глава и

другого она не знает. Поспешаю оговорить, что я отнюдь не обвиняю г. Лоранси в намеренной клевете. По всей вероятности, он впал в заблуждение невольно и я тем охотнее готов этому поверить, что много раз иностранцы при мне высказывали то же заблуждение, а между тем, казалось бы, малейшее размышление должно бы было разъяснить его.

Глава Церкви! Но позвольте спросить, хоть во имя здравого смысла, какой же именно Церкви? Неужели Церкви православной, которой мы составляем только часть? В таком случае, Император Российский был бы главою Церквей, управляемых патриархами, Церкви, управляемой Греческим Синодом и православных Церквей в пределах Австрии? Такой нелепости не допустит, конечно, и самое крайнее невежество. Или не глава ли он одной Русской Церкви? Но Русская Церковь не образует по себе особой Церкви: она не более как одна из епархий Церкви Вселенской. Стало быть надобно предположить, что Императору присвоивается титул собственно-епархиального главы, подчиненного юрисдикции обще-церковных соборов. Тут нет середины. Кто непременно хочет навязать нам в лице нашего Государя видимого главу Церкви, тому предстоит неизбежный выбор между двумя нелепостями.

Светский глава Церкви! Но этот глава имеет ли права священства? Имеет ли он притязание, не говорю уже на непогрешимость (хотя она-то и составляет отличительный признак главенства в Церкви), но хотя бы на какой-нибудь авторитет в вопросах вероучения? По крайней мере, имеет ли право решать, в силу присвоенной его сану привилегии, вопросы общецерковного благочиния (дисциплины)? Если ни на один из этих вопросов нельзя дать утвердительного ответа, то остается лишь подивиться полному отсутствию рассудительности, при котором только и могла явиться у писателя смелость бросить в нас обвинение столь неосновательное, и всеобщему невежеству, пропустившему это обвинение, не подвергнув его заслуженному

осмеянию. Конечно во всей Российской Империи не найдется купца, мещанина или крестьянина, который, услышав подобное суждение о нашей Церкви, не принял бы его за злую насмешку.

Правда, выражение глава местной Церкви употреблялось в законах империи; но отнюдь не в том смысле, какой присвоивается ему в других землях; и в этом случае разница так существенна, что непозволительно обращать это выражение в орудие против нас, не попытавшись, по крайней мере, понять предварительно его значение. Этого требует справедливость и добросовестность.

Когда, после многих крушений и бедствий, Русский народ, общим советом, избрал Михаила Романова своим наследственным государем (таково высокое происхождение императорской власти в России), народ вручил своему избраннику всю власть, какую облечен был сам, во всех ее видах. В силу избрания, Государь стал главою народа в делах церковных, так же как и в делах гражданского управления, повторяю — главою народа в делах церковных и, в этом смысле, главою местной Церкви, но единственно в этом смысле. Народ не передавал и не мог передать своему Государю таких прав, каких не имел сам, а едва ли кто-либо предположит, чтобы русский народ когда-нибудь почитал себя призванным править Церковью. Он имел изначала, как и все народы, образующие православную Церковь, голос в избрании своих епископов, и этот свой голос он мог передать своему представителю. Он имел право, точнее обязанность блюсти, чтобы решения его пастырей и их соборов приводились в исполнение; это право он мог доверить своему избраннику и его преемникам. Он имел право отстаивать свою веру против всякого неприязненного или насильственного на нее нападения; это право он также мог передать своему Государю. Но народ не имел никакой власти в вопросах совести, обще церковного благочиния, догматического учения, Церковного управления, а потому не мог передать

такой власти своему Царю. Это вполне засвидетельствовано всеми последующими событиями. Низложен был патриарх; но это совершилось не по воле государя, а по суду восточных патриархов и отечественных епископов. Позднее, на место патриаршества, учрежден был Синод; и эта перемена введена была не властью государя, а теми же восточными епископами, которыми, с согласия светской власти, патриаршество было в России установлено. Эти факты достаточно показывают, что титул главы Церкви означает народонадальника в делах церковных; другого смысла он в действительности не имеет и иметь не может; а как только признан этот смысл, так обращаются в ничто все обвинения, основанные на двусмыслии.

Но не поможет ли нашим обвинителям история Византии уликами, которых не дает им история русская? Не подумают ли они найти в Византии, вместе с государственным гербом ее и с императорским титулом, и верование в светского главу Церкви? Не предположить ли за один раз, что это верование подкрепляется указанием на того из Палеологов, которого отчаяние и желание купить помощь от Запада ввергли в отступничество? Или на Исаврийцев, которые своими подвигами восстановили военную славу империи, но вовлечены были в ересь своею худо направленною ревностью и слепую самоуверенностью (за что, конечно, протестантские историки нашего времени не упустили их похвалить)? Или на Ираклия, который спас государство, но открыто покровительствовал монофелизму? Или наконец на самого сына Константинова, того Констанция, чья железная рука смяла папу Либерия и сама сокрушилась о святу, неустрашимость епископа Александрийского? От Византии заимствовали бы мы учение, в силу которого следовало бы признать главами Церкви всех этих царей-еретиков, царей-отступников и еще многих других царей, которых патриархи отлучали за нарушение правил церковного благочиния! На

обращенный к ней вопрос о мнимом главенстве истории Восточной Империи отвечает еще яснее чем русская и ответ ее таков, что нам нет причины отрицать преемство византийской мысли. Мы думаем и теперь, так же как и греки, что Государь, будучи главой народа во многих делах, касающихся Церкви, имеет право, так же как и все его подданные, на свободу совести в своей вере и на свободу человеческого разума; но мы не считаем его за прорицателя, движимого незримою силой, каким представляют себе Латиняне епископа Римского. Мы думаем, что, будучи свободен, Государь, как человек, как и всякий человек, может впасть в заблуждение и что если бы, чего не дай Бог, подобное несчастье случилось, несмотря на постоянные молитвы сынов Церкви, то и тогда Император не утратил бы ни одного из прав своих на послушание своих подданных в делах мирских; а Церковь не понесла бы никакого ущерба в своем величии и в своей полноте: ибо никогда не изменит ей единственный ее Глава. В предположенном случае одним христианином стало бы меньше в ее лоне — и только.

Другого толкования Церковь не допускает; но смолкнет ли перед ним клевета? Опасаюсь, что нет. Повторение клеветы представляет собой своего рода выгоды и, чтобы не лишиться их, недоброжелательство, пожалуй, напустит на себя притворное невежество, вдобавок к действительному (а в иных случаях, нет недостатка и в последнем). Оно, пожалуй, возразит нам императорскою подписью, прилагаемой к постановлениям Синода, как будто бы право обнародования законов и приведения их в исполнение было тождественно с властью законодательною. Оно возразит нам еще влиянием Государя на назначение епископов и членов Синода, заменившего патриаршество, как будто бы, в древности, избрание епископов и членов Синода не исключая и римских, не зависело от светской власти (народа или государя), и как будто бы, наконец, и в настоящее время, во многих странах

римского исповедания такая зависимость не встречалась довольно часто.²⁾

Трудно угадать, какие еще отводы может избрести злонамеренность и недобросовестность; но после сказанного мною, люди совестливые (к числу которых, я в этом уверен, принадлежит и г. Лоранси) не позволят себе повторить обвинение, лишенное всякого основания и смешное в глазах всякого человека беспристрастного и просвещенного.

Не так легко опровергнуть второе обвинение на Церковь, взведенное г. Лоранси: ибо оно основано не на факте, а на предполагаемом направлении. Нас обвиняют в стремлении к Протестантизму. Я оставляю в стороне вопрос о том, не противоречит ли это второе обвинение первому? — ибо теперь, когда уже доказана несостоятельность первого, несовместимость его со вторым не может служить доводом в нашу пользу. Я приступлю к вопросу прямо, не уклоняясь ни от каких доводов правдоподобных или хотя бы имеющих вид правдоподобия, которыми могли бы воспользоваться наши противники: ответ на них даст мне случай разъяснить, хотя отчасти, слишком превратно понимаемый характер Православия. Но предварительно не могу не предложить вопроса, кажется, нового, или по крайней мере, сколько мне известно, вполне еще не исследованного. По какой причине Протестантство, оторвав у Папизма половину или без малого половину его последователей, замерло у пределов мира православного? Нельзя объяснить этого факта племенными особенностями; ибо Кальвинизм достиг значительного могущества в Чехии, в Польше, в Литве, в Венгрии, и внезапно остановился не перед другим племенем, а перед другой верою. Над этим вопросом стоило бы мыслителям призадуматься.

²⁾ Я говорю только о принципе, притом — с точки зрения Церкви, а не о применении, которое, как и все на свете, может быть во многих случаях недостаточно или не чуждо злоупотреблений.

Предполагаемое стремление к Протестантству может быть исследовано только в области начал; но прежде чем я приступлю к рассмотрению внутренней логики православного вероучения и покажу совершенную несовместимость ее с обвинением, предъявленным г. Лоранси (а до него бесчисленным множеством писателей одной с ним веры), считаю небесполезным рассмотреть исторический факт.

Западный раскол (читатели позволят мне употребить это выражение, ибо иного совесть моя не допускает) насчитывает уже более тысячи лет существования, принимая за начало его действительное, хотя еще окончательно и не заявленное, отпадение Запада. Отчего же с этого времени Церковь, управляемая патриархами, не породила своего, доморожденного протестантства? Отчего, по крайней мере, не обнаружила она до сих пор решительного влечения к реформе, какой бы то ни было? На Западе дело шло скорее. Едва протекло три века, как уже предтечи Лютера и Кальвина выступали вперед, с поднятым челом, самоуверенной речью, определенными началами и установившимися учениями. Не станет же серьезная полемика возражать нам указанием на ереси и расколы, возникшие в России. Конечно мы горько оплакиваем эти духовные язвы нашего народа; но было бы крайне смешно жалкие порождения невежества, а еще более неразумной ревности к сохранению каких-нибудь старинных обрядов, сопоставлять протестантству ученых предтеч Реформы; ибо я говорю не о Кафарах или Вальденцах, явившихся на юге, не о Пикардийцах и Лоллардах, явившихся на севере, но о людях, которые, как Окгам, или Виклеф, или бессмертный Гус, совмещали в себе всю современную им ученость и могли смело вступать в состязание со всеми богословскими снарядами Рима, не боясь никаких поражений, кроме разумеется тех, которые могла им нанести рука светской власти. Я говорю о людях, которые, умирая не хуже христиан первых веков, с высоты победных костров обращали к пала-

чам своим слова, проникнутые святой и нежной любовью: “*Sancta simplicitas*” (святая простота), и этим самым провозглашали, что не в невежестве искали они для себя орудий и не на нем воздвигали здание своей веры. Как же могло случиться, что Восток, при предполагаемом в нем стремлении к протестантизму, не произвел ни подобных людей, ни подобных религиозных движений? Не припишут ли этого несчастной судьбе Восточной Империи? Если не ошибаюсь, такое объяснение было уже предположено гр. де-Местром; но оно конечно никого не удовлетворит, за исключением разве самых поверхностных умов.

Византийская Империя и после времен папы Николая I-го насчитывала довольно ясных дней и славных эпох; достаточно указать на целый ряд побед, одержанных над сарацинами, перед которыми в те времена трепетала Европа. К тому же, при некотором понимании умственного характера греков, нельзя и предполагать, чтобы политика могла когда-либо отвлечь их от вопросов веры. Не припишут ли отсутствие протестантского стремления невежеству Востока? Но и после девятого века Греция выставила немало великих ученых, проницательных философов и глубокомысленных богословов; Запад многим им обязан и, кажется, мог бы об них помнить. Затем, эта русская держава, в постепенном ее вырастании, конечно, представляла довольно простора для новых учений. Разве предположить в ней равнодушие к вере? Пожалуй, и такое объяснение можно пустить в ход, и, вероятно, большинство читателей удовлетворится им; тем не менее оно будет совершенно ложно. У нас интерес религиозный преобладает над всем: в этом не усомнятся ни те, которым случалось присутствовать на оживленных спорах, ежегодно происходящих на большой Кремлевской площади, ни те, которым известно, что иностранных путешественников до петровских времен приводило в изумление деятельное участие народа, на всех перекрестках Москвы, в

религиозных прениях, возникших между северною и южною Россіей о священнодействіи евхаристіи. Итак, обвиненіе в стремленіи к протестантству решительно опровергается свидѣтельством исторіи. Таким опроверженіем, можетъ быть, удовлетворились бы люди, слывущіе практическими по преимуществу, те люди, которые не признаютъ в области возможнаго ничего такого, что бы не было повтореніемъ былаго, и видятъ в исторіи не болѣе какъ рядъ плеоназмовъ; но, по моему, это опроверженіе еще недостаточно. Известное начало могло бытъ парализовано историческими фактами, не высмотренными или не оцененными в мѣру ихъ действительной важности, теми бесчисленными, невесомыми силами, которыми приводятся в движеніе крупныя народныя массы и которыхъ современники движенія часто не видятъ. Обыкновенно, в подобныхъ случаяхъ, неведеніе современниковъ переходитъ по наслѣдству къ ихъ потомкамъ и оттого историки, чтобы выпутаться какъ-нибудь изъ затрудненій в объясненіи прошедшаго, такъ часто призываютъ на помощь «слепую случайность» материалистовъ, или «роковую необходимость», по ученію немецкихъ идеалистовъ правящую судьбами человѣчества, или, наконецъ, «божественное вмѣшательство» религиозныхъ писателей. В сущности, во всехъ этого рода объясненіяхъ почти всегда выражается не что иное, какъ сознаніе в умственной несостоятельности: ибо, если, с одной стороны, нельзя по справедливости не признавать путей Промысла в общемъ ходѣ исторіи, то, с другой, — неразумно и даже едва ли сообразно съ христіанскимъ смиреніемъ брать на себя угадываніе «минутъ» непосредственнаго действия воли Божіей на дела человѣческіе. Какъ бы то ни было, в области религиозныхъ идей отсутствіе того или другаго факта, хотя бы оно длилось нѣсколько вековъ сряду, оправдываетъ только догадку, болѣе или менѣе правдоподобную, что и самаго стремленія къ такому факту нѣтъ в этихъ идеяхъ, но отнюдь еще не доказываетъ невозможности факта в будущемъ. Чтобы в этомъ убѣдиться окончательно и

возвести историческую вероятность на степень логической достоверности, нужно вывести эту невозможность из самого религиозного принципа.

Что такое Протестантство? Скажут ли, что отличительность его в самом акте протеста, предъявленного по вопросу веры? Но если так, то Протестантами были бы апостолы и мученики, протестовавшие против заблуждений Юдаизма и против лжи идолопоклонства; все отцы Церкви были бы протестанты, ибо и они протестовали против ересей; вся Церковь постоянно была бы в Протестантстве, ибо и она, постоянно, во все века, протестует против заблуждений каждого века. Ясно, что слово протестант не определяет ничего. В чем же искать определения? Не заключается ли сущность Протестантства в свободе исследования? Но апостолы свободное исследование дозволяли, даже вменяли в обязанность; но святые отцы свободным исследованием защищали истины веры (свидетель в особенности великий Афанасий в героической борьбе своей против Арианства); но свободное исследование, так или иначе понятое, составляет единственное основание истинной веры. Правда, Римское исповедание, повидимому, осуждает свободу исследования; но вот человек, исследовав свободно все авторитеты писания и разума, пришел к признанию всего учения латинян: отнесутся ли они к нему как к протестанту? Другой, воспользовавшись тою же свободой исследования, убедился только в том, что догматические определения пап непогрешительны и что остается лишь покориться им — осудят ли его как протестанта? А между тем, не путем ли свободного исследования пришел он к этому убеждению, которое неизбежно должно заставить его принять сполна все учение? Наконец, всякое верование, всякая смыслящая вера, есть акт свободы и непременно исходит из предварительного свободного исследования, которому человек подверг явления внешнего мира или внутренние явления своей души, со-

бытия минувших времен или свидетельства своих современников. Смеем сказать более: и в случаях, когда глас самого Бога непосредственно взыскивал и воздвигал душу падшую или заблудшую, душа повергалась ниц и поклонялась, опознав предварительно Божественный голос; и здесь начало обращения в акте свободного исследования. В этом отношении христианские исповедания отличаются одно от другого только тем, что некоторые из них разрешают исследование всех данных, другие же ограничивают число предметов исследования. Приписывать право исследования одному Протестантству значило бы возводить его на степень единственной смыслящей веры; но это, конечно, было бы не по вкусу его противникам и все мыслители сколько-нибудь серьезные отклонят такое предложение. Спрашивается, наконец: не в реформе ли, не в акте ли преобразования, искать сущности Протестантства? Действительно, само Протестантство, в первой поре своего развития, надеялось утвердить за собой такое значение. Но ведь и Церковь постоянно реформировала свои обряды и правила и никому не приходило на мысль назвать ее ради этого Протестантскою. Стало быть, Протестантство и Реформа вообще не одно и то же.

Протестантство значит предъявление сомнения в существующем догмате: иными словами, отрицание догмата, как живого предания, короче — Церкви.

Теперь спрашиваю каждого добросовестного человека: обвинять в Протестантских стремлениях Церковь, постоянно остававшуюся верной своему преданию, никогда не позволявшую себе ни прибавлять к нему, ни исключать из него что бы то ни было, Церковь, взирающую и на Римское исповедание как на раскол от нововведений; на такую Церковь взводить такое обвинение, не есть ли верх безумия?

Мир протестантский отнюдь не мир свободного исследования, ибо свобода исследования принадлежит всем людям. Протестантство есть мир, отрицающий другой мир. Отнимите у него этот другой отри-

цаемый им мир и Протестантство умрет: ибо вся его жизнь в отрицании. Свод учений, которого оно пока придерживается, труд, выработанный произволом нескольких ученых и принимаемый апатическим легковерием нескольких миллионов невежд, стоит еще только потому, что в нем ощущается надобность для противодействия напору Римского исповедания. Как скоро исчезает это ощущение, Протестантство тотчас разлагается на личные мнения, без общей связи. И будто к этой цели стремится Церковь, которой вся забота относительно других исповеданий, в продолжение восемнадцати веков, возбуждалась единственно желанием узреть возврат всех людей к истине? В вопросе, как он ставится, лежит и ответ.

Но этого мало. Я надеюсь доказать, что если бы впоследствии дух лжи когда-нибудь и вызвал в недрах Церкви какие-либо новые ереси или расколы, то и тогда заблуждение, в ней возникшее, не могло бы явиться на первых порах с характером протестантским, и что такой характер оно могло бы принять разве только впоследствии и то не иначе как пройдя целый ряд превращений, как это и было на Западе.

Прежде всего нужно заметить, что протестантский мир распадается на две части, далеко не равные по числу своих последователей и по своему значению (этих частей не надобно смешивать). Одна имеет свое логическое предание, хотя и отвергает предание более древнее. Другая довольствуется преданием иллогическим. Первая слагается из квакеров, анабаптистов и др. того же рода сект. Вторая заключает в себе все прочие секты, называемые реформатскими.

У обеих половин Протестантства одно общее — это их точка отправления: обе признают в церковном предании перерыв, длившийся несколько веков; далее они расходятся в своих началах. Первая половина, почти порвавшая все связи с Христианством, допускает новое откровение, непосредственное наитие Божественного духа, и на этом основании старается построить одну Церковь, или многие Церкви, предпо-

лагаая в них предание несомненное и постоянное вдохновение. Здесь основная данная, может быть, ложна: но ее применение и развитие совершенно рациональны: предание, признаваемое как факт, получает и логическое оправдание. Совсем иное на другой половине протестантского мира. Там, на деле, принимают предание и, в то же время, отрицают начало, в котором предание находит свое оправдание. Это противоречие выяснится примером. В 1847 г., спускаясь по Рейну на пароходе, я вступил в разговор с почтенным пастором, человеком образованным и серьезным. Беседа наша, мало-помалу, перешла к предметам веры и, в частности, к вопросу о догматическом предании, законности которого пастор не признавал. Я спросил у него, к какому вероисповеданию он принадлежит? Оказалось, что он лютеранин. — «А на каких основаниях отдает он предпочтение Лютеру перед Кальвином?» — Он привел мне весьма ученые доводы. В эту минуту слуга, его сопровождавший, подал ему стакан лимонаду. Я просил пастора сказать мне, к какому вероисповеданию принадлежит его слуга? — «Тот был также лютеранин». — «Он-то на каких основаниях, — спросил я, — отдал предпочтение Лютеру перед Кальвином?» — Пастор смолчал, и на лице его выразилось неудовольствие. Я поспешил уверить его, что отнюдь не имел намерения его оскорбить, но хотел только показать ему, что и в протестантстве есть предание. Несколько озадаченный, но попрежнему благодушный, пастор в ответ на мои слова выразил надежду, что, со временем, невежество, которым обуславливается это подобие предания, рассеется перед светом науки. — «А люди с ограниченными способностями? — спросил я. — А большая часть женщин, а чернорабочие, едва успевающие добывать себе насущный хлеб; а дети, а, наконец, незрелые юноши, едва ли более способные чем дети судить об ученых вопросах, на которых расходятся последователи Реформы?» — Пастор замолчал и после нескольких минут размышления проговорил:

«Да, да, это конечно еще вопрос; я об этом подумую». — Мы расстались. Не знаю, думает ли он до сих пор, но знаю, что предание, как факт, несомненно, существует у реформатов, хотя они всеми силами отвергают его принцип и законность; знаю и то, что они не могут ни поступить иначе, ни выпутаться из этого неизбежного противоречия. В самом деле, что те религиозные общества, которые признают все свои учения боговдохновенными и приписывают боговдохновенность своим основателям, с которыми состоят в связи непрерывного преемства, в то же время, скрытно или явно, признают и предание — в этом нет ничего противного логике. Но по какому праву стали бы пользоваться поддержкой предания те, которые утверждают свои верования на научном знании своих предшественников? Есть люди верующие, что Римский двор получает себе вдохновение с неба, что Фокс или Иоанн Лейденский были верными органами Божественного Духа. Может быть, эти люди и заблуждаются; тем не менее, понятно, что для них становится вполне обязательным все то, что определено этими лицами, избранными свыше. Но верить в непогрешимость науки, притом науки, вырабатывающей свои положения путем спора, противно здравому смыслу. Поэтому, все реформатские ученые, отвергающие предание как непрерывное откровение, поневоле обязаны смотреть на всех своих братьев, менее ученых, чем они, как на людей, вовсе лишенных действительного верования. Если бы они захотели быть последовательными, то должны были бы сказать им: «друзья и братья, законной веры у вас нет и не будет, пока вы не сделаетесь богословами, такими как мы. А покамест, пробивайтесь как-нибудь без нее!» Такая речь, может быть и неслыханная, была бы, конечно, делом чистосердечия. Очевидно, что большая половина протестантского мира довольствуется преданием, по ее собственным понятиям незаконным; а другая половина, более последовательная, так далеко отклонилась от Христианства, что в настоящем слу-

чае нечего на ней и останавливаться. — Итак, отличительный характер Реформы заключается в отсутствии законного предания. Что же из этого следует? Следует то, что Протестантство отнюдь не расширило прав свободного исследования, а только сократило число несомненных данных, которые оно подвергает свободному исследованию своих верующих (оставив им одно писание), подобно тому как и Рим сократил это число для большей части мирян, отобрав у них писание.

Ясно, что Протестантство, как Церковь, не в силах удержаться и что отвергнув законное предание, оно отняло у себя всякое право осудить человека, который, признавая божественность священного писания, не высматривал бы в нем опровержение заблуждений Ария или Нестория; ибо такой человек был бы неправ перед наукой, а не перед верой. Впрочем, я теперь не нападаю на реформатов; для меня важно выяснить необходимость, заставившую их стать на почву, ими теперь занимаемую, проследить логический процесс, который их к тому принудил, и показать, что такого рода необходимость и такого рода процесс в Церкви невозможны.

Со времени своего основания апостолами Церковь была едина. Это единство, обнимавшее весь в то время известный мир, связывавшее Британские острова и Испанию с Египтом и Сирией, никогда не было нарушаемо. Когда возникала ересь, весь христианский мир отряжал своих представителей, своих высших сановников, на торжественные собрания, называемые соборами. Эти соборы, несмотря на беспорядки, а иногда и на насилия, затмевавшие их чистоту, мирным своим характером и возвышенностью вопросов, подлежавших их решению, выдаются в истории человечества, как благороднейшее из всех ее явлений. Вся Церковь принимала или отвергала определения соборов, смотря по тому, находила ли их подобными или противными своей вере и своему преданию, и присвоивала название соборов вселенских

тем из них, в постановлениях которых признавала выражение своей внутренней мысли. Таким образом, к их временному авторитету по вопросам дисциплины присоединялось значение непререкаемых и непреложных свидетельств в вопросах веры. Собор вселенский становился голосом Церкви. Даже ереси не нарушали этого Божественного единства: они носили характер заблуждений личных, а не расколов целых областей или епархий. Таков был строй церковной жизни, внутренний смысл которого давно уж стал совершенно непонятен для всего Запада.

Перенесемся теперь в последние года восьмого или в начало девятого века и представим себе странника, пришедшего с Востока в один из городов Италии или Франции. Проникнутый сознанием этого древнего единства, вполне уверенный, что он находится в среде братьев, входит он в храм, чтобы освятить последний день седмицы. Сосредоточенный в благоговейных помыслах и полный любви, он следит за богослужением и вслушивается в дивные молитвы, с раннего детства радовавшие его сердце. До него доходят слова: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святого Духа». Он прислушивается. Вот возглашается в Церкви символ веры Христианской и католической, тот символ, которому всякий христианин обязан служить всей жизнью и за который, при случае, обязан жертвовать жизнью. Он прислушивается. — Да это символ испорченный, какой-то новый, неизвестный символ! Наяву ли он это слышит, и не нашло ли на него тяжелое сновидение? Он не доверяет слуху, начинает сомневаться в своих чувствах. Он осведомляется, просит пояснений. Ему приходит на ум: не забрел ли он в собор раскольников, отвергнутых местною Церковью... Увы нет! Он слышал голос самой местной Церкви. Целый патриархат, и самый обширный, целый мир отпал от единства... Сокрушенный странник сетует: его утешают. — «Мы ведь прибавили самую малость», — говорят ему, как и теперь твердят нам латиняне. — «Если ма-

лость, то к чему было прибавлять?» — «Да это вопрос чисто отвлеченного свойства». — «Почему же знаете вы, что вы его поняли?» — «Да это наше местное предание». — «Как же оно могло найти место в символе вселенском, вопреки положительному определению вселенского собора, воспретившего всякое изменение в символе?» — «Да это предание общецерковное, которого смысл мы выразили, руководствуясь местным мнением». — «Однако такого предания мы не знаем; да и во всяком случае, каким образом местное мнение могло найти место в символе вселенском? Не всей ли Церкви, в ее совокупности, дано разумение Божественных истин? Или мы чем-нибудь заслужили отлучение от Церкви? Вы не только не думали обратиться к нам за советом, вы даже не взяли на себя заботы предупредить нас. Или мы уж так низко упали? Однако, не более одного века тому назад, Восток произвел величайшего из христианских поэтов и, может быть, славнейшего из богословов, Дамаскина. Да и теперь между нами насчитываются исповедники, мученики веры, ученые философы, исполненные разума Христианства, подвижники, которых вся жизнь есть непрерывная молитва. За что же нас отвергли?» — Но, что бы ни говорил бедный странник, а дело было сделано: разрыв совершился. Самым действием своим (то есть самовольным изменением символа) Римский мир подразумевательно заявил, что в его глазах весь Восток был не более как мир илотов в делах веры и учения. Церковная жизнь кончилась для целой половины Церкви.

Я не касаюсь сущности вопроса. Пусть верующие в святость догмата и в Божественный дух братства, завещанный от Спасителя апостолам и всем христианам, пусть спросят они самих себя: пренебрежением ли к братьям и отвержением ли невинных выслушивается ясность разума и Божественная благодать, отверзающая внутренний смысл таинственного? Мое дело: показать, откуда пошло Протестантство.

Нельзя приписывать этого переворота одному Папству. Это была бы слишком великая для него честь, или, с другой точки зрения, слишком великая для него обида. Хотя Римский престол вероятно придерживался одинаковых мнений с местными Церквями, во главе которых он стоял, но он тверже хранил память о единстве. Несколько времени он упирался; но ему пригрозили расколом; светская власть приступила к нему с настойчивыми требованиями. Наконец, он уступил, может быть радуясь внутренно, что этим избавлялся на будущее время от препон, которые встречал со стороны независимых Церквей Востока. Как бы то ни было, переворот был делом не одного папы, а всего Римского мира, и дело это освятилось в понятиях той среды отнюдь не верованием в непогрешимость Римского епископа, а чувством местной гордости. Верование в непогрешимость было впереди, а в то время, когда совершилось отпадение, папа Николай I-й писал еще к Фотию, что в вопросах веры последний из христиан имеет такой же голос, как и первый из епископов. Но последствия переворота не замедлили обнаружиться и западный мир увлечен был в новый путь.

Частное мнение, личное или областное (это все равно), присвоившее себе в области вселенской Церкви право на самостоятельное решение догматического вопроса, заключало в себе постановку и узаконение Протестантизма, то есть свободы исследования, оторванной от живого предания о единстве, основанном на взаимной любви. Итак, Романизм, в самый момент своего происхождения, заявил себя Протестантизмом. Надеюсь, что люди добросовестные в этом убедятся; надеюсь также, что дальнейшие выводы уяснят это еще более.

Право решения догматических вопросов внезапно как бы переставилось. Прежде оно составляло принадлежность целой вселенской Церкви: отныне оно присвоивалось Церкви областной. Это право могло

быть за ней укреплено на двояком основании: в силу свободы исследования, откинувшей живое предание, или в силу признания за известною географически очерченной местностью исключительной привилегии на обладание Святым Духом. На деле принято было первое из этих начал, но провозгласить и узаконить его как право было рано: прежний строй церковной жизни был еще слишком памятен, первое начало было слишком неопределенно и потому столь противно здравому смыслу, что не было возможности на нем укрепиться.

Естественно возникла мысль приурочить монополию боговдохновенности к одному престолу, древнейшему из всех на Западе и наиболее чтимому всей вселенной; это было благовиднее и в меньшей степени оскорбляло человеческий разум. Правда, можно было бы на это возразить, выведя на справку отступничество папы Либерия и осуждение, произнесенное против папы Онория вселенским собором (как видно, не предполагавшим в нем непогрешимости); но эти факты, мало-помалу, изглаживались из памяти людей, и можно было надеяться, что нововводимое начало восторжествует. Оно, действительно, восторжествовало, и западное Протестантство притаилось под внешним авторитетом. Такое явление нередко в политическом мире. Иначе и быть не могло; ибо, на место удалившегося Духа Божьего, наступило царство чисто-рационалистической логики. Новосозданный деспотизм сдержал безначалие, впущенное в Церковь предшествовавшим нововведением, то есть расколом, основанном на независимости областного мнения.

Я теперь не возражаю на самый догмат о главенстве папы; моя задача — показать, каким путем, через посредство романизма, совершился переход от учения Церкви к началу Реформы, ибо непосредственный переход от первого к последнему был невозможен.

Авторитет папы, заступивший место вселенской непогрешимости, был авторитет внешний. Христианин, некогда член Церкви, некогда ответственный участник в ее решениях, сделался подданным Церкви. Она и он перестали быть единым: он был вне ее, хотя оставался в ее недрах. Дар непогрешимости, присвоенный папе, ставился вне всякого на него влияния нравственных условий, так что, ни испорченность всей христианской среды, ни даже личная испорченность самого папы не могли иметь на непогрешимость никакого действия. Папа делался каким-то оракулом, лишенным всякой свободы, каким-то истуканом из костей и плоти, приводимым в движение затаенными пружинами. Для Христианина этот оракул ниспадал в разряд явлений материального свойства, тех явлений, которых законы могут и должны подлежать исследованиям одного разума; ибо внутренняя связь человека с Церковью была порвана. Закон чисто внешний, и следовательно рассудочный, заступил место закона нравственного и живого, который один не боится рационализма, ибо объемлет не только разум человека, но и все его существо.

Государство от мира сего заняло место христианской Церкви. Единый живой закон единения в Боге вытеснен был частными законами, носящими на себе отпечаток утилитаризма и юридических отношений. Рационализм развился в форме властительских определений; он изобрел чистилище, чтобы объяснить молитвы за усопших; установил между Богом и человеком баланс обязанностей и заслуг, начал прикидывать на весы грехи и молитвы, проступки и искупительные подвиги; завел переводы с одного человека на другого, узаконил обмены мнимых заслуг; словом, он перенес в святилище веры полный механизм банковского дома. Единовременно Церковь-государство вводила государственный язык — язык латинский; потом она привлекла к своему суду дела мирские; затем взялась за оружие и стала снаряжать сперва не-

стройные полчища крестоносцев, впоследствии постоянные армии (рыцарские ордена), и, наконец, когда меч был вырван из ее рук, она выдвинула в строй вышколенную дружину Иезуитов. Повторяю: дело теперь не в критике. Отыскивая источники протестантского рационализма, я нахожу его переряженным в форме Римского рационализма и не могу не проследить его развития. О злоупотреблениях нет речи, я придерживаюсь начал. Вдохновенная Богом Церковь для западного христианина сделалась чем-то внешним, каким-то прорицательным авторитетом, авторитетом как бы вещественным: она обратила человека себе в раба и, вследствие этого, нажила себе в нем судьбу.

«Церковь — авторитет, — сказал Гизо, в одном из замечательнейших своих сочинений. А один из его критиков, приводя эти слова, подтверждает их. При этом ни тот ни другой не подозревают, сколько в них неправды и богохульства. Бедный Римлянин! Бедный Протестант! Нет — Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина!

Истина и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его; ибо Бог, Христос, Церковь живут в нем жизнью более действительною, чем сердце, бьющееся в груди его, или кровь, текущая в его жилах; но живут, поколику он сам живет вселенской жизнью любви и единства, то есть жизнью Церкви. Но таково до сих пор ослепление западных сект, что ни одна из них не уразумела еще, как существенно отличается та почва, на которую они стали, от той, на которой издревле стояла и вечно будет стоять первобытная Церковь.

В этом отношении латиняне находятся в полном заблуждении. Сами — рационалисты во всех своих верованиях, а других обвиняют в рационализме; сами — протестанты с первой минуты своего отпадения, а

осуждают произвольный бунт своих взбунтовавшихся братьев. С другой стороны, обвиненные протестанты, имея полное право обратить упрек против своих обвинителей, не могут этого сделать потому, что сами они не более как продолжатели Римского учения, только применяемого ими по-своему. Как только авторитет сделался внешнею властью, а познание религиозных истин отрешилось от религиозной жизни, так изменилось и отношение людей между собой: в Церкви они составляли одно целое, потому что в них жила одна душа; эта связь исчезла, ее заменила другая — общеподданническая зависимость всех людей от верховной власти Рима. Как только возникло первое сомнение в законности этой власти, так единство должно было рушиться. Ибо учение о папской непогрешимости утверждалось не на святости вселенской Церкви; да и западный мир, в то время как он присвоивал себе право изменять, или, как говорят римляне, разъяснять символ и ставить ни во что, как незаслуживающее внимания, мнение восточных братьев, не заявлял даже и притязания на относительно высшую степень нравственной чистоты. Нет, он просто ссылался на случайную особенность епископского преемства, как будто бы другие епископы, поставленные апостолом Петром, независимо от места их пребывания, не были такими же его преемниками, как и епископ Римский! Никогда Рим не говорил людям: «Один тот может судить меня, кто совершенно свят, но тот будет всегда мыслить как я». Напротив, Рим разорвал всякую связь между познанием и внутренним совершенством духа; он пустил разум на волю, хотя, повидимому, и попирали его ногами.

И разум человеческий воспрянул, гордясь созданою для него независимостью логического самоопределения и негодуя на оковы, произвольно на него наложенные; так возникло Протестанство, законное по своему происхождению, хотя и непокорное исчадие романизма! В известном отношении, оно представляет собой известного рода реакцию христианской мысли

против заблуждений, господствовавших в продолжение веков; но, повторяю, по происхождению своему, оно не секта первобытного Христианства, а раскол, порожденный Римским верованием. Поэтому-то Протестантство и не могло распространиться за пределы мира, подвластного папе. Этим объясняется исторический факт, о котором я говорил выше.

Не трудно было бы показать на учении реформатов неизгладимое Римское клеймо и дух утилитарного рационализма, которым отличается Папизм. Выводы, правда, не одинаковы; но посылки и определения, подразумеваемо в них заключающиеся, всегда тождественны. Папство говорит: «Церковь всегда молилась за усопших, но эта молитва была бы бесполезна, если бы не было промежуточного состояния между раем и адом: следовательно есть чистилище». Реформа отвечает: «Нет следов чистилища ни в священном писании, ни в первобытной Церкви: следовательно, бесполезно молиться за усопших и я не буду молиться». Папство говорит: «Церковь обращается к заступничеству святых; следовательно оно полезно, следовательно восполняет заслуги молитвы и подвигов удовлетворения». Реформа отвечает: «Удовлетворение за грехи кровию Христа, усвояемое верою в крещении и в молитве, достаточно для искупления не только человека, но и всех миров; следовательно ходатайство за нас святых бесполезно и не зачем обращаться к ним с молитвами».

Ясно, что обеим сторонам одинаково непонятно святое общение душ. Папство говорит: «Вера по свидетельству апостола Иакова недостаточна; следовательно верою мы не можем спастись, и следовательно дела полезны и составляют заслугу». Протестантство отвечает: «Одна вера спасает, по свидетельству апостола Павла, а дела не составляют заслуги: следовательно бесполезны» и т. д. и т. д.

Таким образом воюющие стороны в продолжение веков перебрасывались и доселе перебрасываются силлогизмами, но все на одной почве, именно на почве рационализма, и ни та, ни другая сторона не может избрать для себя иной. В Реформу перешло даже и установление Римом деление Церкви на Церковь учащую и Церковь поучаемую; разница лишь в том, что в Римском исповедании оно существует по праву, в силу признанного закона, а в Протестантстве только как факт, и еще в том, что место священника занял ученый, как видно из приведенной беседы моей с пастором. Говоря это, я не нападаю ни на протестантов, ни на римлян. Так как связь между логическим познанием и внутреннею духовной жизнью была уже порвана до появления Лютера и Кальвина, то очевидно, что ни тот ни другой ничего самопроизвольно себе не присвоил: они только воспользовались правами, которые были им подразумеваемо уступлены учением самого Рима. Единственная моя цель состоит в том, чтобы определить характер обеих половин западного мира в глазах Церкви и этим дать возможность читателю понять дух Православия.

Кажется, я доказал, что Протестантство у нас невозможно и что мы не можем иметь ничего общего с Реформой, ибо стоим на совершенно иной почве; но, чтобы довести этот вывод до очевидности, я представлю еще одно объяснение, свойства более положительного. Дух Божий, глаголющий священными писаниями, поучающий и освящающий священным преданием вселенской Церкви, не может быть постигнут одним разумом. Он доступен только полноте человеческого духа под наитием благодати. Попытка проникнуть в область веры и в ее тайны, преднося пред собой один светильник разума, есть дерзость в глазах Христианина, не только преступная, но в то же время безумная. Только свет, с неба сходящий, и проникающий всю душу человека, может указать ему путь; только сила, даруемая Духом Божиим, может вознести его в те неприступные высоты, где является Бо-

жество. «Только тот может понять пророка, кто сам пророк», говорит Святой Григорий Чудотворец. Только само Божество может уразуметь Бога и бесконечность Его премудрости. Только тот, кто в себе носит живого Христа, может приблизиться к Его престолу, не уничтожившись перед той славой, перед которой самые чистые силы духовные повергаются в радостном трепете. Только Церкви, святой и бессмертной, живому ковчегу Духа Божия, носящему в себе Христа, своего Спасителя и Владыку, только ей одной, связанной с Ним внутренним и тесным единением, которого ни мысль человеческая не может постигнуть, ни слово человеческое не в силах выразить, дано право и дана власть созерцать небесное величие и проникать в его тайны. Я говорю о Церкви в ее целостности, о Церкви, по отношению к которой Церковь земная составляет нераздельную от нее часть; ибо что мы называем Церковью видимую и Церковью невидимую образует не две Церкви, а одну, под двумя различными видами. Церковь в ее полноте, как духовный организм, не есть ни собирательное существо, ни существо отвлеченное; это есть дух Божий, который знает сам себя и не может не знать. Церковь в этом смысле понятая, то есть вся Церковь, или Церковь в ее целостности, начертала священные Писания, она же дает им жизнь в Предании, иными словами, и говоря точнее: Писание и Предание, эти два проявления одного и того же Духа, составляют одно проявление; ибо Писание не что иное, как Предание начертанное, а Предание не что иное, как живое Писание. Такова тайна этого стройного единства; оно образуется слиянием чистейшей святости с высочайшим разумом и только чрез это слияние разум приобретает способность уразумевать предметы в той области, где один разум, отрешенный от святости, был бы слеп как сама материя.

На этой ли почве возникнет Протестантство? На эту ли почву станет человек, поставляющий себя судьей над Церковью и тем самым заявляющий притязание на совершенство святости, равно как и на совер-

шенство разума? Сомневаюсь, чтобы такой человек мог быть принят как желанный гость тою Церковью, у которой первое начало то, что неведение есть неизбежный удел каждого лица в отдельности, так же как грех, и что полнота разумения, равно как и беспорочная святость, принадлежат лишь единству всех членов Церкви.

Таково учение вселенской православной Церкви и я утверждаю смело, что никто не отыщет в нем зачатков рационализма.

Но откуда, спросят нас, возьмется сила для охранения учения столь чистого и столь возвышенного? Откуда возьмется оружие для его защиты? — Сила найдется во взаимной Любви, оружие в общении молитвы; а любви и молитве помощь Божия не изменят, ибо Сам Бог внушает любовь и молитву.

Но в чем же искать гарантий против заблуждения в будущем? На это один ответ: кто ищет вне надежды и веры каких-либо иных гарантий для духа любви, тот уже рационалист. Для него и Церковь немыслима, ибо он уже всей душой погрузился в сомнение.

Не знаю, удалось ли мне настолько выяснить мысль мою, чтобы дать возможность читателям понять разницу между основными началами Церкви и всех западных исповеданий. Эта разница так велика, что едва ли можно найти хоть одно положение, в котором бы они были согласны; обыкновенно даже, чем на вид сходнее выражения и внешние формы, тем существеннее различие в их внутреннем значении.

Так большая часть вопросов, о которых столько уже веков делятся споры в религиозной полемике Европы, находит в Церкви легкое разрешение: точнее говоря, для нее они даже не существуют как вопросы. Так, принимая за исходное начало, что жизнь духовного мира есть не что иное, как любовь и общение в молитве, она молится за усопших, хотя отвергает изобретенную рационализмом басню о чистилище; испрашивает ходатайства святых, не приписывая им однако заслуг, придуманных утилитарною школою

и не признавая нужды в другом ходатайстве кроме ходатайства Божественного Ходатая. Так, ощущая в себе самой живое единство, она не может даже понять вопроса о том, в чем спасение: в одной ли вере, или в вере и делах вместе? Ибо, в ее глазах жизнь и истина составляют одно, и дела не что иное как проявление веры, которая без этого проявления была бы не верою, а логическим знанием. Так, чувствуя свое внутреннее единение с Духом Святым, она за все благое приносит благодарение Единому Благому, себе же ничего не приписывает и человеку кроме зла, противоборствующего в нем делу Божию: ибо человек должен быть немощен, дабы в душе его могла совершиться Божия сила. Слишком далеко завело бы нас перечисление всех тех вопросов, в которых проявляется решительное и доселе вполне еще не опознанное различие между духом Церкви и духом рационалистических сект; это потребовало бы пересмотра всех догматов, обрядов и нравственных начал Христианства.

Но я должен остановить внимание читателя на явлении, выдающемся из ряда и особенно знаменательном. Я, кажется, показал, что раздвоение Церкви на Церковь учащую и Церковь учеников (так бы следовало называть низший отдел), признанное в романизме, как коренной принцип, обусловленный самим складом Церкви-государства и делением его на церковников и мирян, прошло и в Реформу и в ней сохраняется, как последствие упразднения законного предания или посягательства науки на веру. Итак, вот черта общая обоим западным исповеданиям; в православной Церкви отсутствие ее самым решительным образом определяет характер последней.

Говоря это, я предлагаю не гипотезу, даже не логический вывод из совокупности других начал Православия (такой вывод был мною сделан и изложен письменно много лет тому назад), а гораздо более. Указанная мною особенность есть неоспоримый догматический факт. Восточные патриархи, собравшись на собор со своими епископами, торжественно провоз-

гласили, в своем ответе на окружное послание Пия IX, что «непогрешимость почит единственно во в с е л е н с к о с т и Церкви, объединенною взаимною любовью, и что неизменяемость догмата, равно как и чистота обряда, вверены охране не одной иерархии, но всего народа церковного, который есть тело Христова». Это формальное объявление всего восточного клира, принятое местною Русскою Церковью с почтительной и братской признательностью, приобрело нравственный авторитет вселенского свидетельства. Это бесспорно самое значительное событие в церковной истории за много веков.

В истинной Церкви нет Церкви учащей.

Значит ли это, что пет поучения? Есть и более чем где-нибудь; ибо в ней поучение не стеснено в предустановленных границах. Всякое слово, внушенное чувством истинно-христианской любви, живой веры или надежды, есть поучение; всякое дело, запечатленное Духом Божиим, есть урок; всякая христианская жизнь есть образец и пример. Мученик, умирающий за истину, судья, судящий вправду (не ради людей, а ради самого Бога), пахарь в скромном труде, постоянно возносящийся мыслию к Своему Создателю, живут и умирают для поучения братьев; а встретится в том нужда, — Дух Божий вложит в их уста слова мудрости, каких не найдет ученый и богослов. «Епископ в одно и то же время есть и учитель и ученик своей паствы», сказал современный апостол Алеутских островов, епископ Иннокентий. Всякий человек, как бы высоко он ни был поставлен на ступенях иерархии или наоборот, как бы ни был он укрыт от взоров в тени самой скромной обстановки, попеременно, то поучает, то принимает поучение: ибо Бог наделяет кого хочет дарами Своей премудрости, невзирая на звания и лица. Поучает не одно слово, но целая жизнь. Не признавать иного поучения, кроме поучения словом, как орудием логики — в этом-то и заключается рационализм, и в этом его проявлении он высказал-

ся в Папизме еще ярче, чем в Реформе. Вот что объявили патриархи и что подтвердила Церковь!

Вопрос о поучении приводит нас опять к вопросу об исследовании; ибо поучение предполагает исследование и первое без последнего невозможно. Я, кажется, показал, что вера смыслящая, которая есть дар благодати и в то же время акт свободы, всегда предполагает предшествовавшее ей исследование и сопровождается им, под тою или другой формой и что романизм, повидимому, не терпящий исследования, на самом деле допускает его, так же как и Протестантство, провозглашающее его законность. Но я должен оговорить, что хотя, придерживаясь общепринятых определений, я признал право исследования данных, на которых зиждутся вера и ее тайны, однако я этим не думал оправдывать того значения, какое придается слову *и с с л е д о в а н и е* в западных исповеданиях. Вера всегда есть следствие откровения, опознанного за откровение; она есть созерцание факта невидимого, проявленного в факте видимом; вера не то что *в е р о в а н и е* или убеждение логическое, основанное на выводах, а гораздо более. Она не есть акт одной познавательной способности, отрешенной от других, но акт всех сил разума, охваченного и плененного до последней его глубины живою истиною откровенного факта. Вера не только мыслится или чувствуется, но так сказать, и мыслится и чувствуется вместе; словом, — она не одно познание, но познание и жизнь. Очевидно потому, что и процесс исследования в применении его к вопросам веры, от нее же заимствует существенное ее свойство и всецело отличается от исследования в обыкновенном значении этого слова. Во-первых, в области веры мир, подлежащий исследованию, не есть мир для человека внешний; ибо сам человек и весь человек всю целостью разума и воли принадлежит к этому миру, как существенная часть его. Во-вторых, исследование в области веры предполагает некоторые основные данные, нравственные или рациональные,

стоящие для души выше всякого сомнения. В сущности исследование в области веры есть не что иное, как процесс разумного раскрытия этих данных; ибо сомнение полное, не знающее границ (пирронизм), если бы оно могло существовать в действительности, исключило бы не только всякую возможность веры, но и всякую мысль о серьезном исследовании. Малейшая из этих данных, будучи раз допущена душою совершенно чистою, дала бы ей все другие данные, в силу неотразимого, хотя, может быть, и неосознанного ею вывода. Для православной Церкви совокупность этих данных объемлет всю вселенную, со всеми явлениями человеческой жизни и все слово Божие, как писанное, так и выраженное догматическим вселенским преданием.

Всякое покушение отнять у христианина, хотя бы одну из этих данных становится неизбежно нелепостью или богохульством. В нелепость впадают протестанты, отвергая предание законное и, в то же время, живя преданием по собственному их сознанию незаконным; в богохульство впадают римляне, отнимая у мирян писанное слово и кровь Спасителя. Итак, само исследование в области веры, как по многообразию подлежащих ему данных, так и потому, что цель его заключается в истине живой, а не только логической, требует употребления в дело всех умственных сил, в воле и разуме, а сверх того, требует еще внутреннего исследования самых этих сил. Нужно принимать в соображение не только зримый мир, как объект, но и силу и чистоту органа зрения.

Исходное начало такого исследования — в смиренном признании собственной немощи. Иначе быть не может; ибо тень греха содержит уже в себе возможность заблуждения, а возможность переходит в неизбежность, когда человек безусловно доверяется собственным своим силам или дарам благодати, лично ему ниспосланным; а потому, тот лишь мог бы предъявить притязание на личную независимость в исследовании предметов веры, кто признавал бы в се-

бе не только совершенство познавательной способности, но и совершенство нравственное. Одной сатанинской гордости на это было бы недостаточно; и нужно было бы предположить при ней небывалое безумие. Итак, там лишь истина, где беспорочная святость, то есть, в целостности вселенской Церкви, которая есть проявление Духа Божьего в человечестве.

Подобно тому, как характером веры определяется характер исследования, так характером исследования определяется характер поучения. Все силы души озаряются верою, все усваивают ее себе исследованием, все получают ее через учительство. Поэтому поучение обращается не к одному уму и действует не исключительно через его посредство, а обращается к разуму в его целостности и действует через всё многообразие его сил, составляющих в общей совокупности живую единицу. Поучение совершается не одним писанием, как думают протестанты (которых, впрочем, мы благодарим от всего сердца за размножение экземпляров Библии), не изустным толкованием, не символом (которого необходимость мы впрочем отнюдь не отрицаем), не проповедью, не изучением богословия и не делами любви, но всеми этими проявлениями вместе. Кто получил от Бога дар слова, тот учит словом; кому Бог не дал дара слова, тот поучает жизнью. Мученики, в минуту смерти возвещавшие, что страдания и смерть за истину Христову принимались ими с радостью, были поистине великими наставниками. Кто говорит брату: «я не в силах убедить тебя, но давай помолимся вместе» — и обращает его пламенной молитвой, тот также сильное орудие учительства. Кто силою веры и любви исцеляет больного и тем приводит к Богу заблудшие души, тот приобретает учеников и, в полном смысле слова, становится учителем.

Конечно, Христианство выражается и в форме логической, в символе; но это выражение не отрывается от других его проявлений. Христианство преподается как наука, под названием б о г о с л о в и я; но это не более как ветвь учительства в его целостности. Кто

отсекает ее, иными словами, кто отрывает учительство (в тесном смысле преподавания и толкования) от других его видов, тот горько заблуждается; кто обращает учительство в чью-либо исключительную привилегию, впадает в безумие; кто приурочивает учительство в какой-либо должности, предполагая, что с нею неразлучно связан Божественный дар учения, тот впадает в ересь: ибо тем самым создает новое, небывалое таинство — таинство рационализма или логического знания.

Учит в с я Церковь, иначе: Церковь в ее целостности: учащей Церкви, в ином смысле, Церковь не признает.

Таким образом, с одной стороны характер исследования, в том смысле, в каком понимает его Церковь, придает ей свойство непроницаемости для Протестантизма; с другой, характер учительства в Церкви придает ей свойство непроницаемости для Латинства.

Надеюсь, сказанное мной достаточно доказывает, что второе обвинение, направленное против нас г. Лоранси, гр. де Местром и еще многими другими, так же неосновательно, как и первое, и что Протестантизм иначе даже и не могло возникнуть в Церкви, как чрез посредство Римского раскола, из которого оно неизбежно вытекает. Этим же, повторяю еще раз, объясняется, почему Протестантизм не могло выступить из пределов Римского мира, создавшего ту почву, которая одна только и могла родить из себя идею реформатских исповеданий. Иеизмеримо выше, на совершенно иной почве, утверждается Церковь вселенская и православная, Церковь первобытная, словом Церковь; и с этим, я надеюсь, согласятся читатели, вопреки господствующим предубеждениям и несмотря на слабость пера, излагающего пред ними дух церковного учения.

Представляется, однако, возражение, повидимому вытекающее из моих же слов. Могут сказать, что, выведя родословную Протестантизма через посредство романизма, я доказал, что рационалистическая почва Реформы создана была Римским расколом; а так

как самый раскол, поставив на место вселенской веры свое частное, областное мнение, тем самым, в момент своего возникновения, совершил акт Протестантизма, то из этого следует (хотя я и утверждаю противное), что Протестантизм может возникнуть прямо из Церкви. Надеюсь, однако, что мой ответ меня оправдает. Действительно, своим отпадением от Церкви, Рим совершил акт Протестантизма; но в те времена дух Церкви даже на Западе был еще столь силен, и столь противоположен духу позднейшей Реформы, что романизм вынужден был укрыть от взоров христиан и от самого себя свой собственный характер, надев на внесенное им в среду Церкви начало рационалистического безначалия личину правительственного деспотизма в делах веры. Этим ответом устраняется вышеизложенное сомнение, но в подкрепление представляется еще следующее соображение: если бы даже могло оправдаться чем-нибудь предположение, что в б ы л ы е в р е м е н а была возможность для Протестантизма или для протестантского начала зародиться в самом лоне Церкви, то все-таки не подлежало бы никакому сомнению, что т е п е р ь эта возможность уже не существует...

Кто из людей за себя поручится, что никогда не придаст ошибочного значения выражению Духа Божьего в Церкви, то есть слову писанному или живому преданию? Тот один имел бы право предположить в себе такую непогрешимость, кто мог бы назвать себя живым органом Духа Божия. Но следует ли из этого, что вера православного христианина открыта для заблуждений? Нет; ибо христианин, тем самым, что верит во вселенскую Церковь, низводит свое верование в вопросах, которым не дано еще ясного определения, на степень мнения личного или областного, если оно принимается целой епархией. Впрочем и заблуждение в мнении, хотя и безопасное для Церкви, не может считаться невинным в христианине. Оно всегда есть признак и последствие нравственного заблуждения или нравствен-

ной немощи, делающей человека до известной степени недостойным небесного света и, как всякий грех, может быть изглажен только Божественным милосердием. Вера христианина должна быть преисполнена радости и признательности, но в той же мере и страха. Пусть он молится! Пусть испрашивает недостающего ему света! лишь бы не дерзал он убаюкивать свою совесть, ни по примеру реформата, который говорит: «Конечно я, может быть, и ошибаюсь, но намерения мои чисты и Бог примет их в расчет, равно как и немощь мою»; ни по примеру Римлянина, который говорит: «Положим, я ошибаюсь; но что за важность? За меня знает истину папа и я вперед подчиняюсь его решению»!..

Я ответил на обвинения, взводимые на Православие г-м Лоранси и многими другими писателями одного с ним исповедания; выяснил, насколько смог, различие в характере Церкви и западных исповеданий; высказал в рационализме, как латинском так и протестантском, ересь против догмата о вселенскости и святости Церкви. Затем я считаю обязанностью сказать несколько слов и о том, в каком свете представляются нам наши отношения к этим двум исповеданиям, их взаимные отношения и их современное положение...

...Но не мог ли бы собор закрыть бездну, отделяющую Римский раскол от Церкви? Нет: ибо тогда только можно будет созвать собор, когда предварительно закроется эта бездна. Правда и люди, напоенные ложными мнениями, участвовали на вселенских соборах; из них некоторые возвращались к истине, другие упорствовали в своих заблуждениях и тем окончательно выделялись из Церкви; но дело в том, что эти люди, несмотря на свои заблуждения, в самых основных догматах веры, не отрицали Божественного права церковной вселенскости. Они питали, или по крайней мере заявляли надежду определить в ясных, не оставляющих места для сомнений выражениях догмат, исповедуемый Церковью и удостоиться

благодати засвидетельствования веры своих братьев. Такова была цель соборов, таково их значение, таково понятие, заключающееся в обыкновенной формуле введения ко всем их решениям: «изволися Духу Святому»... В этих словах выражалось не горделивое притязание, но смиренная надежда, которая впоследствии оправдывалась или отвергалась согласием или несогласием всего народа церковного, или всего тела Христова, как выразились восточные патриархи. Бывали соборы еретические, каковы например те, на которых составлен был полуарианский символ; соборы, на которых подписавшихся епископов насчитывалось вдвое более, чем на Никейском, соборы, на которых императоры принимали ересь, папы подчинялись ереси.

Почему же отвергнуты эти соборы, не представляющие никаких наружных отличий от соборов вселенских? Потому единственно, что их решения не были признаны за голос Церкви всем церковным народом, тем народом и в той среде, где в вопросах веры нет различия между ученым и невеждой, церковником и мирянином, мужчиной и женщиной, государем и подданным, рабовладельцем и рабом, где, когда это нужно, по усмотрению Божию, отрок получает дар ведения, младенцу дается слово премудрости, ересь ученого епископа опровергается безграмотным пастухом, дабы все были едино в свободном единстве живой веры, которое есть проявление Духа Божия. Таков догмат, лежащий в глубине идеи собора. Каким же образом и с какого права принял бы участие в соборе тот, кто, подобно Реформату, поставил независимость личного мнения выше святости вселенской веры? Или тот кто, подобно Римлянину, присвоил рационализму областного мнения права, принадлежащие только вдохновению вселенской Церкви? Да и к чему собор, если западный мир сподобился получить столь ясное откровение Божественной истины, что счел себя уполномочен-

ным включить его в символ веры и не нашел даже нужным выждать подтверждения от Востока. Что бы стал делать на соборе жалкий илот, грек или русский, рядом с избранными сосудами, с представителями народов, помазавших самих себя елеем непогрешимости? Собор дотоле невозможен, пока западный мир, вернувшись к самой идее собора, не осудит наперед своего посягательства на соборность и всех истекших отсюда последствий, иначе: пока не вернется к первобытному символу и не подчинит своего мнения, которым символ был поврежден, суду вселенской веры. Одним словом, когда будет ясно понят и осужден рационализм, ставящий на место взаимной любви гарантию человеческого разума или иную: тогда и только тогда собор будет возможен. Итак не собор закроет пропасть; она должна быть закрыта, прежде чем собор соберется.³⁾

Один Бог знает час, предоставленный для торжества истины над извращением людей, или над их немощью. Этот час наступит, я в этом не сомневаюсь; а до тех пор, открыто ли выступает рационализм, как в Реформе, или под личиною, как в Папизме, Церковь будет относиться к нему одинаково — с состраданием, жалея о заблуждении и ожидая обращения; но другого рода отношений к обеим половинам западного раскола у Церкви не может и быть; сами же они, по своему отношению к Церкви, находятся в положениях различных.

Выше было сказано, что романизм, нося в себе своеволие, как принцип, и в то же время боясь об-

3) Очевидно таково было убеждение великого Марка Ефесского, когда он требовал на Флорентийском съезде, чтобы символ был восстановлен в первобытной его чистоте и чтобы вставка была выражена как мнение, стоящее вне символа. Заблуждение, исключенное из числа догматов, становилось безвредным; этого и хотел Марк Ефесский, полагая самое исправление заблуждения на попечение Божие. Таким образом устранилась бы ересь против Церкви и восстановилась бы возможность общения. Но гордость рационализма не допустила его до самоосуждения.

наружений его на практике, вынужден был отречься от своей природы и, так сказать замаскироваться в своих собственных глазах, претворившись в деспотизм. Это превращение не осталось без важных последствий. Единство Церкви было свободное; точнее, единство была сама свобода, в стройном выражении ее внутреннего согласия. Когда это живое единство было отринуто, пришлось пожертвовать церковной свободой, для достижения единства искусственного и произвольного; пришлось заменить внешним знаменем или признаком духовное чутье истины.

Другим путем пошла Реформа: оставаясь неотступно верною началу рационалистического своеволия, породившему Римский раскол, она, с полным на то правом, потребовала обратно свободы и вынуждена была принести в жертву единство. Как в Папизме, так и в Реформе, все сводится на внешность: таково свойство всех порождений рационализма. Единство Папизма есть единство внешнее, чуждое содержания живого; и свобода протестантствующего рассудка есть также свобода внешняя, без содержания реального. Паписты, подобно Иудеям, держатся за знамения (то есть за признаки); протестанты, как Еллины, держатся за логическую мудрость. И тем и другим одинаково недоступно понимание Церкви — свободы в единстве, жизни в разуме. Но у папистов непонимание исполнено озлобления и вооружено клеветой; у протестантов оно исполнено равнодушия и вооружено презрением. Впрочем, так как в основании отношений как папистов так и протестантов к Церкви лежит неведение, то нет повода негодовать на них. Для тех и для других серьезная борьба с Церковью одинаково невозможна.

Зато открывается для них полная возможность, даже необходимость внутренней, междоусобной борьбы; ибо почва под ними одна, и права их одинаковы. И те и другие погружены всецело (не подозревая этого) в ту логическую аптимию, на которую распадается всякое живое явление (просим припомнить

Канта), пока оно рассматривается исключительно с логической его стороны, и которая разрешается только в полноте реальности; но этого разрешения ни те ни другие не находят, да и не найдут никогда в тесных границах рационализма, в которых они заключались. Оттого борьба, с большим или меньшим жаром продолжающаяся более трех столетий, эта борьба, в которой воюющие стороны не всегда ограничивались орудием слова, а прибегали нередко и к другим средствам, менее открытым и менее сообразным с духом Христианства, далеко еще не подходит к своему исходу, несмотря на то, что в ней уже истощились нравственные силы воюющих. Непростительно было бы не отдать справедливости дарованиям и ревности, выказанным с обеих сторон; нельзя не удивляться блистательному и мощному красноречию, которым в особенности отличаются латиняне, равно как и настойчивости в труде и глубокой учености их противников; но в чем же заключаются результаты борьбы? По правде, в них нет ничего утешительного ни для одной стороны. Та и другая сильна в нападении и бессильна в защите; ибо одинаково неправы обе и одинаково осуждаются как разумом, так и свидетельством истории. В каждую минуту, каждая из воюющих сторон может похвалиться блистательною победою; и между тем, обе оказываются постоянно разбитыми, а поле битвы остается за неверием. Оно бы давно и окончательно им овладело, если бы потребность веры не заставляла многих закрывать глаза перед непоследовательностью религии, принятой ими по невозможности без нее обойтись, и если бы та же потребность не заставляла держаться раз принятой религии даже тех, которые серьезно в нее не веруют.

Так как борьба между западными верованиями происходила на почве рационализма, то нельзя даже сказать, чтобы предметом ее когда-либо была вера: ибо ни верования, ни убеждения, как бы ни были первые искренни, а последние страстны, еще не заслуживают названия веры. Тем не менее, эта борьба,

как предмет изучения, в высокой степени занимательна и глубоко поучительна! Характер партий обрисовываются в ней яркими чертами.

Критика серьезная, хотя сухая, и недостаточная, ученость обширная, но расплывающаяся по недостатку внутреннего единства, строгость прямодушная и трезвая, достойная первых веков Церкви, при узости воззрений, замкнутых в пределах индивидуализма; пламенные порывы, в которых как будто слышится признание их неудовлетворительности и безнадежности когда-либо обрести удовлетворение; постоянный недостаток глубины, едва замаскированный полупрозрачным туманом произвольного мистицизма; любовь к истине, при бессилии понять ее в ее живой реальности, словом: рационализм в идеализме — такова доля протестантов. Сравнительно бóльшая широта воззрений, далеко впрочем недостаточная для истинного Христианства; красноречие блистательное, но слишком часто согреваемое страстью; поступь величаявая, но всегда театральная; критика почти всегда поверхностная, хватающаяся за слова и мало проникающая в понятие; эффектный призрак единства, при отсутствии единства действительного; какая-то особенная ограниченность религиозных требований, никогда не дерзающих подниматься высоко и потому легко находящих себе дешевые удовлетворения; какая-то неровная глубина, скрывающая свои отмели тучами софизмов; сердечная, искренняя любовь к порядку внешнему, при неуважении к истине, то есть к порядку внутреннему, словом: рационализм в материализме — такова доля латинян. Я не думаю ни обвинять всех писателей этой партии в преднамеренной лживости, ни утверждать, чтобы ни один из их противников не заслуживал того же упрека; но наклонность папистической партии к софизмам, ее систематическая уклончивость при встрече с действительными трудностями, ее напускное неведение, наконец вошедшие у нее в привычку искажения текстов, пропуски и неточности в ссылках — все это

так общеизвестно, что не подлежит и оспариванию. Не желая однако в столь важном обвинении ограничиваться простым заявлением и, поставив себе за правило не ссылаться никогда на факты, сколько-нибудь сомнительные, я приведу на память читателям долго тянувшееся дело о подложных Декреталиях, на которых теория о главенстве папы строилась до тех пор, пока верование в нее настолько укрепилось привычкой, что оказалось возможным убрать эти лживые и сделавшиеся под конец ненужными подпорки; напомним также о фальшивых дарственных грамотах, составляющих основание светской власти Римского первосвященника, и бесконечный ряд изданий святых отцов, искаженных очевидно с намерением. Из ближайших к нам времен я напомним, что труд Адама Черникава (*Zernikavius*), в котором доказывалось, что все свидетельства, извлеченные из творений святых отцов в пользу допущенной прибавки к символу, были преднамеренно извращены или урезаны, остался неопровергнутым, и прибавлю, что этот победоносный труд не вызвал со стороны уличенных ничего похожего на признание сколько-нибудь чистосердечное. Наконец, переходя к нашему времени, я укажу на все почти сочинения красноречивого протософиста графа де-Местра, на бесстыдную ложь в посланиях австрийских епископов, по поводу чествования православною Церковью некоторых из пап; наконец, на знаменитое сочинение Ньюмана о Развитии.

Нужно заметить, что этот последний писатель, отличавшийся добросовестностью, пока он исповедывал Англиканство, и впоследствии добросовестно же (так я предполагаю) обратившийся в романизм, с переходом в это новое исповедание внезапно утратил свою добросовестность. Впрочем, указывая на лживость, которою всегда отличалась римская полемика, я отнюдь не желал бы навлечь этим слишком строгого осуждения на участвовавших в ней писателей и не касаюсь вопроса о степени нравственной их ответственности.

Я исполнил долг, заступившись за Церковь против ложных обвинений, которых однако я не считаю за преднамеренные клеветы. Чтобы сделать опровержение вразумительным, я должен был развить отличительные свойства как Православия, так и Западного раскола, который есть ничто иное, как замазанный рационализм, и представить современное положение религиозного вопроса в том свете, в каком он нам является. Как я сказал в начале, я не старался прикрыть враждебность мысли притворной умеренностью выражения. Я высказал смело учение Церкви и отношение ее к различным видам раскола; я откровенно выразил свое мнение о борьбе сект, ее свойствах и ее современном состоянии; но я смею надеяться, что никто не обвинит меня ни в страстной злонамеренности, ни в сознательной несправедливости. Повторяю, я исполнил долг, ответив на обвинения, взведенные на Церковь, и прибавлю: исполнил долг в отношении к Церкви, а еще более в отношении к вам, моим читателям и братьям, которых к несчастью разобщило с нами заблуждение, начавшееся в давно минувших, из виду исчезнувших веках. Никакое опасение и никакое соображение не сдерживали моего пера: могу также сказать, что я взялся за него не из каких-либо выгод. Человека, не выставляющего своего имени, нельзя заподозрить в желании приобрести суетную известность или, точнее, заставить поговорить о себе.

Читатели и братья! От неведения или согрешения минувших веков перешло к вам пагубное наследство --- зародыш смерти, и вы несете за него кару, не будучи прямо виновны, ибо вы не имели определенного познания того заблуждения, в котором оно заключалось. Вы много сделали для человечества в науке и в искусстве, в государственном законодательстве и народной цивилизации, в практическом осуществлении чувства правды и в практическом применении любви. Более того: вы сделали все что могли для человека в земном его бытии, увеличив среднюю дол-

готу его жизни, и для человека в его отношении к Божеству, поведав Христа народам, никогда не слышавшим Его Божественного имени. Честь и благодарение вам за ваши безмерные труды, плоды которых ныне собирает или соберет впоследствии все человечество. Но пагубное наследство, вами полученное, по мере развития неизбежных его последствий, мертвит духовную жизнь, пока еще вас одушевляющую.

Исцеление в вашей власти. Конечно, пока самое сознание недуга будет встречать в господствующих предубеждениях и в неведении преграды своему распространению (а это продлится долго), нельзя ожидать исцеления массами; но отдельным личностям оно и теперь доступно. Итак, если кто из моих читателей убедился в истине моих слов, в верности данного мной определения исходной точки раскола и рационалистического его характера, то умоляю, его подумать и о том, что мало одного признания истины, а нужно еще принять и все практические последствия, из нее вытекающие; мало одного сознания в ошибке, а должно загладить ее в меру данной каждому возможности.

Я умоляю его совершить нравственный подвиг: вырваться из рационализма, осудить отлучение, произнесенное на восточных братьев, отвергнуть все последующие решения, истекшие из этой неправды, принять нас вновь в свое общение на правах братского равенства и восстановить в своей душе единство Церкви, дабы тем самым, восстановив и себя в ее единстве, получить право повторить за нею: «Возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святого Духа».

Недуг носит в себе смерть, а исцеление не трудно, оно требует только акта справедливости. Захотят ли этого люди, или предпочтут вековечить царство неправды, обманывая по прежнему свою совесть и разум своих братьев?

Читатели, рассудите сами и от себя.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА О ЗАПАДНЫХ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯХ⁴⁾

II

По поводу одного окружного послания Парижского архиепископа

Направляемая непобедимою десницею Божиею, каждая эпоха в истории человечества приносит с собою важные поучения. Всем людям полезно и благотельно уразумевать их смысл. Отдельному лицу, по всей справедливости, позволительно делиться со своими братьями тем, что, по его мнению, понятно им в этих поучениях, дабы знание всех восполнялось слабым разумением каждого. И нашему веку, как векам предшествовавшим, Провидение не отказывает в своих высших наставлениях; а уразумение их облегчается тем, что, благодаря международным сношениям более частым и гласности менее стесненной, слово человеческое идет об руку с историческим делом и, частью обдуманнми, частью невольными признаниями, немедленно обнаруживает вызвавшие его побуждения.

Достопамятный этому пример у нас на глазах.

Каковы бы ни были политические основания и предлоги к борьбе, потрясающей теперь Европу, нельзя не заметить, даже при самом поверхностном наблюдении, что на одной из воюющих сторон стоят исключительно народы, принадлежащие Православию, а на другой стороне Римляне и Протестанты, обступившие Исламизм. Конечно, такое распределение воюющих может быть объяснено причинами более или

⁴⁾ Эта вторая брошюра вышла по-французски в 1855 г., в Лейпциге. По-русски вышла (вместе с первой и второй) в 1867 г. Печатается с выпусками.

менее случайными: взаимной ненавистью племен, столкновением интересов, расчетами политики, или какою-нибудь противоположностью в общественных началах. И, нет сомнения, все эти причины действительно оказывают сильное влияние на современные события; но достоверно и то, что распрю растравила религиозная ненависть. Если бы русские или греки стали приписывать латинствующим народам такое побуждение, последние, вероятно, отреклись бы от него с негодованием и назвали бы обвинение клеветой; но к счастью, отрицание в этом случае невозможно. Писатели римского исповедания сами приписывают себе это побуждение; они то его и провозглашают, они им хвастаются, они объявляют его достаточным поводом к тому, чтобы призвать на оружие Запада благословение Бога правды и любви. Мария-Доминик-Огюст Сибур, «милостью Святого Престола Апостольского архиепископ Парижский», возвещает Франции, что «война в которую вступает она с Россией, не есть война политическая, но война священная; не война государства с государством, народа с народом, но единственно война религиозная; что все другие основания, выставленные кабинетами, в сущности, не более как предлоги, а истинная причина к этой войне, причина святая, причина угодная Богу, есть необходимость отогнать ересь Фотия; укротить, сокрушить ее; что такова признанная цель этого нового крестового похода и что такова же была скрытая цель и всех прежних крестовых походов, хотя участвовавшие в них и не признавались в этом».

Епископ Парижский далеко не один делает такое признание; оно было высказано и прежде и после него многими из писателей римского исповедания; но Мария-Доминик-Огюст Сибур более смел, более откровенен, более прям, чем другие. Ему очевидно жаль греков, но что ж бы мог он для них сделать? Они — последователи Фотия, так нельзя же им не пострадать, когда они препятствуют торжеству единства. Ему отчасти совестно становиться защитником ту-

рок, но ведь турки в сущности только предлог; нужно отогнать ересь Фотия. Приходится допустить протестантов в ряды Римской армии: тяжелая необходимость, но нужно укротить Фотиян! Приходится дозволить, чтобы рядом с знаменами, которые благословил он, епископ Парижский, шли в крестовый поход знамена, благословенные для французских войск Алжирским имамом: прискорбно, но надобно истребить Фотиян! Они-то настоящие и единственные враги и любвеобильная, нежная душа прелата покажется этому суровому долгу.

Таковы слова Парижского архиепископа или таков их несомненный смысл. Этот святительский голос только с большею ясностью высказал то, на что были уже намеки от других, и сам он встретил себе не один сочувственный отклик. А много ли голосов поднялось против него в странах покорных Риму? Если и поднимались какие-нибудь голоса, они были так малочисленны и так робки, что терялись среди всеобщего молчания или одобрения. Ясно, что слова прелата есть только выражение чувства более или менее общего Римскому миру и всему миру западному.

Не считаю себя призванным произносить суждения о нравственном достоинстве Парижского архиепископа; мой долг — показать поучительный урок, вытекающий из его послания.

В числе законов, правящих умственным миром, есть один, которого Божественная, строгая правда не допускает исключений, тот закон, что зло порождает зло. Всякое незаслуженное оскорбление, всякая несправедливость поражает виновного гораздо более чем жертву; обиженный терпит, обидчик развращается. Обиженный может простить и часто прощает; обидчик не прощает никогда. Его преступление впускает в его сердце росток ненависти, который постоянно будет стремиться к развитию, если во время

не очистится все нравственное существо виновного внутренним обновлением.⁵⁾

Этот закон имеет огромную важность в истории.

В предшествующей статье я указал, в чем существенно состоит западный раскол, или точнее сказать западная ересь против догмата церковного единства. Я сказал, что, решив догматический вопрос без содействия своих восточных братий, Запад тем самым подразумевательно объявил их сравнительными недорослями, разжаловал их в илотов по вере и благодати, и чрез это отверг их от Церкви, словом, совершил над ними нравственное братоубийство. По неизбежной последовательности, наследники этого преступления должны придти к братоубийству вещественному. Таков урок, вытекающий из беседы Парижского архиепископа.

Весьма далек я от того, чтобы приписывать всем членам Римского исповедания столь же сильное озлобление, а еще более далек от того, чтобы приписывать подобное озлобление протестантам; у последних ненависть сменилась презрением, чувством менее кровожадным, хотя все-таки враждебным и способным, при малейшей борьбе или соперничестве с презируемым распасться до свирепости. Но я утверждаю, что в западных исповеданиях у всякого на дне души лежит глубокая неприязнь в восточной Церкви. Таково свидетельство истории, таков смысл современных сочинений, издаваемых духовными лицами латинского исповедания, такова причина молчания Европы, читающей эти сочинения и не возмущающейся их варварством; таково, наконец, несомненное послед-

⁵⁾ Такое развращение души есть одно из великих наказаний, постигающих рабство. Говоря относительно, рабовладелец бывает всегда более развращен, чем раб; христианин может быть рабом, но не должен быть рабовладельцем. В краях, где еще рабство существует, память об этой великой истине должна быть присуща сознанию всех людей и устремлять их мысли к решению общественного вопроса, который, какими бы затруднениями он ни был обставлен, не может быть неразрешим.

ствие общего закона, о котором говорено выше. По этому-то самому всякий человек, любящий истину, обязан испытать свое сердце и исторгнуть из него этот росток ненависти: иначе истина не дастся ему. Пусть поучается и устрашается он при виде чудовищного развития, до какого дошло это пагубное чувство в душе Марии-Доминика-Огюста Сибура, «милостью Святого Апостольского Престола архиепископа Парижского».

Если бы внимательно заняться подобными размышлениями, нет сомнения, они могли бы оказать благодетельное действие на политические события, но политическими событиями я не намерен заниматься: как ни велика их важность, она, во всяком случае, важность только относительная и временная. Вопрос, о котором я рассуждаю, гораздо высшей важности, ибо касается откровения безусловной истины на земле и обнимает всю совокупность духовных интересов человечества. Моя цель — раскрытием наших воззрений на заблуждения двух исповеданий, образующих западный раскол, объяснить людям Запада истинное свойство Церкви; а для этого мне предварительно нужно было указать нравственную препону, вследствие которой голосу истины трудно найти себе способные внимать ему и беспристрастные души. Пока человек не выбросит из сердца своего горечи скрытой неприязни, око духовное не узрит, ухо не услышит, разум не рассудит право. Во всяком случае, стоит попытаться сделать над собою нравственное усилие, когда цель его — искоренить в себе чувство несправедливого озлобления; а если в награду может быть даровано познание Божественной истины, тогда не тем ли более обязательна попытка?

Впрочем, не приступая еще к сущности религиозного вопроса, я считаю нужным сказать, что, кроме указанного сейчас препятствия, а именно — враждебного настроения сердца, есть другое, гораздо более важное, вследствие которого уразумение Церкви ста-

новится почти невозможным как для латинян, так и для протестантов.

Мною было сказано, что в первые века, до самой эпохи великого западного раскола, познание Божественных истин считалось принадлежностью всецелой Церкви, объединенной духом любви. Это учение, сохраненное до наших дней, было в последнее время во всеуслышание провозглашено единодушным согласием патриархов и всех христиан Востока. Вопреки церковному преданию, Запад, в девятом веке, присвоивает себе право изменять вселенский символ без содействия своих восточных братий и делает это в то самое время, когда восточные христиане давали ему свидетельство своего братского уважения, представляя на его одобрение определения Никейского собора. Какое необходимо вытекает из этого посягательства логическое последствие? Как скоро логическое начало знания, выражающееся в изложении символа, отрешилось от нравственного начала любви, выражающегося в единодушии Церкви, так этим самым, на деле, устанавливалось протестантское безначалие — анархия в области веры. То самое право, какое в отношении к целой Церкви присвоил себе западный патриархат, могла присвоить себе в отношении к этому патриархату всякая епархия; всякий приход мог предъявить то же право в отношении к своей епархии; каждое отдельное лицо — в отношении ко всем прочим. Никаким софизмом нельзя увернуться от этого последствия. Или: истина дана единению всех и их взаимной любви в Иисусе Христе, или она дается каждому лицу, взятому порознь, без всякого отношения к прочим. Чтобы избежать этого последнего вывода и вытекающей из него анархии, нужно было вместо нравственного закона, который для юной гордости германо-римских народов казался стеснителен, поставить какой-нибудь новый закон, внутренний или внешний, такой закон, который бы облакал определения западно-церковного общества несомненною об-

язательностью, или по крайней мере придавал бы им вид такой обязательности. Необходимость в этом законе, мало-помалу, создала понятие о папской непогрешимости. В самом деле, первенство пап в порядке суда и администрации (само по себе не выдерживающее серьезной критики), хотя бы даже оно было допущено в самом широком смысле, не могло служить оправданием для раскола в учении или в действии. Точно также не могла служить оправданием и условная непогрешимость (то есть такая, которая обуславливается согласием всей Церкви с папским определением); ибо новое догматическое определение было включено во вселенский символ без содействия восточных патриархов, и даже ни один из них не был об этом извещен. Чтобы не остаться в глазах Церкви расколом или не оправдать заранее своим примером протестантское своеволие, романизм вынужден был приписать Римскому епископу непогрешимость безусловную. Этому неизбежному последствию подчинилось, наконец, весьма значительное число латинствующих и должны бы по-настоящему подчиниться все. Тем не менее, безусловная непогрешимость не была возведена на степень несомненного догмата и даже теперь не считается догматом: это все еще вопрос, к которому Римская курия подступить не смеет.⁶⁾

С другой стороны, по признанию самих латинян, в первые времена Церкви о папской непогрешимости никто ничего не знал; ее во всеуслышание отвергали отцы первых веков (доказательства: творение Святого Ипполита и осуждение, произнесенное вселенским собором против памяти папы Онория за его погрешение в догмате); на нее не ссылались сами латиняне ни в первоначальных своих спорах с греками, ни даже в последующих переговорах; очевидно, она есть ничто иное, как условное начало, допущенное задним числом и по необходимости, чтобы оп-

⁶⁾ После того, как эти строки были написаны, Римский собор 1870 г. провозгласил догмат папской непогрешимости.

равдать предшествовавшее его изобретению незаконное действие.

Итак у римлянина нет другой опоры для своего раскола, кроме начала, которого условность он чувствует сам. С другой стороны, Протестантство, исходя из той же мысли, что Запад, изменяя символ, пользовался законным правом, пришло к заключению, что, наравне с западным патриархатом и всякая страна, всякая область, наконец, всякое отдельное лицо имеет право отделиться от целой Церкви и создать себе символ веры или верование по своему вкусу. Заключение это было тем неизбежнее, что Протестантство потеряло всякую память о той нравственной взаимной зависимости, в которой находились одна от другой частные области первобытной Церкви, и в тоже время не могло считать себя связанным тем условным началом, которое Рим, по временам, пускает в ход, не посмев однако ни разу возвести его в догмат. Таким образом Протестантство, лишенное опоры предания и нравственного над собой попечительства Церкви, обратившейся для него в чистый абстракт, поневоле должно остаться при одной Библии, как единственном руководстве. Но сама Библия, как верно заметил один из замечательнейших протестантских писателей, не имеет очерченных границ; она не то, что предметы непосредственного творения Божия в природе. Сколь бы ни было велико участие Духа Божия в книге священного писания, эта книга — все-таки произведение человеческое, по крайней мере по наружности. Без канона Библия не существует, а вне Церкви нет канона. Почему знать: та или другая книга, слывающая каноническою, не есть ли апокрифическая, или наоборот, слывающая апокрифическою, не есть ли каноническая? Хорошо ли поступили, приняв такое-то сочинение? Не лучше ли принять другое, одновременное, хотя оно и не принято? Если Церковь не обладает, по существу своему, непогрешительным познанием истины, то каждая часть Библии в той же мере подвержена сомнению, как и

послания, заподозренные Лютером, и вся Библия не более, как сборник сомнительного состава, не имеющий определенных границ, которому люди приписывают авторитет только потому, что не знают, как без него обойтись.

Итак, все верования протестанта держатся на предмете чисто-условном.

Как бы однако ни были велики препятствия, они не должны останавливать защитников истины. Чем откровеннее высказываются злые страсти, в которых заключается сила заблуждения, тем настоятельнее становится обязанность обнажать их, бороться с ними и призывать людей к единству любви и веры в Иисусе Христе. В сочинении, перед этим изданном, я обнаружил присутствие рационализма и Протестантизма в самой сущности Латинства; я показал также, что Протестантизм, когда оно придает себе вид положительного вероучения, прибегает без всякого на то права к преданию, которого оно не признает; наконец, я пытался объяснить моим западным братьям характер Церкви, показав им, в каком свете представляются нам их учения. Меня еще не опровергли; ныне продолжаю труд, который признаю своим долгом, в надежде, что слово, сказанное искренно и с любовью, не останется совершенно бесполезным.

Я сказал, что непогрешимость в догмате, то есть познание истины, имеет основанием в Церкви «святость взаимной любви во Христе», и что этим учением устраняется самая возможность рационализма, так как ясность разумения поставляется в зависимость от закона нравственного. Порвав эту связь, западный раскол воцарил рационализм и протестантское безначалие. Чтобы избежать логических последствий своего заблуждения, романизм вынужден был, впоследствии, придумать папскую непогрешимость и прикрыть принцип допущенного безначалия фактом нравительственного самовластия. С точки зрения Церкви,

этот новый фазис заблуждения представляется в следующем виде: познание Божественных истин, приписываемое Римскому епископу, не обуславливается его нравственным совершенством (доказательство — Борджиа и многие ему подобные); точно так же не обуславливается оно и нравственным законом, присутствующим Церкви (ибо непогрешимость, присвоенная папе, ведет свое начало от такого действия, которого иначе назвать нельзя как «нравственным братоубийством»); наконец, не обуславливается оно и умственным превосходством: такого превосходства папы никогда себе не приписывали. А говорят, что оно ведет свое начало от главы апостолов! Никакое явление в Церкви иначе не может быть постигаемо нами, как по аналогии его с другими подобными ему явлениями, засвидетельствованными в Священном Писании. Что же оказывается? В Новом Завете исповедания веры представляются в двояком виде. Есть исповедания вольные и, так сказать, торжественные: это откровения, дарованные святости и любви; таковы исповедания Симеона, Нафанаила, Св. Петра и, наконец, полнейшее из всех — исповедание Св. Фомы. Есть также исповедания невольные, исторгнутые страхом и ненавистью: таковы исповедания бесноватых. Исповедания, которое исходило бы из равнодушия, мы не знаем.

Ясно, что преимущество, приписываемое Римскому епископу, не возводит его в первую из этих категорий (ибо не предполагает в нем нравственного совершенства), а низводит его во вторую, стало быть скорее сближает его с бесноватыми, чем с Апостолами. Печально было бы такое падение человека, если бы оно было действительно! Печально было бы и падение человеческой мысли, если бы могла она, не шутя, этому верить! Я не говорю о суеверном почитании, которого требуют латиняне, к месту или точнее к имени Рима (ибо, не будь этого суеверия, имеющего характер какого-то кумирслужения перед местностью, нельзя же было бы отрицать, что епи-

скопы Антиохийские такие же преемники Святого Петра, как епископы императорского города); но я говорю, что преимущество быть невольным вещателем истины, приписываемое лицу, не наследовавшему в то же время апостольской святости, может быть, по понятиям Церкви, поставлено в соответствие только с беснованием.

Протестантство, при бóльшей его логичности, в развитии начала, вызвавшего раскол, приходит к другим последствиям. Разбитое на бесчисленное множество несогласных между собой обществ, которые и сами в себе суть единицы только по имени (ибо каждое отдельное лицо держится часто верования противоположного верованию всех прочих), оно полагает свое единство только в одном факте признания Библии и в каком-то поклонении этой книге. Но это единство держится не на смысле Св. писаний (ибо толкования его противоречат одно другому), а на единстве в ещ и, то есть писанного слова, как книги, независимо от его значения и от мысли, в нем заключенной. Здесь разноречия в существе и внутреннее безначалие очевидны и действительны; а кажущееся единство представляет все черты фетишизма.

Да не оскорбляются наши западные братья жестокостью моих выражений. Я не властен в выборе слов. Отличительно-свойственный Церкви характер духовной, органической жизни не может быть понят, если не будет выказана в самом ярком свете печать смерти, усматриваемая нами на обоих видах западного раскола. Поэтому-то я и должен был показать, как низко упал бы человек, если бы он мог быть поставлен в такое положение, которое вынуждало бы его вещать непогрешительные истины веры, помимо собственной его воли, и как грубо кумирслужение общества, которого вся внутренняя связь состоит в почитании мертвой буквы, прикрывающей доселе для него неразгаданный смысл. Вместо человека-машины, издающего невольные прорицания, поставьте целую Церковь: исповедание Божественной истины признай-

те плодом одушевляющего Церковь Божественного Духа взаимной Любви, вместо книги-кумира поставьте целую Церковь, для которой Библия есть слово начертанное, ее же собственное слово, поэтому самому всегда для нее понятное, — тогда вы получите жизнь вместо смерти, высший разум, вместо очевиднейшего безумия. Вызовите сперва начало жизни — Любовь, и вы опять узрите пред собой живой организм.

Когда победитель смерти, Спаситель человеков, удалил от людей Свое видимое присутствие, Он завещал им не скорби и слезы, а оставил утешительное обетование, что пребудет с ними до скончания века. Обещанное исполнилось. На главы учеников, собравшихся в единодушии молитвы, снизошел Дух Божий и возвратил им присутствие Господа, не присутствие, осязаемое чувствами, но присутствие невидимое, не внешнее, но внутреннее. Оттоле радость их была совершенная, несмотря на испытания, им уготованные. И мы также, мы имеем эту совершенную радость, ибо знаем, что Церковь не ищет Христа, как ищут Его протестанты, но обладают Им, и обладает и принимает Его постоянно, внутренним действием любви, не испрашивая себе внешнего призрака Христа, созданного верованием римлян. Невидимый Глава Церкви не нашел нужным оставлять Свой образ для изречения прорицаний, но всю ее одушевил Свою любовью, дабы она имела в себе самой непременную истину.

Такова наша вера.

Церковь, даже земная, не от мира сего; но римлянин, равно как и протестант, судят о вещах небесных, как о вещах земных. «Неминуемо произойдет разъединение, если не будет налицо власти для решения догматических вопросов», — говорит римлянин. «Непременно наступит умственное рабство, если каждый будет себя считать обязанным пребывать с другими в согласии», — говорит протестант. Но спрашивается: говорят ли они по стихиям неба, или по стихиям земли? Время от времени, этот явный отпечаток земного, наложенный на предметы небесные, при-

водил в смущение души некоторых избранных, и они старались (чего, конечно, нельзя им ставить в вину) скрыть от собственных своих глаз это неизгладимое пятно своих исповеданий. Никто, может быть, не испытывал этого чувства так глубоко, хотя и невольно, как человек, в лице которого нельзя не почитать одной из самых чистых знаменитостей нашего века; я говорю о красноречивом пасторе Вине. Изъясняя в одной из статей своих отличительные свойства Католичества (этим именем он называет Романизм) и Протестантства, он выводит эти два исповедания из двух стремлений человеческого духа. Первое, то есть Католичество, по его словам, берет свое начало в желании, невольном, врожденном человеку, получить истину совершенно готовую, такую, которую достаточно было бы признать и в наслаждении, какое доставляет сердцу человека сознание его единения с другими людьми в чувстве и мысли. Второе, то есть Протестантизм, берет свое начало в желании, также прирожденном человеку, добыть истину собственными силами своего ума и в том вполне истинном убеждении, что верование признанное, или допущенное, не есть еще верование приобретенное. Здесь является человек в чисто земном отпращивании сил своего разума, и если стать на эту точку зрения, то нельзя не признать справедливости изложенного анализа римских и протестантских стремлений. Однако, тут же самому Вине приходит на ум, что истина, по существу своему, непременно едина, и мысли его представляется неизбежный вывод, что Христианство не может не быть всемирным, то есть католическим. Он присовокупляет: «Оба указанные стремления одинаково истинны и одинаково неполны. Католик напрасно считает себя католиком: он только предвозвещает в себе Кафоличество, но еще не приобрел на него права. Протестант напрасно полагает, что Протестантству предназначено оставаться Протестантством, тогда как оно есть только путь к будущему Кафоличеству». Очевидно, единство Церкви, свободное и осмысленное, вот к чему

Вине устремляет свои желания и чаяния и что представляется ему в отдалении грядущих веков. Бедная душа, введенная в заблуждение ложною системой, в которой она жила! Разлад положений, высказанных Вине, обличает его внутреннее страдание. Высокий и чистый ум, преждевременно истощенный противоречием между его чаяниями и его верованиями! Одно будущее его утешает: прошедшее не дало ничего, настоящее бесплодно. Кафоличество, то есть согласие людей в истине, придет когда-нибудь; но, стало быть, до сих пор его никогда не было? Стало быть, ученики Христовы, просвещенные дарами Духа, не составляли еще Церкви Кафолической? Если они не были Церковью, Церковью Кафолической и если Кафоличество этой Церкви утратилось, то каким образом могло бы человечество обрести вновь тот свет, которого оно не уберегло, получив его из рук самого Бога? Если даже обретет, то каким способом соблюдет его? Наука ли даст гарантии более крепкие и надежные, какие мог найти Дух Божий? Нет! Одно из двух: или Кафоличество невозможно в будущем, или оно не могло погибнуть в прошедшем; но этого-то именно и не могут допустить ни Вине, ни кто-либо другой из протестантов. Все они охотнее поддадутся антилогичнейшему самообольщению, чем согласятся с строго логическим заключением, которое отняло бы у них последнюю надежду когда-либо обрести истину. Все их понятия — понятия земные.

Тот же самый внутренний недуг является и у лучших между латинянами, только в другом виде.

У них он обнаруживается постоянным борением между потребностью анализа и боязнью, как бы эта сила не разбила здания, которое с таким трудом они против нее защищают. Дело в том, что и у них все основано на земном расчете. Нельзя, впрочем, не сказать, что Вине в некоторой степени прав. Возвратите словам, им употребленным, тот смысл, который он желает им придать, и окажется, — полная истина. Кафоличество, или яснее, вселенскость познанной исти-

ны, и Протестантство, или точнее, искание истины — таковы действительно элементы, постоянно сопребывающие в Церкви. Первый из них принадлежит всей Церкви, ее целости; второй — ее членам. Мы называем Церковь вселенской, но самих себя не называем кафоликами: в этом слове заключается указание на такое совершенство, на которое мы далеко не имеем притязания. Допустив св. апостола Иудеев подвергнуться заслуженному порицанию от апостола языков, Дух Божий дал нам уразуметь ту высокую истину, что ум самый возвышенный, душа самая озаренная небесным светом, должны преклоняться перед Кафоличеством Церкви, которая есть глагол Самого Бога.

Каждый из нас постоянно ищет того, чем Церковь постоянно обладает. Неведущий, он ищет ее уразуметь; грешный, он ищет приобщиться к святости ее внутренней жизни; всегда во всем несовершенный, он стремится к тому совершенству, которое обнаруживается во всех явлениях Церкви: в ее писаниях, которые суть писания священные, в ее догматическом предании, в ее молитвах, в ее таинствах, в тех определениях, которые возглашает она всякий раз, когда нужно в ее среде опровергнуть ложь, разрушить сомнение, провозгласить истину, чтобы поддержать колеблющиеся шаги сынов ее. Каждый из нас от земли, одна Церковь от неба.

Впрочем, человек находит в Церкви не чуждое что-либо себе. Он находит в ней самого себя, но себя не в бессилии своего духовного одиночества, а в силе своего духовного, искреннего единения со своими братьями, со своим Спасителем. Он находит в ней себя в своем совершенстве, или точнее находит в ней то, что есть совершенного в нем самом — Божественное вдохновение, постоянно испаряющееся в грубой нечистоте каждого отдельно-личного существования. Это очищение совершается непобедимую силою взаимной любви христиан в Иисусе Христе, ибо эта любовь есть Дух Божий. «Но каким же образом, — скажут нам, — могло бы единение христиан дать каждому

то, чего не имеет никто в отдельности?» Песчинка, действительно, не получает нового бытия от груды, в которую забросил ее случай: таков человек в Протестантстве. Кирпич, уложенный в стене, нисколько не изменяется и не улучшается от места, назначенного ему на угольником каменщика: таков человек в Романизме. Но всякая частица вещества, усвоенная живым телом, делается неотъемлемой частью его организма и сама получает от него новый смысл и новую жизнь: таков человек в Церкви, в теле Христовом, органическое основание которого есть Любовь. Очевидно, люди Запада не могут ни понять ее, ни участвовать в ней, не отрекшись от раскола, который есть ее отрицание; ибо латинянин думает о таком единстве Церкви, при котором не остается следов свободы христианина, а протестанты держатся такой свободы, при которой совершенно исчезает единство Церкви. Единство, как понимают его латиняне, есть Церковь без христианина; свобода, как понимают ее протестанты, есть христианин без Церкви. Мы же исповедаем Церковь единую и свободную. Она пребывает единою, хотя у нее нет официального представителя ее единства; и свободною, хотя свобода не обнаруживается разъединением ее членов. Эта Церковь, позволю себе выразиться словами апостола, есть соблазн для иудействующих латинян и юродство для эллинствующих протестантов; для нас же она есть откровение бесконечной Божией премудрости и милости на земле.

.

В Своей правде и в Своей милости Бог изволил, чтобы точно так же как единственное нравственное существо, Христос, силою безграничной Своей любви принял на себя человеческие грехи и справедливую за них казнь, мог и человек силою своей веры и своей любви к Спасителю отречься от своей личности, личности греховной и злой, и облекаться в святость и совершенство своего Спасителя. Соединенный таким образом со Христом, человек уже не то, чем он был, не

одинокая личность; он стал членом Церкви, которая есть тело Христово, и жизнь его стала нераздельной частью высшей жизни, которой она свободно себя подчинила. Спаситель живет в Своей Церкви, Он живет в нас. Он ходатайствует, а мы молимся; Он поручает нас благодати Божией, а мы взаимно друг друга поручаем своему Творцу; Он предлагает себя в вечную жертву, а мы приносим Отцу эту жертву прославления, благодарения и умиловления за нас самих и за всех наших братьев, как тех, которые пребывают еще в опасностях земной борьбы, так и тех, которых смерть привела уже в тихое, возносительное движение небесного блаженства, какова бы ни была затем степень дарованной им славы, — все равно.

В нашей молитве нет места ни для вопросов, ни для сомнений: ибо, как сказано в одном русском катехизисе: «Мы молимся не в духе страха, подобно рабам, не в духе корысти, подобно наемникам, но молимся в духе сыновней любви, будучи по благодати усыновлены Богу нашим единением с Сыном человеческим, Иисусом праведным, Сыном и вечным Словом Отца щедрот». Мы молимся потому, что не можем не молиться и эта молитва всех о каждом и каждого о всех, постоянно испрашиваемая и постоянно даруемая, умоляющая и торжествующая в то же время, всегда во имя Христа, нашего Спасителя, обращаемая к Его Отцу и Богу, есть как бы кровь, обращающаяся в теле Церкви: она ее жизнь и выражение ее жизни, она глагол ее любви, вечное дыхание Духа Божия.

Где же теперь сомнение? Где одиночество? Где недоверчивая боязливость протестантов? Где баснословие юридических отношений, придуманных римлянином? Нам ли, с созерцательной высоты, на которую возводит нас Церковь, опускаться в топь рационализма и его утилитарных учений, выработанных расколом? Осмелятся ли даже звать нас туда наши западные братья? Нет, они этого не сделают. Может быть, они сами остановили бы нас, если бы мы способны были на такое безумие; они почувствовали бы, что,

отложившись от Царя Церкви, мы тем самым лишили бы человечество наследия в славнейшем его уповании и похитили бы у него навсегда самую возможность веры.

Это святое учение, единое истинное, единое непрекаемое для самой строгой логики, а между тем далеко превосходящее логику человеческую, единое удовлетворяющее вполне самым живым потребностям сердца (ибо оно шире всех его самых сильных желаний), это учение было во все времена учением Церкви. Оно остается ее учением и в наше время, как было ее учением со дней апостольских. Учениками апостольскими оно было заповедано Западу наравне с Востоком; это ясно доказывают древнейшие литургии, в особенности литургия Мозарабская, которая хотя и подвергалась впоследствии изменениям, но конечно не в этом смысле. И однако, в настоящее время, учение это совершенно чуждо всем западным исповеданиям и представляет собою один из отличительных признаков Церкви, что уже было замечено некоторыми протестантскими писателями.

.

Неверие в наши дни напало не только на точность евангельских повествований, но и на отношение евангелий и посланий к тем лицам, которым приписывается их изложение. Оно утверждает, что евангелия, приписываемые Св. Марку, Луке и Иоанну, будто бы не от них; что равномерно послания, приписываемые Св. Иакову, Иуде или Павлу, будто бы также не от них. Пусть! Но они от Церкви, и вот все, что нужно для Церкви.

Имя ли Марка сообщает авторитет евангелию, которое ему приписывается, или имя Павла дает авторитет посланиям? Нисколько. Но Св. Марк и Св. Павел прославлены за то, что найдены были достойными приложить имена свои к писаниям, которые Дух Божий, выразившийся единодушным голосом Церкви, признал за свои. Итак, пусть один из слагателей,

повидимому, приписывает Эноху книгу, несомненно принадлежащую позднейшей эпохе; пусть другой, повидимому, допускает относительно камня, которого Моисей коснулся своим жезлом, предание, недопускаемое Церковью — что из этого? Если бы это было и так, из этого следовало бы только то, что излагатель, который был от земли (как всякий человек), наложил печать своей земной природы на вещественную форму писаний, а что Церковь, которая от неба, как освященная любовью, признала своим смысл того же писания...

Вот чему предстоит научиться неверию: но этому-то никогда и не научит его Протестантство; ибо нужно понять всю внутреннюю жизнь Церкви, чтобы уразуметь ее отношение к св. писанию. Заключите человека в его личной отдельности, разорвите связь, соединяющую всех христиан в одну живую индивидуальность (как сделали немецкие протестанты) и вы заодно порвете связь, соединяющую христиан со Св. писанием! Вы превратите книгу в мертвую букву, в предмет совершенно внешний для людей, в рассказ, в доктрину, в слово, не подкрепленное никаким свидетельством, в простое начертание или в простой звук, в нечто, не находящее уверительной силы ни в себе ни вне себя, в нечто такое, наконец, что непременно должно быть убито сомнением и поглощено забвением. Кто отрицает Церковь, тот изрекает смертный приговор над Библией...⁷⁾

Протекли три века. В продолжение этого времени на Церковь поочередно ополчались озлобленная гордость вооруженной софизмами лжефилософии, восторженный фанатизм лжевдохновений, кровожадная ненависть народов, трепетавших мщения своих богов, которых отвергало Христианство, наконец непримире-

⁷⁾ В этом именно, а не в чем-либо другом, заключалось преступление Христианства; не в том, что оно отрицало божество Юпитера, или Минервы, или Нерона, или других богов, а в том, что отрицало верховную божественность государства, поставлявшего богов.

мая ненависть Кесарей, видевших в отрицании государственной религии самое опасное из возмущений...

И что же? К исходу этих трех веков силою неотразимого слова и победоносного мученичества Христианство успело завоевать Империю.

Наступило другого рода испытание: разум человеческий, Христианством очищенный, потребовал от веры точности логического выражения; а невежество, гордость и страсти людские породили ереси. Арий и Диоскор отринули Троицу, то есть внутреннее определение Божества; тем самым они отрицали предание, хотя и уверяли, что остаются ему верны. Для произнесения приговора об этом лжеучении христиане обратились не к чьему-либо саморешающему голосу, не к какой-либо власти религиозной или политической; они обратились к целости Церкви, объединенной согласием и взаимною любовью (ибо любовь не предвосхищает себе, не монополизирует благодати и не низводит своих братьев в духовное илотство), и Церковь отозвалась на призыв своих членов: она вручила, как и следовало, право формулировать свою веру своим старейшинам епископского чина, сохранив однако за собою право поверить формулу, которую они усвоят. Никейский собор положил основание Христианскому исповеданию веры... Впоследствии императоры, патриархи, не исключая Римского, и большинство епископов, соединенных на соборе, изменили истине и подписали еретическое исповедание. Церковь, просвещенная своим Божественным Спасителем, осталась верною и осудила невежество, испорченность или немощь своих уполномоченных и свидетельством своим утвердила навсегда учение о Божестве.

Отношение Бога к Его разумной твари послужило темой для новых заблуждений. Школы Нестория и Евтихия пытались извратить апостольское предание. Одна отказывала Христу Богу в истинном Божестве, другая — в истинном человечестве. Обе (ибо в основании, обе ереси составляют одно) полагали между Богом и человеком непроходимую пропасть; обе от-

казывали Богу в возможности явиться существом нравственным, обладающим свободой выбора; тем самым они отнимали у человека высокое счастье проникать своею любовью в неисследимые глубины любви Божией. Церковь собрала своих старейшин и дала свидетельство: разумная тварь есть настолько образ своего Творца, что Бог мог быть и действительно был человеком. Пропасть закрыта. Человек прославляется дарованным ему правом исследовать совершенство существа вечного; в то же время, человеку даруется блаженная обязанность и собственным своим существом стремиться к нравственному совершенству, ибо он подобен Богу. Таков смысл соборных определений.

Такова Церковь в ее истории. Это история живого и неразрушимого организма, выдерживающего вековые борьбы против гонений и заблуждений; это разумная, взаимною любовью освещенная свобода, приносящая полноте Божественного откровения высокое свидетельство, в наследие грядущим векам.

Протестант ли расскажет эту историю? Но для него она не более как хаос происшествий без особенного значения, праздных словопрений, личных или народных страстей, притеснений от большинства, крамол от меньшинства, личных мнений, не имеющих важности, определений, не имеющих силы; может быть, это клад для книгохранилищ, но для человечества это ничто.

Римлянин ли скажет эту историю? Но он сам не высматривает в ней ничего более чем театральное представление, конечно, не лишенное некоторой торжественности, но чуждое серьезного значения; ничего более, как только многовековое пустословие, признак долгого невежества и как бы недогадки целого общества, которое, в продолжение пятисот лет присвоивало себе право обсуждать догматические вопросы, как видно не подозревая, что в его же среде находилась законная власть, которой одной это право было дано Самим Богом.

Нет, история Церкви, та умственная и нравственная закваска, которой Запад одолжен всем, что есть у него великого и славного, перестала быть понятною для раскола, с той поры как он отринул ее основание. Она при нас и при нас одних — эта история, строгая, как наука в логическом своем развитии, исполненная поэзии, как гимны первых веков, существенно отличная от всех бытописаний человеческих и бесконечно возвышающаяся над всеми их материальными и политическими треволнениями.

Церковь не говорит без важной надобности. Но в наше время Рим со своим Первосвященником во главе, учинил на нее нападение словом и она отвечала. Из недр невежества и уничижения, из глубины темницы, в которой исламизм держит христиан Востока, раздался голос и поведал миру, что познание Божественных истин дано взаимной любви христиан и не имеет другого блюстителя кроме этой любви.⁸⁾ Это слово было признано за слово Церкви. Оно заключает в себе общую формулу ее истории и стало величавым наследием для будущих веков. Для нас, сынов Церкви, это победная песнь среди страданий и голос Того, Кто за Свою любовь и Свою вольную жертву есть возлюбленный Отчий; но не побоюсь сказать, что ни одна честная и серьезная душа, верующая во что бы то ни было, или неверующая, не откажется признать, что это слово — одно из прекраснейших, когда-либо исходивших из человеческих уст. У кого же наследие прошедших веков? Где продолжается история Церкви? Где жизнь действительная при кажущемся омертвлении, где смерть действительная при кажущейся жизненности?

В моем первом ответе на несправедливое нападение, направленное против Церкви, я показал, что две части западного раскола суть только две формы Про-

8) Хомяков говорит здесь об ответе Восточных Патриархов в 1848 г. на послание папы Пия IX-го.

тестантства; что обе не что иное как несомненный рационализм, так как обе отрицают нравственное основание религиозного познания, а потому и не имеют никакого права сетовать на рационализм, на них нападающий; что обе, будучи погружены в логическую антиномию, высматривали в Христианстве только стороны его, в их отдельности, то есть единство без свободы, или свободу без единства; что обе, будучи одинаково неспособны серьезно защищаться, ни одна против другой, ни сообща против неверия, находятся теперь в эпохе истощения и упадка и что самые усилия их, которыми они стараются остановить свое падение, как например, их неизбежные столкновения и их условные союзы, могут только ускорить падение...

Религиозная мысль всего мира теперь при нас. Кто бы ни были наши враги и каково бы ни было их озлобление: ни неопределенные мечтания индивидуальной религиозности, ни маккиавельевская изворотливость государственных религий, ни утонченность софизмов, ни страстные усилия проповеди благодушно-невежественной, ни непримиримая ненависть, переходящая от прежних попыток **н р а в с т в е н н о г о б р а т о у б и й с т в а** к желанию **б р а т о у б и й с т в а в е щ е с т в е н н о г о**, словом ничто не исхитит человечества из рук Того, Кто за него принял смерть и завещал ему единую веру, — веру **л ю б в и**. Конечно, во все века будут встречаться люди испорченные, которые **н е з а х о т я т** уверовать; но не будет того, чтобы честные и чистые души **н е м о г л и у в е р о в а т ь**. Вся будущность в Церкви.

Может быть, меня упрекнут за жестокость моего слова; но пусть в него вдумаются. Если я не вышел из пределов истины, если не сказал ничего такого, чего бы в то же время не доказал, жестоким окажется самое дело, а не мое слово.

Уже много крови пролито на Востоке, а кровь распалает ненависть. Я однако имею о нравственном достоинстве души человеческой понятие настолько вы-

сокое, что надеюсь, и в настоящую минуту найдутся между вами, читатели и братья, люди способные выслушать меня беспристрастно.

Несмотря на громадность политических агитаций, на социальное брожение, далеко еще не достигшее своего конца, на кровопролитные войны и на кажущееся преобладание материальных интересов, наш век есть время мысли и по этой самой причине ему суждено иметь на будущность человечества влияние сильное. Конечно, общественные страсти могут возмущать ясность мысли; грубая сила может на время подавлять ее; но страсти притупляются и затихают, грубая сила надламывается или утомляется, а мысль переживает их и продолжает свое нескончаемое дело, ибо она от Бога.

В продолжение многих веков умственного развития Запад совершил великие и славные дела; но нравственную закваскою всех действительно-великих его подвигов было Христианство, и сила этой благотворной закваски обнаруживала одинаково могущественное действие как на людей, не веривших в нее и отвергавших ее, так и на людей, веровавших и хвалившихся своей верою. Ибо тот уже христианин (по крайней мере до известной степени), кто любил правду и ограждал слабого от притеснений сильного, кто выводил лихоимство, пытки и рабство; тот уже христианин (по крайней мере отчасти), что заботился о том, чтобы насколько возможно усладить трудовую жизнь и облегчить жалкую судьбу удрученных нищетою условий, которых мы не умеем еще вполне осчастливить. Оттого, несмотря на все эти общественные язвы и несмотря на шаткость ее верований, Англия, равно как и другие страны современной Европы, более заслуживают название государства христианского, чем средневековые королевства с их лживою и слепую, хотя нередко так громко прославляемую набожностью. Но не должно себя обманывать: христианская нравственность не может пережить учения, служащего ей источником. Лишенная своего родника, она естествен-

но иссякает. Нравственные требования, не оправданные доктриной, скоро теряют свою обязательную силу и превращаются в глазах людей в выражения непоследовательного произвола; правда, привычка некоторое время еще с ними уживается, но затем корысть и страсть отбрасывают их окончательно.

А в том-то именно заключается существенная опасность, грозящая настоящей эпохе, что мысль на Западе действительно обогнала религию, уличив ее в рационализме и непоследовательности; а религия обогнанная есть религия приговоренная.

Итак дело идет о спасении всего, что есть у вас прекрасного и доброго, великого и славного, о спасении вашей будущности умственной и нравственной; ибо в эту минуту вы принадлежите Христианству более сердцем, чем верою, а это не может долго длиться.

Не новому догмату учим мы вас: нет — это догмат первоначального Христианства. Не новое предание налагаем мы на вас; это то самое предание, которое соблюдали и ваши отцы до той поры, когда задумали низвергнуть наших отцов в духовный илотизм. Здание вашей веры разрушается и проваливается; мы вам приносим не новые материалы для его утверждения: нет, мы возвращаем вам только замок, отброшенный вашими предками, которым держался прежде весь свод — взаимную любовь христиан и присвоенные ей Божественные щедроты. Поставьте его снова на вершину здания, и впредь неразрушимое оно уже не будет иметь причин бояться критической работы разума; напротив, оно в состоянии будет вызвать его пылкость; оно предстанет опять во всем величии своих неземных размеров, на спасение, счастье и славу будущим родам.

Знаю, что наши слова встречены будут сильными предубеждениями; не смею даже назвать их несправедливыми; знаю, что каковы бы ни были ваши заблуждения, вы все-таки были бы вправе закидать нас упреками. Знаю, что вы могли бы спросить: где у нас те плоды, которыми должно знаменоваться при-

существование истины в народах, ее хранящих: знаю, что этих плодов требует от нас признательность и что неблагодарность наша их не дает. Не станем оправдываться; не будем говорить ни о пережитых нами исторических борьбах и страданиях, ни о примесях лжи в том просвещении нашем, которое более ста лет мы почерпаем из поврежденных источников. Все это нас не оправдывает. Каковы бы ни были ваши обвинения, мы признаем их справедливыми; в каких бы пороках вы нас ни упрекали, мы сознаемся в них, сознаемся смиренно, с сокрушением, с горестью. Но чтобы самим вам быть правыми пред собою и пред Христианством, будьте и к нам снисходительны! Не спрашивайте: правдоподобно ли, чтобы Господь для призвания вас пользовался орудиями, столь непокорными Его закону; но скажите лучше, что пути Божии для человеческого разума неисповедимы. Не спрашивайте: достойны ли мы нести вам слова истины, но вспомните лучше, что истина сама по себе прекрасна и стоит того, чтобы вы ее приняли, как бы ни были недостойны ее провозвестители. Дай Бог, чтобы наши грехи и наше жестокосердие не обратилось на пагубу и вам и чтобы не пало на нас двойное осуждение: за собственную нашу неправду и за внушенное вам предубеждение против самого закона Божия.

«Как прекрасно и сладко согласие между братьями! Это елей благовонный, стекающий на браду Аарона и на края одежды его, это роса благодетельная, которую ночь распространяет на вершинах Ермона и на благословенных холмах Сиона». Если сердце ваше когда-нибудь отзывалось на этот гимн ветхого Израиля, вам не покажется тягостным то нравственное усилие, которое вам предстоит над собою сделать. Осудить преступление, содеянное заблуждением ваших отцов против невинных братьев, — вот единственное условие, могущее возратить вам Божественную истину и спасти от неизбежного разложения всю вашу духовную жизнь. Подчинитесь ему и вы получите право, которое дает Церковь своим чадам, сказать: «Возлю-

бим друг друга, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святого Духа».

Обращаясь к вам с такими словами, мы, конечно, имеем в виду и собственную выгоду; ибо приобрести братьев есть величайшее благополучие из всех доступных человеку на земле; но не совпадает ли наша выгода с вашею пользою? Ужели так трудно совершить акт простой справедливости? Признать, что, по долгу совести, вы должны повиниться перед оскорбленными вами братьями и сказать им: «братья, мы согрешили против вас, но примите нас снова, как братьев возлюбленных» — признать этот долг и выполнить его, ужели это так трудно, так невозможно? Читатели и братья, испытайте, прошу вас, ваши сердца и ваши помыслы.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНИНА О ЗАПАДНЫХ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯХ

III

По поводу разных сочинений Латинских и Протестантских о предметах веры⁹⁾

Церковь есть откровение Святого Духа, даруемое взаимной любви христиан, той любви, которая возводит их к Отцу чрез Его воплощенное Слово, Господа нашего Иисуса. Божественное назначение Церкви состоит не только в том, чтобы спасти души и совершенствовать личное бытие: оно состоит еще и в том, чтобы блюсти истину откровенных тайн в чистоте, неприкосновенности и полноте, через все поколения, как свет, как мерило, как суд. Сокровенные связи, соединяющие земную Церковь с остальным человечеством, нам не открыты; поэтому мы не имеем ни права, ни желания предполагать строгое осуждение всех, пребывающих вне видимой Церкви, тем более, что такое предположение противоречило бы Божественному милосердию.

⁹⁾ Вышло в 1858 г. в Лейпциге по-французски. Здесь печатаются только отрывки из этого третьего письма.

Напротив, слова Духа Божия в послании Св. Павла к римлянам и в повествовании об обращении сотника позволяют нам питать сладкую надежду за всех наших братьев, каковы бы ни были заблуждения их учений. Мы твердо знаем, что вне Христа и без любви ко Христу человек не может быть спасен; но в этом случае, подразумевается не историческое явление Христа, как поведал Сам Господь. Христос есть не только факт, Он есть закон, Он осуществившаяся идея; а потому иной, по определениям Промысла никогда не слышавший о Праведном, пострадавшем в Иудее, в действительности поклоняется существу Спасителя нашего, хотя и не может назвать Его, не может благоговаять Его Божественное имя. Не Христа ли любит тот, кто любит правду? Не Его ли ученик, сам того не ведая, тот, чье сердце отверсто для сострадания и любви? Не единственному ли Учителю, явившему в Себе совершенство любви самоотвержения, подражает тот, кто готов жертвовать счастьем и жизнью за братьев? Кто признает святость нравственного закона и, в смирении сердца, признает и свое крайнее недостойнство пред идеалом святости, тот не воздвиг ли в душе своей алтарь Тому Праведнику, перед Которым преклоняется воинство умов небесных? Ему недостает только знания; но он любит Того, кого не знает, подобно самарянам, которые поклонялись Богу, не ведая Его. Говоря точнее: не Его ли он любит, только под другим именем? Ибо правда, сострадание, сэрдоболие, любовь, самоотвержение, наконец все поистине человеческое, все великое и прекрасное, все, что достойно почтения, подражания, благоговения, все это не различные ли формы одного имени нашего Спасителя? Другие слышали проповедь Его закона, но Он был представлен им в ложном свете, и они не могли отделить истины от примеси заблуждений, в которой она пред ними явилась, не смогли опознать ее, хотя сами принадлежали этой самой истине всеми своими желаниями и стремлениями.

Наконец, все христианские секты не заключают ли в недрах своих таких людей, которые, несмотря на заблуждения их учений (большею частью наследственные), своими помыслами, своим словом, своими делами, всею жизнью чествуют Того, Кто умер за своих преступных братьев? Все они, от идолопоклонника до сектаторов, более или менее погружены во тьме; но всем виднеются во мраке какие-нибудь мерцающие лучи вечного света, доходящего до них различными путями. Конечно, слабы, недостаточны эти лучи и каждую минуту могут угаснуть во мраке сомнения; но все они идут от Бога и от Христа, и средоточие у них в солнце Истины, которое светит для Церкви.

.

Ц е р к о в ь, органическое е д и н с т в о Церкви — все это такие положения, которых Реформа, не осуждая самой себя, отстаивать не может. Оттого большинство протестантов решилось уже обойтись без них; но тем самым, как я уже сказал, они отнимают у себя Священное Писание, обрекая себя на безвыходное кружение в безграничной области субъективного произвола. Выходит, по их понятиям, что т а й н а е д и н с т в а Творца с тварью, через Христа, была бы в в е р е н а р а з д о р у. Таков принцип Протестантства, какими бы историческими и диалектическими изворотами ни старались от него ускользнуть. Он опровергается сам собою. Сами протестанты начинают это понимать и, конечно, в их умственном развитии это важный шаг вперед. Неизбежное заключение, к которому должна придти Реформа, яснее в их глазах по мере того, как сами они углубляются в изучение религиозных вопросов. Понятно, что оно не укрылось от могучего мыслителя и добросовестного ученого, каков Бунзен. Но вывод отрицательный, сам по себе, приводит только к безверию: чтобы спастись от него, нужна положительная основа. В последнем своем сочинении «Бог в истории» Бунзен ставит начало столько же истинное, сколько богатое выводами.

«Библия существовала прежде чем была написана». Если так, то это предание. «Библия» (то есть Св. Писание) «немыслима без общины» (то есть без Церкви), «и община немыслима без Библии». «Писание есть писание Церкви, Церковь есть община Писания». Такое начало, выраженное в столь строгой, точной, истине христианской форме, совершенно ново в протестантском мире, и нельзя не признать, что оно родилось от ближайшего ознакомления с учением Церкви и теми объяснениями, которые даны о нем церковными писателями в наше время. Бунзен, равно как и все принимающие это основное положение, близки к Царству Божию, и нам позволительно думать, что луч света, добытый ими в последнее время, дан им в награду за серьезность и честную последовательность мысли, проявленную ими даже в заблуждениях. Дай Бог, чтобы наука, оставаясь верною самой себе, восторжествовала наконец над человеческой гордостью и покорилась Божественной истине, к о т о р о й б ы о н а не в с о с т о я н и и б ы л а о т к р ы т ь, но для которой могла очистить пути, опровержением ложных учений.¹⁰⁾

Как скоро начало поставлено, вывод из него легок и неотразим. Библия не есть книга н а п и с а н а я, ибо то, что написано, есть только видимая оболочка Библии: Библия есть книга мыслимая, книга как понимаемое начало. Книга эта есть мысль общины, ее внутренняя вера. Поэтому там уже нет Библии, где вследствие искажения доктрины, не стало общины или Церкви, хотя и остается вещественная сторона Библии т. е. книга как книга; ибо, как сказал Св. Григорий, говоря о пророках, смысл записанной тайны доступен только той общественной единице, которая сама по себе носит откровение этой тайны.

¹⁰⁾ В этом же смысле и Св. Климент Александрийский говорил, что философия воспитала эллинов ко Христу, как закон воспитал евреев. Эта мысль дошла к нему от его учителя, который сам был ученик апостолов.

Разумение доктрины и выражение разума в письменной форме следуют необходимо одним и тем же законам; ибо разумение предшествует написанию и переживает его, так что, в крайности, оно могло бы так сказать воспроизвести писание, если бы вещественная форма его когда-нибудь могла затеряться. Только раз сошел Святой Дух на апостолов, а через них на всех верных всех веков, и не для того Дух Божий нисходил на общину, чтобы потом удалиться, но для того, чтобы пребывать в ней навсегда. «С в. Писание писано всею Церковью» «Писание не есть писание Павла или Луки, но писание Церкви», как я сказал в двух первых моих брошюрах. Писание никогда не может сделаться книгой вчерашнего дня; оно есть и будет всегда книгой сегодняшней, потому что Христос всегда один и тот же вчера, и ныне и во веки, и потому что Церковь не иное что, как единство Бога с разумною тварью, так же как Церковь земная не иное что, как единство верных, создаваемое взаимною любовью в человеке Иисусе, нашем Спасителе и Боге.

Тайна Христа, спасающего тварь, как я уже сказал, есть тайна единства и свободы человеческой в воплощенном Слове. Познание этой тайны вверено было единству верных и их свободе, ибо закон Христов есть свобода. Спаситель удалил от учеников Свое видимое присутствие и однако Церковь ликует. Почему ликует римлянин? Он не имеет на это никакого права; но он хранит предание, хотя отнимает у него его смысл: ибо истина представляется ему чем-то для человека внешним. Он верит, что с вершины Капитолия раздается голос прорицателя; но не гораздо ли лучше бы было, слышать истину из уст Самого Искупителя? Однако он этого не восхотел. Христос з р и м ы й — это была бы истина, так сказать, навязанная, неотразимая (по вещественной осязательности ее проявления), а Богу угодно было, чтобы истина усвоилась свободно. Христос зримый — это была бы истина внешняя; а Богу

угодно было, чтобы она стала для нас внутреннею, по благодати Сына, в ниспослании Духа Божия. Таков смысл Пятидесятницы. Отселе истина должна быть для нас самих, в глубине нашей совести. Никакой видимый признак не ограничит нашей свободы, не даст нам меры для нашего самоосуждения против нашей воли.

Христос удалил видимое Свое присутствие. Человек ли какой-нибудь займет Его место? Но тогда истина осталась бы для нас внешнею, ибо совесть наша подчинялась бы голосу этого человека. И вот чего хотят проповедники папской непогрешимости, как ее понимают ультрамонтаны. Или, может быть, этот человек получит право навязывать им свое убеждение в тех лишь случаях, когда оно найдет себе подтверждение в согласии некоторого числа наших братьев? — это оговорка галликанцев. Но в обоих случаях наш выбор обусловился бы не свободным внушением нашей совести, просвещенной любовью, взаимно нас объединяющею, а простым свидетельством наших глаз, которые указывали бы нам, на которой стороне развевается римское знамя. Следовательно и здесь присутствию одного человека в одном из противоположных станов, присвоивалось бы право насиловать нашу совесть. Этот человек и был бы истинною зримою. Значит галликанцы только прибавили антилогическую оговорку к антихристианскому началу, провозглашенному ультрамонтанами. Или, может быть, этот человек только тогда будет значить что-нибудь, когда будет в согласии со всею Церковью? Но тогда все учение о папской непогрешимости обратилось бы в пустую фразу, лишенную смысла: ибо оказалось бы, что такую же точно власть имеет и каждый из сынов Церкви; сверх того романизм осудил бы этим самого себя в своем историческом происхождении, так как он изначально не захотел знать Востока, не призывал его на совет и совершил над ним нравственное братоубийство, присвоив себе монополию благодати. Этим самым, как я уже показал, и положил он основание Протестантству.

Повторяю: никакой внешний признак, никакое знамение не ограничит свободы христианской совести; Сам Господь нас этому поучает. Папа ли будет этим знамением? Но папа был осужден на соборе, признанном Церковью; папа подписал противохристианское исповедание веры на соборе, отвергаемом Церковью. Большинство ли епископов, созванных на собор? Но в Никее насчитывалось не более трехсот верных, а в Римини собралось более пятисот еретиков; это факт первостепенной важности, которого мы не должны забывать. Исповедание, составленное в Римини и известное под смешным названием *п о л у - а р и а н с т в а*, было в действительности полнейшим торжеством Арианства. Оно заключало в себе самую суть лжи, ибо заявляло, что можно быть подобным Богу отнюдь не в том смысле, в каком подобными Ему называются все разумные существа.¹¹⁾

Мы свободны, потому что восхотел этого Бог, и потому что завоевал нам свободу Христос свободой своего за нас жертвоприношения. Мы были бы недостойны разумения истины, если бы приобретали его не свободно, не подвигом и напряжением всех наших нравственных сил.

Мы были бы недостойны разумения истины, если бы не имели свободы; были бы неспособны уразумевать ее, если бы не держались в единстве, силою нравственного закона. Что благоволил открыть нам Бог, что изрек Дух Святой, что изглагонала в прошедшем Церковь Библию, соборными определениями, смыслом преданного обряда — все это нам дано. Разумение проявленного, никогда не прерывающееся проявление разумения (подвиг Церкви современной) все это вверено свободе нашей мысли, а мысль всей Церк-

¹¹⁾ О значении епископства я говорил во второй моей брошюре. Право объявлять церковную веру, по всему праву принадлежит епископам; но, при несогласии епископов между собою, вся Церковь решает в последней инстанции; а единомыслие всего епископства в заблуждении не может быть допущено, даже в виде предположения.

ви образуется гармоническим слиянием мыслей личных, просвещенных Божественною благодатью. Но и личная мысль не простая рефлексия анализирующего и рационализирующего духа; в ней всецело проявляется нравственное существо. Она приемлет научение не только словом, но всею полнотою церковной жизни. Она не итог умозаключений, а совокупность разумных стремлений. Ей служит выражением не только силлогизм выговоренный или силлогизм в мысли, но и созерцание и сердце сокрушенное и смирение искреннее и колена, преклоненные в молитве, и несомненная надежда, что Бог не откажет в истине Своей Церкви, спасенной Им кровию Сына Своего; паче всего, она есть взаимная любовь во Иисусе Христе, Едином Подателе силы и мудрости и слова жизни.

Но, спрашивают, как же мне избежать заблуждения? Молись, чтобы не впасть во искушение! Мы знаем: нет человека безгрешного, нет и человека, изъятото от заблуждений, как бы высоко он ни стоял; но согласие всех есть истина в лоне Церкви, а Церковь есть тело нашего Господа, по закону любви, который есть правило Церкви.

Единство внешнее, отвергающее свободу и потому недействительное — таков закон Романизма. Свобода внешняя, не дающая единства и потому также недействительная — такова Реформа. А мы знаем, что тайна единства Христа с Его избранными, единства, осуществленного Его человеческою свободою, открыта в Церкви действительному единству и действительной свободе верных. Познание сил, которыми совершилось наше спасение, вверено подобным же силам: иначе не могло и быть. Познание единства не могло быть вверено раздору, ни познание свободы рабству; но Церкви дано и то и другое, потому что единство ее есть не что иное, как согласие личных свобод.

Не редкость услышать от реформатов, что Церковь будто бы потому не обладает свободой, что ее связы-

дает ее собственное прошедшее, ее решения, ее соборы, наконец смысл, если не форма ее обрядов. Это возражение ребяческое. Стоило бы провести его последовательно, и мы пришли бы к заключению, что Церковь потому не может быть свободна, что не может в одно и то же время быть истинною и быть несогласною со Священным Писанием и с миром Божественных откровений. Свобода человеческого разума состоит не в том, чтобы по-своему **т в о р и т ь** вселенную, а в том, чтобы **у р а з у м е в а т ь** ее, свободным употреблением своих познавательных способностей, независимо от какого бы то ни было внешнего авторитета. Св. Писание есть откровение Божие, свободно понятое разумом Церкви; определения соборов, смысл обрядов, словом — все догматическое предание есть выражение того же откровения, понятого одинаково свободно, только под другими формами. Непоследовательность и противоречия знаменовали бы не свободу, а заблуждение; ибо что истинно сегодня, было истинно и в прошедшие века. Мысль современной Церкви (а мысль Церкви значит не что иное, как просвещенный благодатию ее разум ее членов, связанных между собою нравственным законом взаимной любви) есть та самая мысль, которая начертала писания, та самая, которая впоследствии признала эти писания и объявила их священными, та самая, которая еще позднее формулировала их смысл на соборах и символизировала его в обряде. Мысль Церкви в настоящую минуту и мысль ее в минувших веках есть непрерывное откровение, есть вдохновение Духа Божия.

Чтобы уяснить себе это умственное движение, нужно понять самую историю церковного догмата. Все тайны веры были открыты Церкви Христовой от самого ее основания. Все внутреннее познание Божественного (в той мере, в какой оно доступно земному человечеству) было дано ей от начала; и все эти тайны, все это познание, выражены были первыми Христовыми учениками, но были выражены только для Церкви, и только ею могут быть приняты. Сами по себе

Бог и Божественное невыразимы, слово человеческое не в состоянии ни определить ни описать их; оно может только возбудить в разуме, т. е. в мире человеческом, мысль или порядок мыслей, соответственных реальности мира Божественного. Мы знаем, что даже в области человеческих предметов, слова, которыми выражаются не отвлеченности, а понятия, взятые из живой реальности вещественной или духовной, бывают понятны только для людей, обладающих физическими органами или духовными способностями, необходимыми для их понимания; иными словами — понятны в той мере, в какой составляют как бы долю жизни самого постигающего субъекта. Оттого слепому недоступно действительное понимание слов «свет и цвет»; оттого человек, лишенный чувства красоты, не понимает слов ее выражающих; оттого душа, огрубевшая в чувственности, или погрязшая в эгоизме, слышит доносящиеся до нее слова любви, благоговения и почтения, но не проникает в их смысл. Не тем ли с большим основанием должны мы признать, что слова, которыми выражаются понятия о мире Божественном, могут быть понятны только для того, чья собственная жизнь находится в согласии с реальностью этого мира? Если самые эти понятия недоступны человеческой мысли, пребывающей в уединении своей личной немощи и порочности, а постигаются только Духом Божиим, который открывает их нравственному единству христианского общества, то естественно, что и слова, служащие им выражением, представляются в своем реальном смысле только тому, чья жизнь составляет как бы живую принадлежность организма Церкви.

Да! Разумная свобода верного не знает над собою никакого внешнего авторитета; но оправдание этой свободы в единомыслии ее с Церковью, а мера оправдания определяется согласием всех верных.

Тайны Божии открыты нам от начала. — Что же после того значит вся последующая работа, та, которая продолжается и в наши дни, будет продолжаться

во все века и которую историки нашего времени называют крайне неточно *р а з в и т и е м*? Я сказал, что нет на языке человеческом слов, которыми Бог и предметы Божественные могли бы быть в самом их существе определены или описаны. Человеческое слово есть только знак, более или менее условный, смысл которого изменяется не только по языкам, наречиям и эпохам, но и по мере развития науки и умственной жизни людей в вещах человеческих. И Церковь унаследовала от блаженных апостолов не слова, а наследие внутренней жизни, наследие мысли, невыразимой и однако постоянно стремящейся выразиться. Слово Церкви видоизменяется в свидетельство бесконечности идеи: иначе это слово было бы не более как вещественным отголоском, звучащим из века в век, но ничего не выражающим, кроме разве бесплодности и вялости умственного труда, или даже полного его отсутствия.

Господь сказал: «Я восхожу к Отцу моему и Отцу вашему и к Богу моему и Богу вашему». Св. Фома, вдохновенный духом истины, отвечал Ему: «Господь мой и Бог мой!» Все таинство воплощения ясно открылось с той минуты; и, однако, несколько веков протекло, прежде чем Церковь, устраняя ошибочные формулы, предложенные Несторианством и Евтихианством, заключила свою веру в строгую и сжатую формулу...

То же движение замечается в выражении всех догматов. Выражение — Вечное рождение, Вечное исхождение, Троица, Лица и пр. являются и входят в общее употребление мало-помалу: но все это движение не выходит из круга терминологии и никак не может быть принимаемо за развитие учения; напротив, учение остается неизменным навсегда. Вообще, поводами к выражению истины в формулах более строгих и более определенных служили для сынов Церкви ереси или ложные определения; но конечно это, так сказать, научное движение церковной терминологии, в сущности, нисколько не требует для своего обнаружения непременно встречи с заблуждениями; оно весьма

естественно истекает из потребности заявить, что христианское учение не набор слов, вытверженных наизусть и удерживаемых памятью, а приблизительное выражение истины Божией, постоянно созерцаемой и уразумеваемой внутренним смыслом сынов Церкви. Истина пребывает неизменно во все века; познание ее не изменяется; но выражение ее по самому существу всегда недостаточное, не может не видоизменяться сообразно с развитием аналитического слововыражения и с характером умственных приемов каждой эпохи. Отдельные лица свободно вносят в общий труд дань своих, более или менее удачных усилий; Церковь принимает или отвергает эту дань, не осуждая отдельных лиц, хотя бы они и заблуждались, если только труды их действительно добросовестны и если они приносят добытое ими смиренно, без диктаторских приемов и не насилуя совести братьев. Могло же случиться, что славный Григорий Нисский (по словам Варсонофия) предложил самое ошибочное толкование оснований, которыми оправдывается земное человеческое бедствование. Мог же св. епископ Иппонийский, желая раскрыть тайну существа Божия в троичности Его ипостасей, написать вещи, вызывающие невольную улыбку на уста мыслящего читателя; но никогда Церковь и не мыслила осуждать Григория за ошибку, или Августина за его детские определения. Оба принимали участие в строении Церкви: при этом, по несовершенству своей природы, они могли не высмотреть примеси соломы и щеп в массе добытых ими более прочных материалов; но неугасающий в Церкви огонь очистил их приношение и только действительно полезное и пригодное нашло место в стене здания. То же самое будет повторяться во всех подобных случаях: ибо и впоследствии не может быть недостатка в более или менее счастливых опытах анализа или приблизительного определения, как не было в них недостатка в прошлые времена... Но все вообще этого рода выражения могут только служить намеками на идею, но не определениями ее. Кто принял бы аналитическое

движение в церковной терминологии за развитие Церкви, тем самым всецело погрузился бы в рационализм. Труд аналитический неизбежен; мало того, он благ, он свят, ибо свидетельствует, что вера христиан не простой отголосок древних формул; но он только указывает на сокровище глубокой и невыразимой мысли, присно хранимое Церковью в своих недрах. Мысль эта не умещается в одной познавательной способности; она почиет в полноте разумного и нравственного бытия. Человек размышляет и ищет выразить свое размышление в слове; Церковь судит о слове: она одобряет его, когда оно истинно, осуждает, когда ошибочно, и могло бы навести верных на ложные пути, или когда, по внушению гордости, оно выдает себя за полное выражение истин, которые оно может только наметить. Таким-то образом, каждый человек, слепец и протестант по своему нравственному несовершенству, стоит всегда перед лицом Церкви, которая прозорлива и кафолична, потому что свята дарованием Святого Духа и благодатию взаимной любви в Иисусе Христе. Следовательно, свобода личного разума не поработана; но дело разума подлежит решающему пересмотру Церкви, а решение Церкви истекает не из логической аргументации, а из внутреннего смысла, исходящего от Бога, смысла (как свидетельствует история), даруемого безразлично невеждам и ученым, пастухам и пастырям душ.

Я уже показал, что вся история Церкви есть история просвещенной благодатию человеческой свободы, свидетельствующей о Божественной истине. Но в этом подвиге свободы должно различать две формы одной и той же силы. В Церкви, в ее целостности, является полнота свободы в Иисусе Христе; является свобода, создающая себя всегда непогрешимою, в настоящем как и в прошедшем, и уверенная всегда в себе самой и в дарах Духа Божия. В отдельном лице является смирение свободы христианина, который, будучи силен убеждением, что для Церкви заблуждение невозможно, приносит свою дань в общее дело, почитает себя

всегда ниже своих братьев, покоряет им свое собственное мнение и просит у Бога только сподобить его послужить органом веры всех. Такова та свобода, которой благословение Божие не покидает никогда...

Свобода и единство — таковы две силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе, спасающем и оправдывающем тварь через Свое полное единение с нею. Плод этих сил, по благодати Господней, не веренье и не познание, добытое анализом, а внутреннее совершенство и созерцание Божественного, иначе в е р а, которая по существу своему, равно как и по своему исходному началу, неприступна для безверия. Протестантское сомнение, ищущее веры и не находящее ее, Римская условность, поставляющая человека, так сказать, вне верования, которому он подчиняется, не могут ни соблюсти веру, которой у них нет, ни устоять против полного безверия, ими овладевающего. Скажу более — сами они суть не что иное, как безверие в принципе и зародыше...

Напротив того, на Востоке Церковь, оставшаяся верною всему учению апостолов, внутренним общением объединяющая верующих настоящего времени и избранных минувших веков, распространяющая благостыню своих молитв на грядущие поколения, которые, в свою очередь, будут молиться за своих предшественников, — Церковь зовет в свои объятия все народы и, в полноте несомненного упования, ожидает пришествия своего Спасителя. Спокойным оком зрит она, как век за веком, волна за волною, гроза исторических треволнений, потоки страстей и мыслей человеческих клубятся и сталкиваются вокруг камня, на котором она утверждается; зрит и не смущается, ибо верит в его несокрушимость.

Камень этот — Христос.

В Европе был еще мир, когда я в первый раз взялся за перо с целью указать моим западным братьям различие в началах между Церковью и всеми ис-

поведаниями, порожденными Римским расколом. Война между моим отечеством и тремя великими державами Европы еще свирепствовала во всей ярости, когда я снова обратился к читателям с продолжением начатого изложения. Теперь, когда я кончаю мой труд, в Европе опять царствует мир, со всеми его видимыми благословениями и всеми его затаенными раздорами. Исторические тревожения притихли, по крайней мере на время; борьба, в которой столько пролито крови, кончилась; неутомимая труженица, мысль человеческая, продолжает свое мирное шествие, которого ничто не в силах остановить. При наступившем минутном усыплении утомленных политических страстей окажутся ли люди более способными внять голосу истины и заняться интересами, превосходящими по важности все другие интересы, едиными действительными интересами, какие только есть у людей на земле?

Труд, который я предпринял и на который смотрю как на исполнение долга перед Богом и перед вами, читатели и братья, был для меня довольно тягостен. Смущало меня не употребление иностранного языка и не трудность показать превосходство начал Церкви перед началами раскола; я не думал удивлять красноречием и хорошо знал, что достаточно было простого изложения церковной доктрины, чтобы убедить добросовестных читателей в ее строгой последовательности и величавой гармонии. Но мне была тягостна необходимость говорить о Спасителе и о Его неизглаголанном совершенстве, о вере и ее тайнах, как о темах научного спора. Бог мне свидетель, что не так бы желал я говорить с вами об этих предметах, но это было неизбежно.

С одной стороны я видел, что вы находились в глубоком неведении сущности догматов Церкви; с другой видел с сокрушением, что все ваши борьбы для достижения истины оставались бесплодными и что явные противоречия ваших верований отдавали вас без защиты во власть неверию, от которого отбивается ваше сердце и которому, против вашей воли, часто

подчиняется ваш рассудок. Я должен был показать вам коренную причину вашей слабости, заключающуюся в исходной точке всего вашего религиозного развития... Равным образом я должен был изложить учение Церкви, чтобы доказать, что, по безупречной своей последовательности, оно столько же недоступно рационализму, сколько превосходнее его по своим началам. Все это, конечно, принадлежит еще к области умствований; но от них не может уклониться и вера в религиозном прении. Никогда ни одна истина живая, а тем паче истина Божественная, не укладывается в границах логического постижения, которое есть только вид человеческого познавательного процесса; но, в то же время, никакая ни человеческая ни Божественная истина не может быть законом логики противна, иначе говоря: не может заключать в себе действительного противоречия. Христос также не есть и «да» и «нет».

Вера, отвергая свою нравственную основу, сходит на почву рационализма: тем самым она ему сдается и не сегодня так завтра должна пасть под его ударами; таково неизбежное последствие самоотрицания в принципе. В этой формуле — вся история религии на Западе. Начало ее — Протестантство римское; продолжение — Протестантство немецкое.

Задача моя исполнена.

Бог во время, Им определенное, приведет снова европейские племена в лоно Церкви. К совершению этого святого предначертания призваны будут люди лучше меня, люди, более исполненные любви, но, может быть, и логический труд, мною оконченный, окажется не совсем бесполезным, как труд приготовительный. Местами он вам покажется сухим и суровым, — не сетуйте на меня за это, читатели и братья. Труженику, бросающему плодоносное семя, предшествует железное рало, раздирающее почву, подсекающее сорные травы и проводящее борозду.

Но, может быть, и теперь найдутся души избранные, в которых зародыш жизни, положенный Св. Писанием, чтением отцов, размышлением, и в особенно

сти благодатью Божией, дремлет под слоем наследственных заблуждений, и подобно зерну, которому ко-ра бесплодной земли мешает прозябнуть, ждет лишь прохода плуга, чтобы произвести плоды угодные Богу. Читатели и братья! Если таковые между вами найдутся, то я прошу их во имя той любви, которую обязан каждый питать к истине, к своим братьям и к своему Спасителю, не останавливаться на тех особенностях моего труда, в которых могли отразиться мои личные недостатки, но взвесить сказанное мною серьезно и внимательно. Если в ком-нибудь из вас я возбудил сомнения, тот пусть вдумается в них; если в ком-либо зародил убеждение, тот пусть взрастит его. Если кто-либо из вас уверился, что Запад в IX веке не имел права ставить себя верховным судиею над символом, ни объявлять своих восточных братьев отлученными от наследия, вверенного Духом Божиим в с е й Ц е р к в и, тот пусть отвергнет наследие преступления и воссоединится с невинными братьями, которых отри-нули его предки. Это очевидный долг, от исполнения которого ничто освободить его не может.

Три голоса громче других слышатся в Европе.

«Повинуйтесь и веруйте моим декретам», — говорит Рим.

«Будьте свободны и постарайтесь создать себе какое-нибудь верование» — говорит Протестантство.

А Церковь взывает к своим:

«Возлюбим друг друга, да единомыслием испове-мы Отца и Сына и Святого Духа!»

IV. ПИСЬМА А. С. ХОМЯКОВА

Эти письма выбраны из VIII тома Полного Собрания Сочинений и расположены в хронологическом порядке (в VIII томе они расположены по лицам, к которым они адресованы). Номер над письмом (напр., А. В. Веневитинову, 19) обозначает, что среди писем, адресованных такому-то лицу, данное письмо является таким-то по порядку. Примечания почти все взяты из VIII тома Соб. Соч. Буквы П. Б. в конце многих примечаний обозначают известного знатока русской старины, издателя «Русского Архива» П. И. Бартенева, одного из издателей Сочинений Хомякова из младших его сподвижников.

К матери.

1.

Под Шумлою, 1829 г.

Милая маменька, я получил Ваше письмо и с удивлением вижу, что письма, писанные мною к вам и бабюшке еще из России, именно из Киева (на синей бумаге, за неимением белой) со вложенными двумя маленькими песнями, сочиненными по дороге (не дошли). Я писал к вам также на первой станции за Дунаем, но отдал письмо на почту под Силистрией. Оттуда отправился я с главной квартирой, потом отделился от нее, присоединился к дивизии и к князю¹⁾, который меня принял очень хорошо, был свидетелем славного дела 30-го мая, где визиря так жестоко разбил наш главнокомандующий, и потом действующим лицом в деле 31-го, где дивизия наделала чудеса, поколотила турок жестоко, гнала их до Шумлы, взяла редуты (вещь неслыханная для кавалерии) и знамен и пушек пропасть. Я был в атаке, но хотя раза два замах-

¹⁾ Князю Мадатову, командиру 3-й гусарской дивизии. А. С. Хомяков, штаб-ротмистр гусарского принца Оранского полка, был у него адъютантом и высоко ценил его.

нулся, но не решился рубить бегущих, чему теперь очень рад; после того подъехал к редуту; чтоб осмотреть его поближе²⁾. Тут подо мною была ранена моя белая лошадь, о которой очень жалею. Пуля пролетела насквозь через обе ноги; однакоже есть надежда, что она выздоровеет. Прежде того она уже получила рану в переднюю лопатку саблею, но эта рана совсем пустая. За это я был представлен к Владимиру, но по разным обстоятельствам, не зависящим от князя Мадатова, получил только св. Анну с бантом, впрочем и этим очень можно быть довольным. Ловко я сюда приехал: как раз к делам, из которых одно жестоко наказало гордость турок, а другое утешило нашу дивизию за все горе и труды прошлогодние. Впрочем, я весел, здоров и очень доволен Пашкою³⁾.

Прощайте, милая маменька, целую ваши ручки и с глубочайшим уважением пребываю ваш покорный сын А. Хомяков.

Мы уже глядим за Балканы. Не успею теперь написать батюшке и целую у него ручку.

На войну Хомяков уехал из Петербурга 28 апреля 1828 года. 3 августа 1828 года он получил сильную контузию в руку от пули. За это ему дан орден Св. Анны 4-й степени. В следующем году, за дело под Шумлою, 31 мая, дан ему тот же орден 3-й степени с бантом, а при выходе в отставку он пожалован 29 мая 1830 г. орденом Св. Владимира. Иногда Хомяков носил эти ордена. П. Б.

Алексею Владимировичу Веневитинову

2.

Августа 2 дня (1830).

... Мысли уже иногда вскипают и обещают, что осень пройдет не без плодов. Впрочем, не думай, чтоб

²⁾ Отважное приближение к турецкому редуту было следствием заклада, о который Хомяков побился с кем-то из своих товарищей. Не желая потревожить свою мать, он скрыл от нее в этом письме, что был ранен в ногу.

³⁾ Слуга Хомякова.

я скучал в деревне. Погода хороша, собаки лихи, зайцы есть; так с этим не соскучусь. Прибавь к тому, что я из Турции привел коней славных, чудной езды, покойных, как люльки, горячих, как кипяток, и быстрых, как Добрынин Златокопыт. Книги есть, бильярд и смешные соседи, чего же больше! Вот я тебе сказал правду, да не всю правду: приходят часы, что хотелось бы побеседовать с приятелями, послушать разумных речей, потолковать о прекрасном, о политике, о бесконечности и непрерывные немые монологи разнообразить веселыми и спорливыми ответами. Я этого удовольствия лишен, может быть, тем лучше: поневоле подумаю и буду искать мысленных удовольствий в себе, не получая их извне. Потом и перо, и бумага, *vogue la galère!* Прощай, целую тебя сто раз и прошу тебя передать поклон мой... Погодину и *tutti quanti*.

А. Хомяков.

(VIII-27).

К супруге Екатерине Михайловне.

(Из тульской деревни).

1.

Dear Kitty,

Сейчас получил я твое письмо. Милый, чудный друг! Как жаль мне тебя; как грустно, что ты грустишь! Грустно и мне, Kitty; зато боле делом занимаюсь. Надобно как-нибудь сократить это время, как-нибудь отстранить минуты, в которые слишком живо чувствую разлуку. Как Свербеевы-то веселы, как довольны! Сидят, друг на друга глядят и радуются на своих деток. Ты бы не узнала К. А.⁴⁾: совсем другая, ничуть не парижанка, а просто чудная женщина. Все с детьми, ласкает, бранит и без стыда хвалит. В иных это смешно, в ней — мило. Как они мне были рады. Друг мой,

⁴⁾ Катерина Александрова, рожд. кн. Щербатова.

глядя на них, зло меня взяло. Зачем я от тебя уехал? Я видел в них тень нашего счастья; как оно мило и утешительно, а чувствую, что оно еще далеко, далеко не наше. Если бы ты была здесь, как бы мне было весело! Я ныне все был на ногах или верхом, и все думал: вот Kitty еще не была, этого еще не видала. Будь здорова, пожалуйста! Весело тебе будет здесь. Если только можно будет тебе ездить, лошадка для тебя прелесть; нарочно будто для тебя создана, маленькая, ножки струнки, головка резная. Я ее и гладил и даже целовал, думая: может быть, Катенька на тебе будет ездить. Душа моя, зачем ты плакала! Знаешь, что мне до того было грустно с тобой расставаться, что я в коляске чуть-чуть не заплакал.

Смешная! Велишь об себе думать. А как бы не думать. Ты у меня так и вертишься перед глазами до того, что иногда, спохватившись, я смеюсь, потому что чувствую, что я губами шевелил в мнимом разговоре с тобою. О Степанчике⁵⁾ вечером молюся и о тебе; но ты меня приводишь в затруднение. Иначе не умею называть, как моя радость. Какой эгоизм в молитве, а серьезно иначе назвать не умею. Ходил по комнатам, был в нашей спальне, да и поскорее оттуда ушел.

Не ссорься со мною: будь здорова! Береги себя, живи днем завтрашним, днем свидания. Как рощи зелены, как в рощах бы мы гуляли! Впрочем, и в Москве с тобою хорошо. Как тебе в голову пришло, что я стану или могу ездить с собаками? От дела поскорее отделаюсь, да и к тебе, к тебе. Когда увидимся, как я тебя буду бранить за твои слезы, целовать за твои слезы. Не хочу об этом думать.

(Между 1835 и 1839 г.)

(VIII 11-12).

⁵⁾ Первый сын А. С. Хомякова, умерший ребенком

Николаю Михайловичу Языкову⁶⁾

1.

Грустное известие пришло из Петербурга. Пушкин стрелялся с каким-то Дантесом, побочным сыном голландского короля. Говорят, что оба ранены тяжело, а Пушкин, кажется, смертельно. Жалкая репетиция Онегина и Ленского, жалкий и слишком ранний конец. Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось и что ему хотелось рискнуть жизнью, чтобы разом от нее отделаться или ее возобновить. Его Петербург замучил всякими мерзостями; сам же он себя чувствовал униженным и не имел ни довольно силы духа, чтобы вырваться из унижения, ни довольно подлости, чтобы с ним помириться. Жена, вероятно, причина дуэли; впрочем, вела себя всегда хорошо.

Бедный Пушкин! Пожалей об нем и помни, что если он умрет, так тебе надобно будет вдвое более трудиться. Заочно лобызает тебя твой любящий брат А. Хомяков. (1837)

Николаю Михайловичу Языкову.

2.

Любезный брат Николай Михайлович.

Ты уже, вероятно, имеешь о дуэли Пушкина довольно много подробностей, и поэтому рассказывать не стану тебе рассказней. Одно, что тебе интересно будет знать, это итог. Пушкина убили непростительная ветренность его жены (кажется, только ветренность)

⁶⁾ А. С. Хомяков еще юношей познакомился с поэтом Николаем Михайловичем Языковым (род. 4 марта 1803, ум. 26 декабря 1846) в дружественном им обоим доме Елагиных (у которых Языков, уже прославившийся своими стихами, жил долгое время в Москве по возвращении своем из Дерпта).

Летом 1836 года они породнились: Хомяков женился на младшей сестре Языкова, Екатерине Михайловне.

и гадость общества петербургского. Сам Пушкин не оказал твердости в характере (но этого от него и ожидать было нельзя), ни тонкости, свойственной его чудному уму. Но страсть никогда умна быть не может, Он отшатнулся от тех, которые его любили, понимали и окружали дружбой почти благоговейной, а пристал к людям, которые его принимали из милости. Тут усыпил он надолго свой дар высокий и погубил жизнь, прежде чем этот дар проснулся (если ему было суждено проснуться). Государь щедр и милостив к его семье; этого я ожидал от Государя. Посланник голландский принужден оставить Петербург, потому что общество все против него восстало, а Государь оправдал поступки общества. В последние дни жизни Пушкина 25,000 человек приходили и приезжали справляться об его здоровье. Это все-таки утешительно. По крайней мере, гадость общества не безраскаянная. Не умели сохранить, но умели пожалеть. Будь здоров и не забывая тебе преданного брата А. Хомякова. (VIII 86). 1837.

К матери

Ефремов (1839).

2.

Любезная матушка. Приехал я сейчас в Ефремов. Ярмарка только что начинается. Скотина, к которой я приценялся, дорога; лошадьми торговля еще не началась. В Спасском⁷⁾ я пробыл около суток, из которых часов двадцать бранил приказчика. Впрочем, полевой обработкой я более доволен, чем в прочие года... (VIII 6).

Алексею Владимировичу Веневитинову

13.

...Добро бы еще жить в Смоленской губ.; а в Тульской! Это просто какое-то грязное чистилище от гре-

⁷⁾ Богородницкого уезда, Тульской губернии.

хов. Кстати, у нас там новый губернатор кн. Голицын⁸⁾; не умеет говорить по-русски и совершенно лишенный всякой народности. Об нем чудные слухи, рассказы, похожие на мифы: чуть-чуть не искоренил разом все взятки. Туляки не верят своим глазам. Муж (проситель) возвращается из присутственных мест и показывает жене непочатый портфель с деньгами, и опять пересчитывают вдвоем, дивясь чуду, благословляют князя и надеются на золотой век. Поэзия, истинная поэзия! Но никто не верит, чтобы князь остался. *Et le sort ne fera que le montrer au monde.* Таков же и Гевлич⁹⁾ симбирский. Насилу эти две губернии отдохнут. Ради Бога, введите публичность в суды, господа законодатели! (VIII 45).

Мая 23 д. (1840).

А. В. Веневитинову

19.

От души поздравляю тебя, любезный друг¹⁰⁾. Сбылось мое давнишнее желание: ты избрал надежнейший путь к счастью. На Святой Руси нужен свой дом, своя семья для жизни; нужно внутреннее успокоение для того, чтобы внешняя деятельность была спокойна и плодотворна, чтобы унялась лихорадочная нетерпеливость и чтобы всякое доброе стремление соединялось с постоянством и последовательностью, без которых невозможен успех. Невесты твоей я не знаю; но уверен в твоём будущем счастье, потому что ты не мог дурно выбрать, и потому что ото всех слышны единогласные ей похвалы. Эгоизм наш немножко было возростал на то, что она не из Москвы родом, что она отнимает тебя у нас, но говорят, что, воспитанная в Петербурге,

⁸⁾ Князь Андрей Михайлович Голицын был тульским военным губернатором с 1840 по 1846-й год.

⁹⁾ Ксенофонт Павлович Гевлич.

¹⁰⁾ А. В. Веневитинов помолвился с графиней А. М. Вьельгорской (1818-1884). Брак их состоялся 10 февр. 1843 г. П. Б.

она Петербургу не принадлежит, следовательно, есть надежда, что она может полюбить нашу Москву и нас, москвичей. Твое дело стараться об исполнении этой надежды. Впрочем, нечего об этом и говорить: тебя здесь так любят, что твоя невеста не может нас не полюбить...

12 янв. 1842 г. (VIII 55).

Алексею Владимировичу Веневитинову

(Москва, февраль 1843)

20.

...Наше московское житье-бытье идет по-старому, в сладкой и ненарушимой праздности, в отвлеченностях, в беседах довольно живых, вертящихся все около одних каких-нибудь предметов, которые идут на месяцы и года... Записка ежедневных может быть легко заключена в следующей форме: «те же о том же». Ежегодное повторение одних и тех же бесед очень похоже на оперу в Италии: одна идет на целый год, и слушателям не скучно. Это не похоже на Питер. Мы называем такие беседы движением мысли; но Языков уверяет, что это не движение, а просто моцион. Одно только явление истинно оживило нынешнюю московскую зиму: лекции Грановского об истории средних веков. Профессор и чтение достойны труда лучшего европейского университета, и к крайнему моему удивлению публика оказалась достойною профессора. Я не ожидал ни такого успеха, ни такого глубокого сочувствия к науке о развитии человеческих судеб и человеческого ума. Ты видишь, что я не пристрастен к Москве. Вот жизнь московская. Моя еще немного сложнее. Осенью охотился на славу; да ты ведь этого не понимаешь, а то бы я тебе описал, каков у меня Дракон половой. Зимой езжу на вечерние беседы, а дома делаю розыскания о предметах современных: Семирамиде, ликийских надписях и Кире. Есть, однако

же, надежда, что на будущий год дойду до Рождества Христова, и все это, охота, беседы и копанье в древности, замыкается в тихой домашней жизни, которой счастье ты уже знаешь. (VIII 69).

Ю. Ф. Самарину

(1843 г., сент. 15

С. Богучарово)

...Человек не имеет права отступить от требований науки. Он может с утомления закрыть глаза, на- сильно на себя наложить забвение; но последующий за этим мир есть гроб повапленный, из которого не выйдет никогда ни жизни, ни живого. Если он раз соз- нал раздвоение между наукой (анализом) и жизнью (синтезом), ему остается один только исход — в са- мом анализе, ибо синтез сам себя поверять не может. Верны ли положения науки, вот вопрос. То есть стро- го ли верен был сам себе анализ? От этой проверки за- висит возможность примирения...

(Но) тайники жизни и ее внутренние источники недоступны для науки и принадлежат только любви...

Из двух человек один знает про свет только то, что он светит, а другой рассказывает вам все за- коны преломления, раздробления, отражения лучей и т. д. Из двух говоривших о любви один знает только слово любить, а другой объясняет все действие любви так ясно, что можно вывести безошибочно, как любя- щий поступит в данном случае. Вы скажете, что вто- рые гораздо лучше знают свет и любовь, чем первые. Так! Но великий знаток света — слепорожденный про- фессор, а знаток любви — чорт. Знают ли они? Оче- видно меньше первых. У них знание внешнее, у тех зна- ние внутреннее, гораздо полнейшее, несмотря на от- сутствие логических определений... *Истинно мы знаем только то, в чем живем и чем живем...*¹¹⁾.

¹¹⁾ Курсив редактора.

Р. S. Какой бы ни был ваш теперешний или будущий вывод из полного изучения науки, не жалеете о подвиге мыслителей, как будто пропавшем даром. Правда, все это могло бы и не быть, как могла бы и не быть история, но семена, посеянные давным-давно, должны дать плод, и не даром пропадает труд того, кто приближает время спелости.

(VIII 228, 229, 230, 231).

А. В. Веневитинову

21.

...Мы с тобою уже вроде старичков и должны быть охраною для младших. Петербург имеет свои соблазны... общество и подавно. Поддержи в Самарине его московские, то есть общечеловеческие интересы и постарайся, чтобы не погиб для науки человек, который от природы назначен для умственного труда. Доброе дело само себя награждает, и легко было бы составить в Петербурге кружок с характером московским, в котором бывать так сказать людям, не испортившимся в общей порче, было бы и отрадно, и привольно. Такой кружок восстановил бы многих, утративших отчасти свою лучшую натуру, и, я уверен, получил бы вскоре нравственный авторитет...

24 окт. 1843.

(VIII 58).

Алексею Владимировичу Веневитинову

(Март 1844 г.)

24.

...Лучшим проявлением жизни московской были лекции Грановского. Таких лекций, конечно, у нас не было со времени самого Калиты, основателя первопрестольного града, и бесспорно мало во всей Европе. Впрочем, я его хвалю с тем большим беспристрастием,

что он принадлежит к мнению, которое во многом, если не во всем, противоположно моему. Мурмолка (вероятно, ты знаешь, что это такое) не мешала нам, мурмолконосцам, хлопать с величайшим усердием красноречию и простоте речи Грановского. Даже П. В. Киреевский, прославившийся, как он сам говорит, не-изданием русских песен и прозвищем великого печальника земли русской, даже и он хлопал не менее других. Ты видишь, что крайности мысли не мешают какому-то добродушному русскому единству. Все это бесстрастно. Не то что у вас в Питере, где мысль, если когда проявится, гневлива, как практический интерес.

(VIII 66-67).

Ю. Ф. Самарину

Октября 10-го (1844 г.)

3¹²).

Ваши письма меня очень утешили. Я не боялся за вас Петербурга: он представлял, по моему мнению, только одну, так сказать, механическую опасность. Общество, служба, приятели, театр и пр. могли захватывать у вас время так совершенно, что на себя остались бы только часы сна и обеда. Вы эту опасность знали и, следовательно, должны были ее избавиться легко, выгородив себе часы дня в полное и неприкосновенное владение. Другая опасность, верование в какую бы то ни было существенность службы, в какую бы то ни было практическую пользу (разумеется, не для себя, а для других) для вас не существует. Я знаю пример, что люди добросовестные, с душою доброю и благородною, были обмануты этим призраком: они поверили и погибли. Но это время прошло. Даже

¹²) После блистательного диспута Самарин, в начале августа того же 1844 года, отправился в Петербург на службу. Его личное намерение было избрать себе ученое поприще, но он повиновался в этом случае желанию своего отца.

истые петербуржеры уже опомнились; а вам, узнавшим Русь и русскую жизнь и ее отношения к механизму бумагопрядения до вступления в великую петербургскую фабрику, ошибка было невозможна ни на минуту. Что же оставалось? Обаяние общества и его успехов? Об этом и думать нечего при таком обществе. Вот что я думал, когда вы поехали; а все-таки весело слышать от вас, что именно все сбылось по моим предположениям, что вы человек свободный попрежнему, что вы трудитесь и что мы увидим плоды этого труда.

Когда кончите свой новгородский подвиг¹³⁾, не замедлите прислать и дайте позволение им воспользоваться. Первая просьба моя, вторая Валуева^{13а)}. Да скажите: разбирая летопись, не заметили ли вы след Запада в Новгороде? Мне влияние Запада явно (в равнодушии религиозном, в знакомстве с немецкими сагами о Дитрихе и т. д.); но заметно ли оно в остатках юридического быта? Намеки были бы драгоценны. Они должны находиться в последней эпохе Новгорода; в первой их искать нельзя. Еще любопытно бы было знать отношения Новгорода к области. Имели ли областные жители право гражданства полное? Вопрос очень важный. Нет ли намеков для разрешения его? Если области не имели полного права гражданства, то падение Новгорода объясняется легко. Впрочем, я думаю, по общему ходу русских обычаев, что области не были унижены, а что города находились только в подчиненности, так сказать семейной. Новгород был господин не в смысле слова господин-владыка, а в смы-

¹³⁾ Самарин занимался тогда историей Новгорода и начал писать исследование о князе и вече.

^{13а)} Дм. Александр. Валуев, племянник Хомякова по жене, молодой человек высоких, чистых стремлений, полный любви к науке, скончавшийся в следующем 1845 году. Он успел издать при жизни два сборника, «Исторический» и «Симбирский», поместив в последнем большое самостоятельное свое исследование, ценное и до сих пор, «О местничестве». Кроме того, ему принадлежит статья «О христианстве в Абиссинии», и он же издавал «Библиотеку для воспитания», при содействии Хомякова, П. Г. Редкина и многих ученых.

сле «господин-батюшка». Виноват за эту страницу погодинского слога.

Еще веселее мне от другого вывода, который я позволю себе сделать из вашего письма. Для вас не прошло еще время борьбы и не наступило примирение. Оно вам попрежнему кажется невозможным. Так и должно быть. Оно невозможно, покуда хоть одна препона остается, покуда логический мир не отделится в мысли совершенно от мира жизни и факта, покуда он не познается как закон отношений, то есть внешний. Придет непременно время, когда вам представится он в своей ограниченности и когда вы будете негодовать на гордость его притязаний точно так же, как вы теперь негодуете на притязания формализма общественного в его стремлении подчинить себе живую свежесть вольной жизни, например, когда Киселев (чтобы ему ни дна, ни покрывки!) заменяет нестройную сходку правильною баллотировкою. Каково? Поистине, народы дикие любят порядок! Покуда еще не наступило примирение, мне весело и более чем весело видеть, что механический процесс, которому подверглась ваша жизнь в Петербурге, приносит добрые плоды. Вам становится ясным, что воля человека имеет великое влияние на его мышление даже тогда, когда оно, по видимому, старается удержаться в пределах необходимой, неуклончивой логики. Вы совершенно правы и даже, вероятно, в отношении к самому себе, но не судите себя слишком строго и не обвиняйте совершенно свою волю. Вспомните, пожалуйста, мои слова пред вашим отъездом и какого добра я ждал для вас от Петербурга. Постоянные занятия в области чистого умозрения действуют на мысль, как усилее что-нибудь вспомнить. Не вспомнишь, покуда не поедешь с собаками или не пройдешься пешком. Кроме того, жизненный закон проявляется не только в выводах философских: он делается явным из законов истории, из художества, из права, изо всего, что есть. Все эти выводы, которые вам являлись отдельными, покуда вы критически изучали всякий предмет отдельно, сольются для

вас в одну общую гармонию, в один общий вывод освобожденной жизни. Видите, как хорошо я рассуждаю о пользе вашего отсутствия; а едва ли вы поверите, как оно мне досадно, как мне часто хочется высказать вам мысли, которые мне беспрестанно приходят при чтении, при разговорах и пр., именно вам: не потому только, что вам они были бы понятнее, чем кому-либо, но и потому, что вы более всех выражаете общую потребность человеческого ума в наш век, потребность мысли умиренной. Знаете ли, что мне просто стало досадно, когда вы в своем письме вспомнили об наших прошловесенних беседах? (VIII 232-5).

Алексею Владимировичу Веневитинову

27.

...Благодарю за отзыв об моей статье. Ты сам знаешь, что я вообще мало имею авторского тщеславия и насчет статей журнальных не могу иметь даже и самолюбия. Отзыв твой меня радует не как писателя, а как человека и гражданина; потому что во мне есть искреннее и глубокое убеждение, что мы, москвичи, на досуге могли получить и получили сознание всероссийской болезни и что я, едва ли не первый, узнавший ее диагностику, во всяком случае первый ее описываю прямодушно и откровенно. Сознанное может быть вылечено, но для этого нужно сознание общее или, по крайней мере, сильно распространенное. Нужны для этого новая жизнь, новая наука, нужен нравственный переворот, нужны любовь, нужно смирение гордого и ничтожного знания, которое выдает себя за просвещение и само верит своему хвастовству.

...Покуда живу я в деревне, купаюсь, стреляю, охочусь с собаками и пр., готовлю еще статью, которая будет последнею в порядке моих статей, и если цензура смилуется, то скажу почти все, что на душе у

меня; потом прощай публика, и брошусь в объятия Семирамиды, то есть разработки исторических наук.

Ars longa, vita brevis.

(1844).

(VIII 72).

А. В. Веневитинову

28.

...Приезжай хоть на несколько дней, да вот бы было славно, коли б ты приехал не один. Ведь стыдно сказать: жена моя никогда в Москве не бывала. Просто, как будто бы в России не бывала. Неужели это невозможно? На каких бы свирепых агнцев¹⁴⁾ вы могли наглядеться! Какой бешеной кротости послушаться! Ведь это явления совсем чуждые Петербургу, не говоря уже о Кремле и прочих древностях, как то Петр Васильевич Киреевский.

...Вероятно, ты по старой дружбе, которой, как известно, ты никогда не изменяешь, порадовался деятельному выступлению Шевырева на поприще публичного преподавания. После Грановского дело было трудное и опасное. Наш Шевырев вышел из затруднения с торжеством. Он пробуждает сильный интерес, и если не равняется с соперником в ораторских достоинствах, то превосходит его в пробуждении интересов жизненных и духовных. Эти явления многозначительные, которые показывают, на какую высоту стала Россия в европейском просвещении и как самобытно она уже умеет думать и говорить. Круг нашей публики еще бесспорно очень тесен, но ведь это только начало, так сказать, закваска мысли. Сила не в числе, а в плодотворности убеждения принятого, хотя и малым числом. Триста слушателей Шевырева перевешивают бесспорно несколько тысяч читателей французского романа, тем более что Москва не неподвижный город: она, то есть ее зимние жители, разгуливают летом по

¹⁴⁾ Так называл А. С. Хомяков молодого друга своего К. С. Аксакова.

всей России, разнося и раскидывая мысли и семена мысли. Лекции и «Москвитянин» служат пополнением друг друга, и едва ли живая речь по своей теплоте и непосредственному действию на слушателя не берет верха над журналом, несмотря на его большую полноту и многосторонность. Впрочем, так как ты не можешь никого посылать на лекции, то, по крайней мере, правдою и неправдою принуждай всех брать «Москвитянина» и Библиотеку для Воспитания. Стыди, ускоряй, соблазняя и проч. Держись, наконец, иезуитского правила:

Compelle intrare.

(VIII 74-75).

А. В. Веневитинову

29.

Любезный друг!

В последнее время имел я о тебе довольно подробные известия чрез Самарина и гр. Соллогуба, и все известия были крайне утешительны. Как ты усердно тянешь служебную лямку, как у вас в доме тихо и мирно, какой ты мастер нянчить детей, как ты помнишь и любишь Москву, как читаешь «Москвитянина», как ты все тот же, что был, или, лучше сказать, стал даже лучше прежнего, потому что счастье семейное укрепляет и умиряет человека и проч., и проч. Заметь, пожалуйста, что я в числе добрых известий поставил и усердное служение твое по министерству. Добросовестное усердие становится редкостью; оно свидетельствует об отсутствии эгоизма, о способности и желании жертвовать собою в пользу других, о свежести души, еще не утратившей своих мечтаний и т. д. В этом отношении я считаю твой служебный подвиг истинно добрым и утешительным; но только в этом. Истинная польза службы кажется мне более чем сомнительною при совершенной ее материализации. Формальность убивает дух, и эта формальность растет со дня в день. Для исправления машины увеличивают бес-

престанно число колес, а по законам механики сила (хотя и громадная) уходит в трение, а доход фабрики в сало для подмазки вечно скрипучих частей. Я это пишу для того, чтобы не принял ты мою первую похвалу или за совершенно безусловную, или за шутку. *Surtout pas de zèle*, говорил Талейран, а я прибавлю, что все церкви московские испорчены усердием православных, вечно пристраивающих приделы. Упрощение или, так сказать, одухотворение служебной машины: вот истинная цель, к которой можно и должно стремиться. Этого не поймут ваши великие мужи; но ты, как москвич, должен это понять. Остальные похвалы без оговорок: да по правде они и не похвалы. Человека хвалить нельзя за то, что он счастлив и умеет быть счастливым. Этому только можно радоваться. Если за что-нибудь тебя можно похвалить, это разве за то, что внешний, тебя окружающий мир так мало на тебя подействовал, и что ты сохранил такую самостоятельность внутренней жизни. Такой подвиг редко кому удастся. За то мы и радуемся, слыша о тебе, и твой домашний кружок представляется как маленький светлый оазис среди безродного петербургского быта, отделенного от нас бесконечною бездною. Что я тебя люблю издавна братскою любовью, ты это знаешь; мне бы хотелось, чтоб жена твоя знала, как мы ее здесь любим, не зная или по крайней мере не выдав ее. Я уверен, что она не будет смеяться над этою московскою *naïveté*.

У нас здесь в литературе вышла сумятица великая и очень неприятная. Киреевский взялся за «Москвитянина» с ревностью, которая свойственна его характеру. Ты мог видеть, как его статьи были сильно обдуманы и как много он должен был для них работать; но он не рассчитал своих физических сил. Работа его была вся по ночам, и для отгнания сна он употреблял самый крепкий чай. Эта вредная диета и крутой переход от долгого бездействия к усиленной деятельности расстроили его здоровье до такой степени, что теперь он принужден отказаться от журнала. Погодин также не

может его принять на себя, и что будет — неизвестно. Нам просто беда и горе; тут дело не до самолюбия нашего и не до чести московской литературы, но до мыслей, которые мы хотели и должны обобщить. Одна только служба теперь, истинно полезная даже в практическом смысле: это уяснение мысли в России, не в гнев буди сказано вам, г-м служащим на другом поприще, и журнал дело первоклассное даже в отношении к государству, особенно при возврате к народности или при теперешнем споре своенародного с прошлым и чужим.

...Мне непременно хочется иметь при детях англичанку. Иные считают это моею мономаниею, но я полагаю себя правым и рассудительным. Здесь их нет, а у вас открывается навигация и привоз всего заграничного. Узнай, пожалуйста, нет ли в привозе молодой англичанки (если можно между 18-ти и 25-ю годами), которая согласилась идти к нам смотреть за маленькими детьми (старшей пятый год). Наук от нее требуется только умение читать. В нравственных же качествах главное — веселонравие.

М(ая) 21 (1845).

(VIII 76-78).

Ю. Ф. Самарину

7.

Вот уже полтора месяца, как я собираюсь к вам писать в ответ на ваше письмо, но горькие заботы меня заставили откладывать со дня на день. Вы знаете, как они кончились. Из нашего круга отделился человек¹⁵), которого никто мне никогда не заменит, — человек, который был мне и братом и сыном. Этот удар был для меня невыразимо тяжел; но, отвлекая себя от личного чувства, я могу сказать, что это потеря невознаградимая для нас всех. Его молодость,

¹⁵) Дмитрий Александрович Валуев, племянник Хомякова по жене Хомякова, талантливый молодой деятель просвещения и ученый, умер 23 ноября 1845 г.

деятельность, чистота, миротворящая, хотя ни в чем не уступающая, кротость нрава и, наконец, его совершенная свобода и независимость от лиц и обстоятельств — все делало его драгоценнейшим из сотрудников в общем деле добра и истины. Богу угодно было, чтобы такая прекрасная жизнь рано кончилась; но, к счастью, Валуев многое начал, и начатое им, я надеюсь, не пропадет, а продолжится. Тысячу раз благодарю вас за ваши хлопоты о дозволении переезда тела его в Москву. Нам отрадно будет его иметь около себя, ибо все мы теперь или позже, а принадлежим Москве, как месту нашей умственной деятельности; да и ему прилично лежать в Москве: он ей принадлежал, ибо есть такие направления и такой характер мысли в жизни, которые теперь нигде, кроме Москвы, невозможны. Место ему назначили мы в Даниловском монастыре возле Венелина. Кажется, так лучше всего. Какое-то духовное сродство и без сомнения единство целей существовало между ними, несмотря на великие разницы в жизни и чистоте. Вы, конечно, сочувствуете моему горю; но никто не может вполне оценить, что я в Валуеве потерял и как много я ему обязан был во всех самых важных частях моей умственной деятельности. Во многом он был моею совестью, не позволял мне ни слабеть, не предаваться преобладанию сухого и логического анализа, к которому я по своей природе склонен. Если что-нибудь во мне ценят друзья, то я хотел бы, чтобы они знали, что в продолжение целых семи лет дружба Валуева постоянно работала над исправлением дурного и укреплением хорошего во мне.

1845 дек. 17.

(VIII 248-9).

Н. М. Языкову

27.

Жена моя немножко стала оправляться. Ее сильно поразил этот удар¹⁶⁾; он и мне не легче, да у меня

¹⁶⁾ Кончина Д. А. Валуева.

нервы-то покрепче. Теперь она говееет, и это, разумеется, ее успокоит. Какая тяжелая потеря для всех нас. для нашего дела, а особенно для Катеньки и меня! Я так с ним сжился душою, что с трудом понимаю, как мне быть без него. Такие потери могут просто отучить от жизни, и зачем это Иноземцев посылал уж его?.. Как много я ему обязан, как много он охранял меня от лени и праздности! Его жизнь и дружба была мне Божиим благодеянием, а и он меня любил какою-то любовью полубратскою, полусыновнею. Как грустно и тяжело вспомнить, что он был!

Догадаемся ли мы пользоваться примером, данным им, самоотвержения, деятельности и общепользных стремлений? Как много бы еще сделал он, если бы пожил! Память его с похвалою.

Дек. 4 1845.

(VIII 112-113).

Ю. Ф. Самарину

8.

Апреля 6-го (1846 г.)

Поздравляю вас с наступающим и, когда письмо дойдет, уже наступившим праздником. На-днях получили мы весть об вас от Чиждова, и вести все хорошие, как вы в Питере все держитесь московских обычаев и пр. и пр. Одно грустно, что все-таки в Питере. Я было за вас порадовался, что вы оттуда выбираетесь хоть в Чухляндию настоящую¹⁷⁾, а теперь опять, кажется, не то выходит. Хоть комитет ваш и устроен по чухонским делам, да совсем не то действовать на месте, видать своими глазами, бороться с наличными страстями, наконец, делать самому справки, или действо-

¹⁷⁾ То есть в Ригу. Самарин, прослужив около года в сенате, перешел на службу в м-во вн. дел помощником делопроизводителя в открытом тогда комитете по устройству лифляндских крестьян и предполагал отправиться в Ригу, откомандированным к вновь назначенному генерал-губернатору Е. А. Головину.

вать издали, по бумажным донесениям, по чужим справкам, нападать на заглазные страсти и заглазных людей и заступаться также за людей, которых отроду не видывал. Все это дело мертвое и холодное, и скучное; добро бы было легко и сопряжено с бóльшим досугом, а этого и ждать нельзя. Так что мы можем радоваться вестям об вас, но не за вас, потому что положение ваше крайне незавидно. Терпи, казак, хоть и атаманом не будешь.

Впрочем, за всем тем я не уверен, совершенно ли без пользы пропадает ваше время в Петербурге¹⁸⁾. Разумеется, что там ни прозелитов мысли, ни истинного сочувствия искать не должно (это было бы детскою мечтою); но твердость высказанных убеждений и верность этим убеждениям в жизни, поскольку она от нас зависит, могут быть не совсем бесплодными. Если другого плода не будет, то уже какое-то невольное уважение к мысли, даже скрытое иногда под личною самодовольной насмешки, может родиться хоть в некоторых и приготовить их к будущему сочувствию. В вас довольно смелости, чтобы выговаривать мысль явно, довольно твердости, чтобы устраивать свою жизнь по норме, которая вам кажется лучшею; сверх того, в вас столько воздержанности, что вы не на каждом шагу будете разбрасывать мысль, следовательно есть возможность нравственного действия, хоть я убежден, что изо всех почв в мире, за исключением, может быть, венской, самая неблагоприятная почва петербургская. Да, по правде (и с позволения Аксакова), неужели наша московская почва не только хороша, но хоть сколько-нибудь сносна? Неужели это не совершенная пустыня в нравственном и даже умственном отношении? Понимаете ли ту глупость, которая поздравляет вас (как это недавно случилось со мною) при пятидесяти свидетелях, на вечере, и с самою наивною благонамеренностью, с глупым движением галиц-

¹⁸⁾ Самарин в письме своем к Хомякову горько сетовал на бесплодность своего пребывания в Петербурге.

ких дворян¹⁹? Что же здесь могут понять, когда не понимают, что между всеми мыслями общественными или политическими Запада и моими убеждениями столько же симпатии, сколько между чортом и лада-ном? Это меня взбесило, потому что тут открылась передо мною целая бездна неисповедимой глупости. Впрочем, разумеется, я отвечал очень умеренно и только спросил (зная уже про реакцию крестьян): «А вы все что по этому случаю намерены делать?» Ответ: «Как мы? Да нам-то какое дело?» На это я возразил: «Есть пословица: гром не грянет, мужик не перекрестится; а я прибавлю: гром грянет, а дворянин все-таки не перекрестится». На это последовали помахивание головами и взгляды, полные необыкновенно глубокомысленной глупости. Вы видите, что здесь или в Питере утешение почти одинаково, с тою только разницею, что здесь менее гнусных явлений общественной роскоши и самодовольства и более свободы для умственных трудов; но, право, была бы воля, будет и возможность труда, и тем более силы в труде, чем более он вырывается из-под внешнего гнета.

Собою я отчасти недоволен. Две статьи, одна для Сборника²⁰), другая для Библиотеки для воспитания: вот все, что я сделал, кроме весьма небольших прибавок к своему постоянному труду. Впрочем, кое-что в разысканиях исторических подвинулось, и поэтому я только отчасти недоволен, но каюсь в лени. Курс Грановского²¹) слаб, и публика холодновата. Изложение местами очень хорошо и доходит до высокого, художественного эффекта своей необычайной простотой; но исследований никаких, мыслей никаких, кроме взятых на прокат, и от этого все вместе как-то вяло и безжизненно. Лекции Шевырева выходят, первые пять

¹⁹) Известное движение польских дворян, вызвавшее реакцию со стороны крестьян, или восстание против помещиков (даже резню), чем и воспользовалось австрийское правительство к своей выгоде.

²⁰) Для московского сборника 1846 года.

²¹) Грановский снова читал ряд публичных лекций.

вышли; они выдерживают чтение гораздо лучше, чем я ожидал. Книга будет хороша и занимательна, и полезна. Филарет благословил его за нее образом; представьте радость Шевырева!

Не знаю, слышали вы, что в издании Сборника встретилось замедление. Панова мать умерла, и он поскакал в Симбирск; впрочем, ждем его скоро назад.

Скажите Попову²²⁾, что я с ним заочно христосуюсь, а не пишу, потому что он давно знает, каков я корреспондент, но скажите ему и очень грустную весть, которой он еще, может быть, не знает: Алексей Андреевич Елагин²³⁾ кончил ударом. Это страшная потеря для семьи и истинная потеря для друзей. В этом человеке, повидимому грубом и неотесанном, много было теплоты чувства и ума. Попову верно будет тяжела эта весть. Прощайте, будьте здоровы. Жена моя вам кланяется и тем дружественнее, что слышала, что вы постились по-московски. (VIII 250-253).

Письмо к неизвестному лицу²⁴⁾

Эмс, 8 июля 1847 г.

Я оставил у Ганки еще другую пьесу, начинающуюся так:

Не гордись перед Белградом
Прага, чешских стран глава!
Не гордись пред Вышеградом,
Златоверхая Москва! и пр. и пр.

Так что, очевидно, Прага на меня подействовала очень сильно²⁵⁾. Ганка просто чудный человек. Он мне обрадовался и меня обрадовал. Ничего не могло быть лестнее его приветов. Когда я ему сказал свое имя, он мне только сказал: «Неужели тот самый!» Я

²²⁾ Александру Николаевичу, перешедшему уже на службу в Петербург.

²³⁾ Муж Авдотьи Петровны Елагиной и отец Василия и Николая Елагиных.

²⁴⁾ Адресат не установлен.

²⁵⁾ Первая пьеса: «Беззвездная полночь».

это вам пишу очень добродушно и уверен, что вы не оподозрите меня в самолюбии, ценящем людей только потому, что “ils m'estiment”, как говорит наш московский знакомый. Ганка всех помнит, всем посылает поклон, но вам с попреком. Ему везли какую-то книгу, а вы удержали посылку, уверив, что эта книга у него уже есть. С Шафариком провел я вечер и был как сыр в масле. Славный, живой, умный, дорожит лимбургским сыром, т. е. старою старинкою, этимологией и всем. Прелесть! Я бы прожил охотно целую неделю в Праге, а был только полтора дня. От Шеллинга, Неандера ровно ничего не добился. Решительные иммерцы! Впрочем, я очень полюбил Неандера. Еще был я у Гримма. Немец, но хорош. Здесь в Эмсе житье мне славное. Место милое. Гоголь погостил четыре дня. Жуковский здесь; пропасть написал и прекрасные вещи. Гоголь бодр и хорош; но нисколько нельзя предвидеть, что он будет писать или делать. Сам не знает. Рекомендую вам славную немецкую книгу “Aus der Gegenwart”. Что за глупая земля теперешняя Германия!

(VIII 451)

Александре Осиповне Смирновой

... Державы европейские изменились: нет уже ни прежней Австрии, ни прежней Пруссии; интердикт Польши бесполезен для них. Он ни теперь, ни прежде не был нужен России; ему не для чего продолжаться.

Вот, кажется, прямой и простой взгляд на факт исторический. Вывод был бы ясен.

Пусть восстановится Польша, во сколько может. Познань с Гданском (Данциг), княжество Галицкое и Краков, герцогство Варшавское и часть Литвы, не говорящая по-русски. Но так как это дело не административное и не правительственное, а народное и историческое в высшем значении слова, то в нем не должно быть признаваемо никакое случайное различие между людьми, и голоса должны быть собираемы поголовно: дворяне единицами в счете крестьянских единиц, го-

рода причислены к деревням и т. д. Даже отсутствующие могут быть все допущены к подаче голоса письменно в той области, к которой они желают быть причтены. Голоса народные должны быть подаваемы на языке народном, в Польше по-польски, в Литве по-литовски (совершенно непонятно для поляков), в Галиче по-галицки (то есть почти по-русски). Всякая область должна иметь право приписаться или к новой Польше, или к соседней державе, или составить отдельную общину под покровительством или без покровительства другой державы. То же право должно быть распространено к славянам Лузации и Шлезии; то же право может быть распространено благородным сеймом венгерским на славян, хорватов, словаков, руснаков и других.

Таким образом, будущая судьба славянских народов будет определена ими самими; а, кажется, роду Романовых нечего бояться народного голоса.

Россия надеется, что это предложение будет принято и приведено в скорое исполнение; она готовит списки всеобщие к половине июня нашего стиля. До тех пор границы ее (то есть до решения вопроса), или лучше сказать границы, вверенные трактатами ее хранению, должны быть неприкосновенны.

Если же, несмотря на это предложение, кто-нибудь осмелится своевольно или насильно, предупреждая голос народа, вторгнуться в пределы, охраняемые Государем, того встретит сила России. За нас будет честность нашего намерения, правота нашего дела, Бог и даже совесть наших врагов.

Такое объявление могло бы быть сообщено всем правительствам и народам и напечатано во всех газетах.

Тут нет ни малейшей тени уступки, ибо исполняется только намерение покойного Государя, и тут же смелый вызов на бой. Это было бы громовым ударом, который ошеломил бы весь мир. Все будут сбиты с толку, ни одна собака не осмелится брехнуть на Государя, и врагам останется только молчать или хвалить

хотя бы им пришлось подавиться этой невольною хвалою.

Вероятные последствия. При уничтожении аристократического влияния и уменьшении городского влияния в Польше, в крестьянстве оказалось бы много голосов в нашу пользу, а в Галиче большинство (по сродству языка, и особенно по духовному сродству) было бы или за нас, или по крайней мере за отдельное существование, и этим самым Польша была бы подорвана навсегда. В Литве то же или почти то же, вследствие употребления литовского языка.

Верные последствия. Государь наш стал бы выше всей Европы. Предлог к войне устранен: Франция задохнулась бы в своем банкротстве, Германия запуталась бы в вопросах о Данциге и в своих неразрешимых задачах. Магьяры и славяне принялись бы драться через две недели и отвлекли бы всех западных славян. Частный вопрос о Польше потерялся бы в вопросе общем, мировом; и Русский Царь, совершенно свободный в своих действиях, был бы решителем и законодателем всего европейского движения.

Часть практическая проста. Добросовестное заготовление списков, запрещение всех манифестаций для сохранения порядка и объявление, что всякий беспорядок будет наказан как преступление против законов, против Государя и против народа; сильная охрана границ, строгая казнь против зажигателей и разбойников, изгнание заговорщиков и освобождение их имений, если они дворяне, и передача имений ближайшим родственникам в городах, и тому подобное. Дальше моего ума не хватает.

М. 21-го 1848 г. Москва

(VIII 395-7)

Александр Николаевич Попову²⁶⁾

6.

(17 марта 1848)

Правы вы были, когда писали, что дела есть на свете еще и поважнее парижских. Падение Австрии или, лучше сказать, распадение ее, совершилось или совершается. Для иных это дело чисто-политическое, для нас дело историческое. Исчезнет след карловской империи. Первенство германской стихии, по крайней мере в отношении вещественном миновалось. Папа, раскачав Италию и пустив в ход силы неподведомственные ему, сидит себе в уголке Рима грустненький и слабенький. Папство Григория идет туда же, куда карлова империя, — в исторический архив. Туда же за ними протестантство и католицизм. Поле чисто. Православие на мировом череду. Славянские племена на мировом череду. Минута великая, предугаданная, но не приготовленная нами.

Теперь вопрос, — сумеем ли мы воспользоваться ею? Можем ли воспользоваться ею? Грустно, а должно признаться, что опасений должно быть у нас столько же, сколько и надежд. У большей части славян порча германо-римская (Богемия и Польша) прошла до костей и мозга. У других, менее испорченных (словаки, краинцы и др.) была и есть склонность к нам; но первая радость, первое опьянение свободы, вероятно, увлекут их к той области, из которой исходит видимое движение, то есть к Западу. Чистейшие народы, наименее подвергшиеся влиянию Запада во всех отношениях и особенно в религиозном (сербские), вероятно, подпадут двойному соблазну

²⁶⁾ А. Н. Попов, юрист и историк, человек самостоятельного ума и большого просвещения, родился в 1820 году, скончался 16 ноября 1877 года. Он принадлежал к числу младших приятелей и единомышленников А. С. Хомякова, который узнал его в семействе Елагиных. Попов служил сперва в министерстве юстиции, а потом до конца жизни во 2-м Отделении Собственной Его Величества Канцелярии.

политического построения и вещественного просвещения, которое нас увлекло с Петровской эпохи. Вот опасности вероятные и едва ли не верные, которые предстоят нам; вот с чем нам приходится бороться. Сил потребуется не мало, сил сознательных, многосторонних и соответствующих требованиям современным.

Такова наша общественная задача, общественная, а не правительственная; ибо правительство только направляет употребление сил, а не создает сил. Безнаказанно нельзя смешивать общественную задачу с политической; на это может только решиться революционная Франция, и, разумеется, она и пожнет плоды своего безумия. Германия склонна к той же ошибке; но есть еще надежда, что она несколько позамедлит и надоумится примером соседки. Со времен революции торжествует (хотя, разумеется, существует издавна) нелепое учение, смешивающее жизнь общества государственного с его формальным образом. Это учение так глубоко пустило свои корни, что оно служит основанием самому протестантству политическому (коммунизму или социализму), разрешающему задачу общества только новою формою, враждебною прежним формам, но в сущности тождественно с ними... Перевоспитать общество, оторвать его совершенно от вопроса политического и заставить его заняться самим собою, понять свою пустоту, свой эгоизм и свою слабость — вот дело истинного просвещения, которым наша русская земля может и должна стать впереди других народов. Корень и начало дела — религия, и только явное, сознательное и полное торжество православия откроет возможность всякого другого развития. Падение папства откроет путь, ибо протестантство уже пало; но этого мало. Поле чисто, да его надобно вспахать анализом науки и засеять семенем живым. Хватит ли у нас сил и ревности? Будет ли свобода добру, или смешают его со злом, потому только, что оба похожи друг на друга способностью жить и двигаться?..

Александру Николаевичу Попову

7.

(1848)

Завтра, любезный Александр Николаевич, выезжаем мы из Москвы. Пора, давно пора! Жары смертельные, холера сильнее, чем когда-нибудь, все перепуганы, и даже те, которые к испугу не очень способны, тревожатся невольно от беспрестанных толков, от которых отбиться невозможно. Медицина отвратительна, по какому-то глубокому равнодушию медиков, в одно время трусливых и беззаботных. Опытов не делают и делать не хотят, а тащатся бессмысленно в колею уже проторенной. Я не могу добиться, чтобы кто-нибудь из них решился хоть испытать простое лечение следующим средством: *Morphii Acetici* с водою лавровишневой или с разведенною амигдалиною и в то же время кл. из крахмала с опиумом. Если, чего Боже избави, у вас тоже есть в Питере след холеры, поищите медика, который бы решился на такой опыт, и уговорите его. Ведь, кроме пользы, доктору была бы европейская слава. Что до меня касается, впрочем, я держусь одного, говорю то же беспрестанно всем знакомым, и вам, и Веневитинову, и Муханову: имейте всегда при себе стекляночку *Iresaciana* и стекляночку *Veratrum album*. Тысяча человек этим лечены в Мценске, и никто не умер; но доктора не хотят про это и слушать.

В общей беде есть у меня и частная досада, хотя, впрочем, эта частная досада есть также отзыв другой общей заразы, хотя и не холеры. Мою статью об Англии не пропустила цензура. Если бы вы только могли видеть, что именно не пропущено, вы бы едва поверили своим глазам; а заметьте, что это не особенная строгость ко мне, а просто страх, принятый за правило здешними цензорами, которых будто бы пугают из ваших сторон. Да где же тут толк? Неужели генералы и даже адмиралы разные, как говорит Гоголь, не понимают уже ровно ничего в теперешнем положении дел? Неужели не понимают, что налагать молчание на

самodelьную мысль все то же, что готовиться к войне и запретить всякую выделку пороха для того, чтобы он не сделался орудием мятежа; то же, что обезоружить страну для того, чтобы она не употребила оружия во зло? Вы кое-кого видите людей умных, благомыслящих и отчасти небессильных. Пожалуйста, поговорите, попросите их об том, чтобы была дана хоть малая свобода московской цензуре. Вы меня знаете; вы знаете, что мне статья журнальная не может быть дорога по славе или самолюбию. Но видеть, что нет никакой возможности принести хоть какую-нибудь пользу, это несносно; а еще несноснее видеть, что этот слепой страх, которым проникнута цензура, ведет к беде. Москва с своим Кремлем и тройным оцеплением святых мест, охватывающих ее со всех сторон, — это Оксфорд России, но Оксфорд огромный, много сильнее английского. В ней сосредоточивается и выражается сила историческая, сила предания, сила устойчивости общественной; но этой силе нужно выражение, этому выражению нужна свобода, хотя бы в свободе и проглядывало какое-нибудь, повидимому, оппозиционное начало. Эта мнимая оппозиция есть истинное и единственное консерваторство. Пусть этому началу положат совершенную преграду, пусть отнимут всякую возможность выражения у этой силы предания и общественной устойчивости; пусть заморят ее совершенным молчанием (ибо молчание есть смерть силы духовной), и тогда через несколько лет пусть поищут с фонарем живой силы охранной, — и не найдут. Теперь не только можно, но должно поощрить, развязать умственное движение в центре жизни нашей, в Москве, а цензура делается неслыханным бичом. Просто поверить нельзя, до чего она доходит. Я не стану ничего цитовать, потому что пришлось бы цитовать целые статьи; но одно слово может вам дать некоторое понятие об этом сумасшествии. Слова низшие классы, рабочий народ или класс запрещают решительно в статье об Англии. Довольно ли этого? Разумеется, нельзя и думать, чтобы такие наставления были даны цензорам;

но они, до того напуганы, что у них просто ум помутился; а между тем словесность должна замолкнуть, всякая жизнь умственная должна замолкнуть в Москве, и тогда я желал бы посмотреть, что положит преграды умственной контрабанде. Это дело не шуточное. Надобно, чтобы об нем подумали; надобно, чтобы цензорам и властям цензурным здешним было объяснено, что этот нелепый страх вреден и крайне вреден, что он не к добру. Я знаю, кто радуется этому молчанию словесности нашей, кто с насмешкой говорит: *tu l'a voulu*²⁷⁾, какой дух торжествует в бессилии доброй мысли; и вы это можете знать, и всякий разумный и благомыслящий должен это знать. А в то же время в обществе, которое ничего не знает, но досадует на молчание, слышно: «Вот видите ли, никто доброго слова не хочет сказать», или, как я слышал: *“La conspiration de la parole est remplacée par la conspiration du silence”*²⁸⁾. Очень забавное положение.

(VIII 171-173)

Александру Николаевичу Попову

9.

(16 августа 1848).

... После моего последнего письма опыты мои над холерой продолжались и вполне подтвердили мое убеждение. Некоторые усовершенствования сделаны мною еще. Прием уменьшен первоначальный до полустакана, зато повторяется через четыре или шесть часов, разумеется в уменьшенном виде и через сутки также уменьшенный. Питье изобретено отличное: молоко, в которое вливается несколько уксусу. Творог оседает быстро, и свежая сыворотка утоляет жажду и восстанавливает силы с невероятным успехом. Дай Бог, чтобы это лечение приняли, и я по совести убежден,

²⁷⁾ Ты этого хотел.

²⁸⁾ Заговор слова заменен заговором молчания.

что холера, как бич, делается просто рококо. Лекарство найдено эмпиризмом крестьян; я же имею только ту заслугу, что сознательно его изучил и усовершенствовал, именно примесью масла и распределением приемов. Верьте мне, впрочем, что это мне далось не даром: я решительно вступил в бой с холерой, и эта двухмесячная борьба не случайная, а веденная с намерением и решительностью, отозвалась порядком на моем здоровье. Я в продолжение всего этого времени испытал все волнение битвы. (VIII 178)

Александру Николаевичу Попову

11.

22 октября (1848 г.)

... Не знаю, как вы будете довольны предисловием и введением; а по совести скажу вам, что я доволен. Дай Бог, чтобы это пошло в ход! Для меня это дело совести. Я говорю тут не как христианин, а как работник науки. Стыдно, что богословие, как наука, так далеко отстала или так страшно запутана. Когда предстоит средство ее выдвинуть из темноты, этому делу способствовать обязан всякий, кто может. Поэтому я постарался вкратце в предисловии определить характер рукописи, без чего, пожалуй, его бы и не заметили, а в введении постарался, так сказать, пафосом (говоря слогом новой школы) обратить внимание читателей на предстоящий вопрос. Есть, может быть, в конце и нечто раздражающее или гордое; но без некоторой обличительной смелости едва ли может выходить истина на поприще мировое²⁹). Помните, пожалуйста, как я написал; сами же скажите мне свое мнение откровенно, и если вы недовольны или придумали лучше, то пошлите и свое введение к Жуковскому. Пусть он выберет. Дело общее. К Жуковскому пишу на-днях. Правда ваша: надобно спешить, а не то отцы

²⁹⁾ Эти введение и предисловие утрачены.

напутают. Макарий³⁰⁾ провонял схоластикой. Она во всем высказывается: в беспрестанном цитовании Августина, истинного отца схоластики церковной, в страсти все дробить и все живое обращать к мертвому, наконец, в самом пристрастии к словам латинским, как, например, основное для него слово религия, или уморительно-смешное выражение фамилия патриархов. Я бы мог его назвать восхитительно глупым, если бы он писал не о таком великом и важном предмете. Я рад, что он, так сказать, по образцу деревенских барынь, в контре и пике с Филаретом. Авось, хоть со злости, что-нибудь да осмелятся сказать или из Академии, или из духовенства московского или киевского. Но, увы! страх так велик, что и личная досада, пожалуй, смолкнет или будет только работать подспудно, если не совсем без пользы, то по крайней мере без чести. Стыдно будет, если иностранцы примут такую жалкую дребедень за выражение нашего православного богословия, хотя бы даже в современном его состоянии ... (VIII 180-181)

Ю. Ф. Самарину

12.

(Марта 1-го 1849 г.)

... Конец прошлого года и начало нынешнего показали нам, что никогда нельзя угадать, что откуда возьмется. Пример великолепнейшей этой истины находится в окружном послании³¹⁾ и в той тревоге, которая поднята им в нашем духовном мире. Кто ждал такого явления? Кто поверил бы, что инстинкт церков-

³⁰⁾ Автор православного богословия и истории русской церкви.

³¹⁾ Окружное послание восточных патриархов в ответ папе Пию IX, изданное в русском переводе нашим Св. Синодом отдельною книжкой в 1850 г., через два года по его появлении в подлиннике. См. выше письмо к А. И. Кошелеву. В нем говорится между прочим, что «у нас ни патриархи, ни соборы никогда не могли ввести что-либо новое, потому что хранитель благочестия у нас тело Церкви, то есть народ».

ной истины дойдет до такого ясного сознания в духовенстве мало просвещенном и глубоко-испорченном внешними обстоятельствами и своею схоластическою наукой? То, что мы говорили между собою и чего никто не смел и не мог сказать или напечатать явно, высказывается во всемирное услышание: самое анти-иерархическое учение (разумея иерархию по-западному) проповедуется высшими иерархами нашей Церкви, и так просто, с такою несомненною уверенностью, что, кроме добровольно слепого, всякий, слышащий слово, должен мгновенно увидеть всю внутреннюю и свободную жизнь православия. Это очень важно для нас; надеюсь, что это будет еще важнее для Запада, поскольку там еще есть люди, ищущие правды. Я об этом пишу Пальмеру. Истина духовная, раз допущенная и сознannая, не ограничится и не может ограничиться одною только областью догматики. Вера имеет в себе силу, необходимо охватывающую всю жизнь; признание народа церковного хранителем истины, чем-то целым и духовно-живущим, и погружение самой иерархии в народ повлекут за собою другие последствия не только в жизни церковной, но и в жизни общественной и гражданской; наконец, самый факт окружного послания и проявление вселенства спокойного, самоуверенного и живого в минуту всеобщей разрозненности и борьбы подействуют, как весьма сильный толчок в сфере духовной, хотя разумеется, что мы не должны ждать от него мгновенных последствий, как от журнальной статьи или правительственной меры во Франции. Вообще мы не можем ничего ожидать скорого, ибо всегда должны помнить, что борьба наша не в крови и плоти. Те, которые посвятили себя великому всемирному труду христианского воспитания (а вне этого труда мы и значения никакого не имеем), те прежде всего должны быть терпеливы.

(VIII 265-266)

Графине А. Д. Блудовой

2.

... Что вам сказать про здешние толки о вашем северном коммунизме?³² Слухи об намерениях клубов внушают негодование, а молодость клубистов внушает сострадание. Вообще рассказы очень темны, и иные очень забавны. Я уж не говорю об уничтожении всех церквей и пр. и пр.; но мне довелось слышать от одной барыни (к несчастью, не тетки моей), что клубисты хотели перерезать всех русских до единого, а для заселения России выписать французов, из которых один какой-то, которого имени она не знает, считается у них Магометом. Я подозреваю, что мнение этой барыни несколько преувеличено, и думаю, что вы со мною будете в том согласны; но, оставив в стороне толки и пересуды Москвы, а может быть, и Петербурга, не худо бы было постараться открыть истинную причину того страшного развития коммунизма в школах, которое положило начало открытым клубам. Болезни не вылечишь, не узнав ее причины. Позволяю себе сообщить вам свое мнение. Во время оно в России преобладало семейное воспитание. Правительство, усомнившись в просвещении молодых дворян, положило им экзамены, так называемые комитетские. Видя злоупотребление этих экзаменов, оно отменило их и потребовало ото всех университетского курса. Семейное воспитание было стеснено, но не совсем еще уничтожено: для студента оставалась возможность оставаться еще при семье своей или примыкать к чужой семье. Наконец, оподозрены и университеты, и свобода воспитания: все привилегии, все места по службе предоставлены замкнутым школам. Дети чуть-чуть не из пеленок переданы в казармы общественного воспитания; дети оторваны окончательно и всегда от заподозренной семьи, от привычек и от святости семейной жизни; семье объявлено во всеуслышание, что она недостойна правительственного доверия и что образование слуг

³²⁾ Так называемая история Петрашевского.

правительственных может совершаться благонадежно только в фаланстериальном устройстве замкнутых школ; премия дана коммунистическому началу, и сильнейший оплот против него уничтожен. Дальнейший вывод сделаете вы сами, ваше сердце и ваш разум; но даю вам слово, что сын мой (если Бог даст ему жизнь) не будет лишен семьи, хотя бы ему пришлось отказаться от всякой службы государственной. Этого требует от меня совесть, этого требуют начала русской жизни, которых корень в семье.

Простите мне неприличную и непривычную для меня серьезность тона. Я редко впадаю в этот грех; да уж, видно, время такое.

Мая 16 д. 1849 (Москва). (VIII 376—377)

Графине А. Д. Блудовой

3.

... В Ростове на ярмарке делается большой торг колоколами. Поверенный от какого-нибудь бедного прихода дает задаток за колокол и вывешивает свою покупку на площади. Под колоколом блюдечко, подле колокола сторож, объявляющий цену его и состояние прихода. В блюдечко падают гроши и гривенники, а иногда и тысячи рублей. За каждое приношение, будь оно грош или тысяча, колокол, слегка тронутый сторожем, отзывается благодарным звоном; с утра до вечера звенит вся ростовская площадь, и часто, частехонько приход получает свой колокол даром, да еще и с приплатою. Вот простые обычаи московской земли.

(2 апр. 1850 г.) (VIII 379)

Графине А. Д. Блудовой

5.

... Я не могу без удовольствия вспоминать нынешнее лето: такая была теплота, такой воздух, такие чуд-

ные вечера, такие прозрачные и светлые, и мягкие ночи. Если бы я еще мог писать стихи, то написал бы непременно; но нет, ничем не удалось мне оставить хоть для себя память этого лета, кроме одного дела, полу входящего в круг хозяйственный, полу выходящего из него. Впрочем, это дело для меня утешительнее всех стихов и, надеюсь, будет помниться многими: мне удалось в одной деревне сделать с крестьянами добровольную ряду навсегда. Сцена стоила бы описания, если бы я вообще не думал, что все эти описания никуда не годятся, да сверх того жизнь портят, приучая людей обращать в сцену лучшие минуты их деятельности. Обстановка была очень простая: голые стены просторной избы да образ в углу. Но серьезность или, лучше сказать, разумная торжественность, с которою крестьяне приступали к делу, искренность с их стороны и благодарность, с которою они встречали искренность во мне, оставили во мне глубокое впечатление, хоть я совсем не принадлежу к разряду людей чувствительных. Разумеется, что рара Grandet не забыл своих выгод, а за всем тем крестьяне двух других деревень просят той же сделки (в одной уже в главных условиях мы сошлись), а соседние помещики бранят меня напропалую: так дорог человеку произвол и так досадно видеть, что другой решается от него отказаться. За всем тем, я имею некоторые причины думать, что пример останется не совсем без последователей. Многого вдруг сделать нельзя, и время наше таково, что добрым людям остается только одно правило: «Не угашайте духа».

(19 ноября 1850 г.)

(VIII 384)

Петру Яковлевичу Чаадаеву

Я очень рад, что вам лучше, и надеюсь на хорошую погоду, что она вас совершенно поправит, ибо имею твердое намерение с вами долго и долго вести дружеские споры, которые несколько не мешают еще более дружескому согласию. Отсылаю вам перевод, в кото-

ром, впрочем, я ошибок не нахожу и очень буду благодарен, если доставите продолжение, разумеется не для проверки, совершенно ненужной, а для чтения.

... Жены моей дома нет, и поэтому я беру на себя благодарить вас за ваш любезный поклон. До свидания; не знаю когда именно, но твердо верю, что на здешнем свете: в нем еще так много любопытного, что не для чего с ним расставаться. Ваш. А. Хомяков.

(до 1852 г.)

(VIII 435)

Александру Николаевичу Попову

22.

(Февраль 1852).

Только что удар пал мне на голову, новый удар, тяжелый для всех, последовал за ним: николинькин крестный отец³³), Гоголь наш умер. Смерть моей жены и мое горе сильно его потрясли; он говорил, что в ней для него снова умирают многие, которых он любил всей душою, особенно же Н. М. Языков. На панихиде он сказал: все для меня кончено. С тех пор он был в каком-то нервном расстройстве, которое приняло характер религиозного помешательства. Он говел и стал себя морить голодом, попрекая себя в обжорстве. Иноземцев не понял его болезни и тем довел его до совершенного изнеможения. В субботу на масленице Гоголь был еще у меня и ласкал своего крестника. В субботу или воскресенье на первой неделе он был уже без надежды, а в четверг на нынешней неделе кончил. Ночью с понедельника на вторник первой недели он сжег в минуту безумия всё, что написал. Ничего не осталось, даже ни одного чернового лоскутка. Очевидно, судьба. Я бы мог написать об этом психологическую студию; да кто поймет или кто захочет понять? А сверх того, и печатать будет пельзя. После смерти его вышла распря: друзья его хотели отпевать его в приходе, в церкви, которую он очень любил и всегда посещал,

³³) Меньшого сына А. С-ча.

Симеона Столпника; университет же спохватился, что когда-то дал ему диплом почетного члена и потребовал к себе. Люди, которые во всю жизнь Гоголя знать не хотели, решили участь его тела против воли его друзей и духовных братьев, и приход, общее всех достояние, должен был уступить домово́й церкви, почти салону, куда не входят ни нищий, ни простолудин. Многозначительное дело. Эти сожженные произведения, эта борьба между пустым обществом, думающим только об эффектах, и серьезным направлением, которому Гоголь посвящал себя, борьба, решенная в пользу Грановских и Павловых³⁴⁾ и прочих городским начальством, — всё это какой-то живой символ. Мягкая душа художника не умела быть довольно строгою, и строгость свою обратила на себя и убила тело. Бедный Гоголь! Для его направления нужны были нервы железные.

Ляжет он все-таки рядом с Валуевым, Языковым и Катенькой и со временем со мною в Даниловом монастыре, под славянскою колонной Венелина. Так и надобно было.

У меня другое грозит горе: кажется, матушка не надолго у нас загостится! (VIII 200—201)

Александр Николаевич Попову

24.

(1852)

... Теперь здесь ходит слух о каком-то негодовании на «Московский сборник». Я статей других не знаю, кроме своей, а в ней я сохраняю и отчасти развиваю свое всегдашнее убеждение, что истинное просвещение имеет по преимуществу характер консерватизма, которое есть постоянное усовершенствование, всегда опирающееся на очищающую старину. Совершенная остановка невозможна, а разрыв губителен. Мысль и жизнь моя, кажется, всегда были согласны

³⁴⁾ Вероятно писателя Ник. Филипповича.

между собою, и из них я никогда не скрывал и не имел нужды скрывать ничего. Все прежние мои статьи того же содержания, все беседы того же смысла. Есть против переворотов ненависть политическая; она может иметь свою пользу, но она, по-моему, низка и бессильна, ибо она принадлежит только богатым мира сего. У меня всегда была, как вы знаете, против тех же революций ненависть нравственная, которая не только благороднее, но и сильнее, ибо она так же возможна в бедном, как и в богатом. Это убеждение не мешает жизни мысли. Как этого не умеют прочесть во всех моих статьях, не знаю.

... У меня здесь возни хозяйственной пропасть. Купил деревню, завожу сахарный завод, беспрестанно толкусь в хозяйственном обществе, и только? Как же не так? Разбираю шведские древности, выдумал сеяльницу (просто чудо), улучшаю жатвенную машину и спорю с И. С. Аксаковым об устройстве и внутреннем смысле третейского суда. Это мало изучено, а могло бы упростить судопроизводство до невероятной степени. Об этом заставило меня думать насильное похищение телеги у моего крестьянина.

(VIII 203—204)

В. А. Елагину³⁵⁾

(Бучарово, 1852)

Любезный Василий Алексеевич! Посылаю вам совершенно готовый список брошюрки, которую желал бы видеть напечатанною за границею, и письмо к Пальмеру. Вам, может быть, любопытно будет видеть конец твореньища, которого более половины я вам про-

³⁵⁾ Василий Алексеевич Елагин (род. 2 июня 1818, сконч. в Дерпте 11 июля 1879), старший сын Авдотьи Петровны и Алексея Андреевича Елагиных и единокровный брат Ивана и Петра Васильевичей Киреевских, человек обширного и самостоятельного ума, отличный знаток средневековой истории, помешавший статьи свои (большую частью без подписи) в «Русской беседе» (о Венгрии) и в «Дне». Письмо надписано Бучарово — вместо Богучарово по обычному произношению этого не русского имени.

чел. Надеюсь, что вы будете им довольны; кажется, несмотря на резкость выражений, конец так миротворен и доброжелателен, что не должен оставлять в читателе дурных чувств. Что вы скажете об этом?

По какому же случаю письмо к Пальмеру? А вот как. Я совершенно неожиданно получил от него ответ с извещением, что все мои послания дошли до него. Он очень благодарит, а толку нет. Его так бедного ошибло Православие глупым упрямством патриархов и непонятным равнодушием Синода, что он уже не знает что делать. За ним католики сильно ухаживают, бомбардируют его письмами, представляют в самом хитром виде все то, чем мы виноваты в теперешнее время против всего, можно сказать, человечества, и зовут его настойчиво в Рим. Он, очевидно, колеблется, несмотря на то, что его ум осуждает Римские изменения в догматах. «Но разве я не могу ошибаться? — говорит он. — Церковь лучше человека должна понимать истину; и так нужно прежде всего сказать себе, где Церковь? Может ли она быть в своем не-невольном, но произвольном рабстве (в России) истинною Церковью? Ибо о Греции говорить теперь нечего: она сама отталкивает нас. Свобода и любовь к человечеству и к каждому человеку не неотъемлемые ли признаки ее? А этого нет в двух отделах Православия. Ум мой против Рима; но нравственные убеждения против Греции, если она не изменит своей упрямой бесчувственности к духовным требованиям человеков-братьев, и против России; если она не покажет хоть каких-нибудь признаков своей духовной свободы». Страшные слова! В письме моем к Пальмеру я стараюсь доказать ему, что он не совсем прав; но, может быть, брошюрка подействует сильнее письма.

Это дело общее, и поэтому я, не церемонясь, вас прошу принять на себя некоторый труд. Конечно, я найду какое-нибудь средство отправить статью из Петербурга, по крайней мере надеюсь найти; но если бы можно найти эти средства прямо из Москвы, было бы еще лучше. Нет ли каких-нибудь благонадежных анг-

личан, отъезжающих к себе? Если можно, поговорите или с консулом английским, объясняя ему, что вы избегаете почтового расхода и потому желали бы посылку послать с оказиею, или с пастором, которому можете сказать, что посылка содержит в себе богословские рассуждения. Если бы нашлась оказия верная, это было бы лучше возни с Петербургом; но по теперешнему положению Пальмера, желательно бы было эту посылку доставить ему поскорее; и если бы в течение двух недель не было в виду никакой благонадежной оказии, я бы попросил вас меня уведомить, и тогда я уже решусь попробовать успеха в П-ге через княгиню Волконскую³⁶⁾, или кого-нибудь другого. Я у вас не прошу извинения в том, что утруждаю вас, ибо знаю, что это дело вашему сердцу так же близко, как и моему. (VIII 416—417)

Ю. Ф. Самарину

13.

6 авг. (1852 г.)

Как благодарен я вам, любезный Юрий Федорович, за ваше письмо! Как давно прямой вести от вас не имел и как приятно было ее получить! Но зато, как уж и не во-время попали ваши похвалы моей твердости! Письмо ваше я получил при самом отъезде в смоленскую деревню. Не знаю, слышали ли вы, какое чудное место эти Липицы, как они, можно сказать, ненаглядно-хороши. Катя³⁷⁾ любила их еще более моего; она говаривала, что не отдала бы их за Ричмонд, который за границую нравился ей более всего. Много я там сделал посадок при ней, но еще более в последние три года, в которые ей не удавалось там быть, и все удались, и я думал ее обрадовать ими неожиданно, потому что она обо многих не слыхала. И всё приня-

³⁶⁾ Княгиня Софья Григорьевна Волконская, супруга министра Императорского Двора, часто ездила в чужие края. П. Б.

³⁷⁾ Покойная супруга С. А. Хомякова.

лось, и все разрастается! Невероятная тоска напала на меня. Я старался не поддаваться, работать усердно, упрямо; ничто не помогало. Сердце не хотело от нее отступить и передать ее иной высшей жизни. Долго длилась эта борьба, наконец, миновалась; но никогда я не испытывал так сильно того, что можно назвать ревнивым эгоизмом любви: ибо горе было наперекор разуму и всем его убеждениям. Слава Богу, прошло. А письмо ваше обрадовало меня и по другой причине: оно напомнило мне письмо, которое давно уже получил я от вас, совершенно неожиданно, в минуту, когда вам яснее стали выказываться ваши внутренние требования. Мы его перечитывали вместе несколько раз, и она взяла его к себе на сохранение и очень им радовалась. Многое в нынешнем напомнило мне прежнее письмо. Да, я могу сказать, что я точно поработал в это время: и Семирамиду двинул вперед значительно, и статью написал для сборника, хотя существование самого сборника подвергается еще немало сомнению³⁸). Прежде меня взял бы смех, если бы такое сомнение существовало (так неразумно всякое подозрение насчет этого издания), но теперь берет досада или, лучше сказать, горе. Когда жизнь потеряла свою чисто-личную прелесть и когда только то, что может быть полезным, осталось доступным, тогда грустно, что нельзя пользы приносить; а какую же пользу можем мы принести, если нам нельзя будет других людей наводить на добрый путь, тогда когда все сбивает

³⁸) В 1852 г. издан «Московский сборник» и изготовлялся к изданию сборник на 1853 г., в котором и должна была быть помещена статья Хомякова. Но сборник, предъявленный в цензуру в полном составе в рукописи, был запрещен и удержан. По личному объяснению, данному издателю, он запрещен «не столько за то, что в нем сказано, сколько за то, что умолчено»... Вместе с сим состоялось повеление: всем главным участникам «Сборника», Аксаковым, кн. Черкасскому, Хомякову, Киреевскому, не иначе печатать свои статьи, как проводя через главное управление цензуры в Петербурге (что равнялось запрещению); кроме того, все они отданы под полицейский надзор. Эти меры были отменены в начале 1856 г., при новом царствовании.

всех на ложные дороги? Об моей статье и ее содержании вы уже, вероятно, слышали. Она ответ Киреевскому, и отчасти можно назвать ее оправданием современного против старой Руси, не как лучшего, но как законного и в этом смысле высшего вывода из дурных начал, таившихся в старине. Безусловно хорошею современность себя признать не может; но ясно, что, если она в себе не сознает хорошего и дурного, она может также вперед пойти по дурному, как и по хорошему пути, ибо она не может не идти как-нибудь. Дурное начало, взятое ею из старины, или то, что делало хорошее дурным, она должна исключать из своей мысли, чтобы хорошее могло приносить плоды. Поэтому статья моя, чисто историческая и нисколько не касающаяся прямо современных вопросов, могла бы быть полезна особенно в том отношении, что она совершенно бесстрастна и могла бы успокоить сдавленные, но непогаснувшие страсти. Грустно, если не пустят в ход издания, которое принесло бы непременно добрые плоды. Теперь пишу другое, для кого? Не знаю, хотя очень знаю, для чего. Это в роде исповедания веры или, лучше сказать, введения в исповедание. Оно содержит ответ на обвинения, делаемые православию, и указания на его характер, в противоположности с характером Запада³⁹). Думаю, по общему отзыву слышавших, что в ней много нового. Даже Свербеев хвалит. Скоро ее кончу, и опять за Семирамиду. Вот моя словесность. Жизнь свою доволен ли я? Нет; но кажется, что я не совсем так плох и слаб, как был и боялся снова сделаться; но все еще ленив, ленив, и напряжение тяжело. Другое дело у меня хорошо ладится: это уничтожение барщины. Даже неожиданно удалось сделать сделку, где и думать не мог — в Смоленской губ. с двумя деревнями. Тут очень ясно оправдалась мысль Кошелева о нравственной пользе хозяйства. Сделка вышла возможною вследствие удачного

³⁹⁾ Здесь разумеется французская статья Хомякова: ответ Г. Лоранси. Она была напечатана за границей и в русском переводе вошла во 2-й том его сочинений.

хозяйственного оборота, и как это меня порадовало и как это порадовало бы ее!.. (VIII 269—271)

Из письма к К. С. Аксакову⁴⁰⁾

3.

... Скажите батюшке, что как он видел странного беляка, так я недавно видел странного русака; но травить не удалось: пропал неизвестно куда. Русак огромной величины, с темной полосой на спине, с белыми пятнами на боках и белую шею, притом весь лохматый. Никто из охотников такого не видал. Досадно, что не удалось затравить.

(1852 г.)

(VIII 333—4)

С. Т. Аксакову⁴¹⁾

1.

Март (1853).

Дело затеваете вы весьма доброе, почтеннейший Сергей Тимофеевич; и не только я мысль вашу нахожу прекрасною, но и всячески готов ей содействовать прямо как соучастник издания, и косвенно как вербовщик соучастников⁴²⁾. Время для меня строгое⁴³⁾, и занятия ему должны соответствовать; но я понимаю пользу доброго и невинного удовольствия и считаю делом хорошим всё то, что может возвращать человека к удовольствиям, сдружающим его с природою и отрывающим его от той вялой жизни, в которой тонет наше общество. Английский жур-

⁴⁰⁾ К. С. Аксаков род. 29 марта 1817, ум. 7 декабря 1860 года.

⁴¹⁾ С. Т. Аксаков род. 20 сентября 1791, ум. 20 апреля 1859 года.

⁴²⁾ Речь идет о журнале охоты. С. Т. Аксаков намеревался издавать его, но не получил на то дозволения.

⁴³⁾ По кончине супруги.

нал весьма серьезно говорит: «если в человеке нет хоть искры спортсмена, в нем природа искажена, не только физическая, но и духовная»; а религиозный журнал оксфордский замечает, что из университета Оксфордского много вышло не только людей замечательных по наукам или государственному правлению, но еще и по делу проповеди и учения богословского; что они же отличались и строгостью нравственной жизни, а это все он приписывает развитию гимнастики, кулачного боя, охоты и особенно катанья на лодках. Имея такие авторитеты, я в полном праве предполагать, что и охота во всех ее отраслях должна иметь немалое влияние на доброкачественность жизни. И в правду, сравните румяный лик двадцатилетнего юноши, возвратившегося, скажем, хоть с пороши, с бледною фигурою его ровесника, просидевшего за лото и протаскавшегося в маскараде: как-то невольно веришь, что молодость лица обозначает такую же молодость и свежесть души. Итак, по всем соображениям считаю участие в вашем издании делом истинно хорошим и готов к услугам. Что-то скажет цензура? Это другое дело, а об успехе сомневаться нельзя. Третьего дня сгорел Большой театр, и человек, как кажется, за двадцать; в том числе и детей довольно. Вечером в Малом театре, по приказанию из С.-Петербурга (по телеграфу), были живые картины; только зрителей не было. Кто говорит, что случай, кто другое; но вот что мило. Человек было погибал, охваченный пламенем на крыше. Маляр, перекрестясь, влез по желобу с веревкою и спас погибающего. Народ плакал и накидал ему денег в шапку, рублей 200 сер. Тут адъютант Закревского подошел и позвал его к графу, разумеется для награды. Бедный герой завопил: «Помилуйте, за что меня к графу? Я ничем не виноват», а народ кричит: «Не дадим его в полицию» и пр. Насилу уговорили ехать. Это рассказывал тот самый адъютант, который повез героя к градоправителю.

Николаю Филипповичу Павлову⁴⁴⁾

Бесконечно благодарен я тебе, любезный Павлов, за твои милые стихи и за то, что ты меня этим дружески вспомнил; но эти стихи, они уже почти не ко мне, не ко мне теперешнему, а к прежнему, детски счастливому и от этого помогавшему другим изредка против скуки жизни. Этот я кончился, и странно тебе покажется, что я уже и не хотел бы его воротить, хотя могу о нем поплакать. Странно тебе покажется, что я с жизнью не желал бы связаться снова не только новым счастьем, которое, разумеется, невозможно и даже воображению противно, но возвратом прежнего счастья, если б он был дозволен волею Провидения. Это не *résignation*, совсем нет: это глубокое и душевное одобрение случившегося. И это тоже не недовольство жизнью (хотя, разумеется, всякая любовь к ней остыла), но новое понимание жизни и недовольство своими внутренними отношениями к ней. Это чувство, что поживать даже в совершеннейшем счастье (а совершеннее моего, кажется, не было) не значит еще жить.

(VIII 425)

28 мая 1853 г.

Александру Николаевичу Попову

29.

(1 января 1854.)

Как благодарен я, и, разумеется, не я один, любезный Александр Николаевич, за ваше доброе дело, которое вы назвали статьею...

... Лишним считаю говорить об ясности изложения, о своевременности и важности оценки отношений Австрии к нам и других прекрасных сторонах статьи.

⁴⁴⁾ Н. Ф. Павлов (грузин по своей матери), отменно-даровитый сочинитель повестей, имевших большой успех, издатель газеты «Наше время» и основатель «Русских ведомостей». Из Перми, куда он был сослан, прислал он А. С. Хомякову стихи на день его рождения (см. «Русский архив» 1877, 1, 264). Павлов род. в 1800 г., ум. 29 марта 1864 г. П. Б.

Вы сами их знаете, я только одно скажу: их оценили все. Более же всего я хвалю (извините гордое я, но ведь оно всегда скрывается во всяком мнении) воздержанность тона при мужестве поступка: оно свидетельствует о мужестве не страстном и порывном, но тихом и упорном, то есть о том, которое всегда нужно, а теперь более чем когда-нибудь, и нам более чем кому-нибудь.

... Статья, говорят, принята была хорошо; но — увы! — одни статьи не решат дела. Их огромная заслуга в том, что они раздирают туманную завесу и дают людям больший простор и свободу. Решение же будет зависеть от хода дел, на которые ни мы, никто действовать не может, именно от меры оскорбления; но по правде сказать, неужели эта мера не переполнена? Что мне вам сказать? Вы знаете, что я не сентиментален; но мне его жаль⁴⁵⁾. Я бы рад был сказать слово, как умею, не для Руси только, а для него. Но где доступ слову? Двадцать лет душили мысль. В важную минуту наткнулись на безмыслие, и мне чувствуется страшная беспомощность, скрываемая под плохую личиной спокойствия и надежды. Что-то Бог даст? А время великое. Может быть Тильзит, но Тильзит предшествовал 12-му году. И так будет опять, ибо мы мыслим выше. А впрочем, может быть, Бог избавит от Тильзита. Одно страшно: пять лет, увы! — еще не кончившегося самохваления, противного Богу и чуждого народному духу.

Ну, да довольно об этом. А об чем же еще? Разве только о том, что, говорят, брошюрка⁴⁶⁾ запрещена. Можно было ждать, а все-таки досадно в теперешнюю минуту. Видно, система не хочет измениться, а при ней плохо и очень плохо.

(VIII 208—210)

⁴⁵⁾ То есть государя Николая Павловича. Писано еще в его царствование.

⁴⁶⁾ Первая богословская.

Графине А. Д. Блудовой

9.

Простите меня, графиня, в том, что я ваше имя должен был упомянуть в официальном акте. Судите сами, мог ли я иначе поступить? Сегодня был я призван к графу Закревскому, который от имени графа Орлова⁴⁷⁾ спросил у меня: «Признаю ли я своими две пьесы к России, ходящие под моим именем». Разумеется, я отречься и не думал. Я прибавил, что мое желание было их напечатать и что я даже посылал их в Петербург с изъяснением этого желания и с согласием на некоторые перемены в том случае, если цензура того потребует. Граф Закревский сказал мне слова свои записать и потом спросил: «к кому я стихи послал?» Я назвал вас и А. Н. Попова, так как первая пьеса была мною послана действительно к вам, а вторая к А. Н. Простите меня, что я ваше имя вмешал в официальность; сами видите, что я иначе не мог поступить, да вы же и знаете, что я не умею обходить правду; а за всем тем мне и досадно, и перед вами совестно.

Вот какие приключения навлекает стихотворство! А право, хоть ваш батюшка и был мною недоволен, хоть слова мои и были резки, но я чувствую, что, столько хвалив Россию и ее духовную основу всегда, я не мог не высказать ей того, что сказал, когда мы были затоплены таким наводнением похвал, не желающих ничего знать кроме ее материальных сил. И вы не прогневайтесь, если я скажу, что вы немножко неправы, полагая, что писатель сам себя исключает из своего осуждения, когда обращается к отечеству. В одном стихе, по крайней мере, он, очевидно, себя чарочкой не обнес:

И лени мертвой и позорной.

(1854)

(VIII 389—390)

⁴⁷⁾ Тогдашнего шефа жандармов.

Александру Федоровичу Гильфердингу⁴⁸⁾

4.

(1854).

... Может быть, и даже полагаю наверное, вы знаете о многих странных, хотя и не совсем неожиданных, тревогах; признаюсь, они меня таки волновали и не давали писать как следует, с спокойствием, приличным добропорядочному человеку. Они еще и теперь не кончились и чем кончатся еще неизвестно; но по крайней мере развязка уже недалеко⁴⁹⁾. Какая бы ни была (хоть и желаю мирной), я чувствую, что я прав перед добрыми и разумными людьми. Вы не обвините меня в гордости, если скажу, что я хоть сколько-нибудь возвратил человеческому слову у нас слишком забываемое благородство. Разумеется, в этом не столько участвовали мои стихи, сколько шум, отчасти неожиданный, произведенный ими; но все-таки слово возвышено самым тем шумом, который оно почти нехотя произвело. ... Смутное время вызывает на живое слово и ничего так не боится, как живого слова: живое слово ему единственное лекарство.

(VIII 305)

⁴⁸⁾ Отец А. Ф. Гильфердинга, Федор Иванович, был товарищем, по службе в министерстве иностранных дел, старшего брата Хомякова, Федора Степановича (рано умершего). С этого начались дружеские отношения Хомякова с Ф. И. Гильфердингом; дружбу эту Хомяков перенес и на его сына, который еще в московском университете умел ее поддержать и усилить своими занятиями по славянской истории и языковедению. Гильфердинг род. в 1831 году, умер в 1872. П. Б.

⁴⁹⁾ А. С. Хомяков подвергался допросам графа Закревского по поводу известных стихов своих к России: «Тебя призвал на брань святую». Его обязали не печатать стихов своих и даже не читать их. «А матушке можно?» — спросил Хомяков издавна знавшего его и его семейство генерал-губернатора. «Матушке можете читать, — сказано в ответ, — и пожалуйста передайте ей мое почтение». Это было великим постом 1854 года. П. Б.

А. И. Кошелеву

4.

Как мне тяжело быть в смоленской деревне! Она вся была мною устроена для нее, и ее любимое место⁵⁰). Но зато, как я увидел, что с собою не справлюсь, так я и налег на работу: дал большую статью Аксакову в ответ Киреевскому, много работал для своей постоянной работы, а теперь еще пишу статью для напечатания где можно, то есть за границую, в ответ на книгу *Laurentie*, которая сама есть ответ известной статье Тютчева⁵¹). Кое-как с собою справляюсь. Я почти все с детьми и иногда сам себе удивляюсь. Действительно, я иногда чувствую себя почти столько же матерью сколько отцом, и даже боюсь, чтобы это не дало отношениям моим к детям какой-то изнеженности, которая никуда бы не годилась...

(1854)

(VIII 137)

И. С. Аксакову⁵²)

... Прежде чем приступлю к самому вопросу, я позволю себе сделать вам маленький упрек по случаю одного отдельного выражения. Вы, оправдывая горе и отчасти невольный ропот (в чем, конечно, вас обвинять нельзя), приводите в пример слова Христа: «вскую мя еси оставил?» Вы в этом неправы. В словах Спасителя мы никогда ничего не можем видеть, кроме истины, без примеси какой бы то ни было гиперболы чувства. Христос на кресте судится, так сказать, с Богом, то есть с неумолимою логикою мироздания. Он, невинный, жертва этой логики. Он один оставлен милосердием Божиим и не мог роптать, и эту-то высокую

⁵⁰) Хомяков говорит о своей жене, Екатерине Михайловне (сестре поэта Языкова), скончавшейся 26 янв. 1852 г.

⁵¹) Напечатанной заграницей отдельною брошюрою, под заглавием "*La Russie et la Révolution*". См. «Р. Архив», 1874, II, 42. П. Б.

⁵²) И. С. Аксаков род. 26 сентября 1823, ум. 27 января 1886 г.

истину Он выразил именно для того, чтобы, никто, кроме Его, не был оставлен в своем скорбном обращении к Отцу. Вы за это замечание на меня пенять не будете. Еще другое вводное слово. Вы обвиняете Вине (Vinet) с некоторою досадою за выражение, что человек, часто испытанный страданием, имеет причины считать себя «особенно любимым» и так далее. Я не стану оправдывать выражения, может быть не вполне строгого; но смысл его вы оправдали, сами того не замечая. В середине письма вы говорите: «счастливицу легче забыть Бога, чем страдальцу, которому нет другого утешения». Избавление от искушения не есть ли милость, и не оправдан ли наш общий друг Вине?

Перейдем к самому вопросу. Он, повидимому, самостоятелен; но действительно, по отношению молитвы к греху, греха к судьбе человечества, разума и познания к воле и действию, он входит в разряд тех неисчислимых вопросов, которые возникают из сопоставления свободы человеческой и Божьего строительства (или необходимости) и которые наделали столько хлопот человеческому уму, что Мильтон считает их наказанием для чертей в аду⁵³). Эти отношения мож-

53)

Others apart sat on a hill retired
In thoughts more elevate and reasoned high
Of Providence, foreknowledge, will, and fate,
Fixed fate, free will, foreknowledge absolute;
And found no end in wandering mazes lost.
Of good and evil much they argued then,
Of happiness and final misery,
Passion and apathy, and glory and shame.
Vain wisdom all and false philosophy.
(Milton. *Paradise Lost*, 2 Book, v. 557).

Другие (бесы), более возвышенные в мыслях, сидели поодаль на уединенной горе, громко между собой беседуя о промысле, о предвидении, о воле, о судьбе. Они определяли, что есть судьба, свобода воли, безусловное предведение, и не могли наговориться, путаясь в сетях своих умственных построений. Много они тогда наговорились о добре и зле, о счастье, и конечном бедствии, о страсти и об апатии, о славе, о позоре. Все это было суетное и лживое. (Мильтон, Потерянный Рай, книга 2, ст. 557).

но покуда отстранить, и тогда вопрос значительно упрощается. Общие или обиходные формулы: человек наказывается за грехи несчастьем или посредством жизненного горя освобождается (положим, хоть отчасти) от ответственности за свои проступки. Кроме последнего положения (не общепринятого и чисто-латинского), эти формулы можно принять, и, будучи ясно поняты, они, как мне кажется, совершенно согласны с истиною. Затруднения ваши возникают, если не ошибаюсь, из двусмысленного употребления слова грех в общем разговоре и даже в учении духовных писателей. Это слово обозначает: или собственно проступок личный человека, противный законам Божией правды, или общее отношение человечества к Богу, возникшее из первоначального нарушения закона, предписанного человеку. Мир есть творение, мысль Божия и сам по себе он представляет полную и строгую гармонию красоты и блаженства. Дух, нарушающий закон божественной правды, становится по необходимости в состояние вражды с Божиею мыслью, с гармониею мироздания и следовательно в состояние страдания, которое было бы невыносимо, если бы оно не умерялось постоянно благостью Божиею. Высшее или полнейшее выражение этого страдания — смерть, проходящая через всю земную жизнь человека, в разнообразии своих частных и неполных проявлений, от расшибленного лба, занозы и даже самой легкой неприятности до нестерпимого страдания и горя. Человек каждый, дольник греха, по необходимости дольник страдания и, следовательно, страдает вследствие, но не в меру своей доли нравственной нечистоты. Не страдание человека, а его полное счастье было бы в высшей степени явлением антилогическим. Итак, совершенно справедливо говорит обиходная формула, что человек наказывается за грехи, хотя бы, может быть, яснее было сказать за грех, то есть за греховность свою. Один только Христос, не будучи дольником греха и подчинившись добровольно логике человеческих отношений к Бо-

жиему миру, то есть страданию и смерти, осудил эту логику, сделав ее несправедливою к человеку вообще, которого Он в Себе представлял, хотя без Него она была бы справедлива к каждому отдельному человеку. Он без греха, из любви, принял все условия земной жизни, не принимая даже заслуженного блаженства, чтобы не разлучиться с братиею, обращая таким образом добровольно-принятый грех человеческого неповиновения и неправды в добродетель и высшую правду любви. Я не привожу текстов, подтверждающих это верование, по самой простой причине: если мы приняли дух Евангелия, то слова наши будут согласны с текстами; если же нет, то и тексты мы приведем и поймем криво. Человек страдает как дольник греха. Итак, совершенно справедливо сказать, что человек наказывался за грехи, хотя крайне неразумно было бы думать, что он страдает по мере своей доли, как некоторые думают и как можно бы предположить из отдельных выражений св. Отцов. Мера каждого безмерна, как грех вообще, и в каждом она облегчается милостию Божиею, по закону Его общего строительства, неизвестному ни нам, ни даже высшим Его созданиям, как можно заключить из одного места послания к Ефесям⁵⁴). Вы совершенно правы, говоря, что Бог не наказывает человека, а что зло само себя наказывает по неотразимому закону логики и, в этом случае, я вам дам текст для оправдания против тех, которые стали бы вас обвинять. Апостол Иаков говорит: «как сам Бог не искушается злом, так и не искушает Он никого»⁵⁵), а напротив того: «всякое даяние благо и вся дар совершен свыше есть, исходяй от Отца светов»⁵⁶). Злом тут называет он не страсти, а всякое зло жизненное; ибо он прежде сказал: «блажен человек, претерпевший искушение»⁵⁷). Что человек страдает не по той мере личного греха, то есть видимого проступка, ко-

⁵⁴) Гл. 3, ст. 10.

⁵⁵) Иак., гл. 1, ст. 13

⁵⁶) Там же, ст. 17.

⁵⁷) Там же, ст. 12.

торуую мы склонны ставить в соотношение с страданием, в том нам свидетельствует Сам Христос, когда на вопрос: почему человек болен, по своим ли грехам или по грехам родителей, Он отвечал: «ни по тем, ни по другим, но да явится на нем сила Божия». Если в одном случае Он так сказал, то ни в каком случае нам нельзя искать того отношения между грехом и страданиями, которое многими предполагается. Разумеется, что больной, о котором говорил Спаситель, все-таки страдал как дольник греха, и словами Спасителя отстраняется только ложная идея меры; ибо иначе мы должны бы были предположить, что больной страдает сверх меры, то есть несправедливо. Сам же грех наказывает себя логическим выводом — страданием, всегда умеряемым милосердием Божиим. Итак, сознание, что человек страдает за свой грех (как дольник греха), и сознание греха в каждом страдании, как бы оно ни было ничтожно, совершенно справедливо. То же самое относится и ко всякому неразумию, которое есть только одна из норм духовного страдания. В суждении о Вине не должно забывать, что он в одном месте говорит: *“les péchés sont le péché”*, (грехи суть грех) и чрез это отстраняет идею меры, которая вас, мне кажется, сбила; ибо, отстранив ее, выдет, что вы согласны и с Вине, и с учением всего христианства, кроме латинствующих.

Вине говорит о страдании как воспитателе, данном нам от Бога. Когда вы признаете, что счастливцу легче забыть Бога, чем страдальцу, не тоже ли вы говорите? Но почему этот воспитатель дается одному, а не дается другому? Кто скажет, почему не всем людям одна судьба? В похвале страданию вообще много риторства, это правда; но не должно его оставлять и без похвалы. Вы совершенно правы, а что еще лучше, правы с теплотою душевною, когда говорите, что Бог учит всем, скорбью и радостью, солнцем и бурей. Но что ж из этого? Пословица все-таки права: «гром не грянет, мужик (человек) не перекрестится». По крайней мере часто так бывает.

О страдании и счастье я готов сказать то, что Павел о посте: «ты не ешь и благодаришь Бога; другой ест и благодарит Бога, и оба делают хорошо». Вине говорит: «если ты много страдаешь, думай, что тебя Бог много любит», а кого же Он любит немного? Или кого не любит Он, если человек только позволяет Богу любить его? Вине не прав, ибо дозволяет какую-то гордость страдания. Об этой гордости сказать можно то же, что Варсонофий о гордости поста: «ты постишься, а брат твой ест, и ты этим хвалишься. Пост — лекарство для души. Чем же ты хвастаешься, что с помощью лекарства достигаешь здоровья, которое брат твой имеет, не лечившись? Разве больные могут хвастаться? Но они могут и должны благодарить Целителя, понимая Его явную любовь. Бог не посылает страдания, логического последствия греховности нашей; нет, Он постоянно умеряет его едкость; но Он не устраняет его, дабы человек не впал в тупое довольство собою и миром. Страдалец благодарит Бога, счастливец также; оба равно Богу угодны. В этом я согласен и даже думаю, что благодарность счастливого человека лучше и святее. Вине говорит (слов не помню, но смысл таков): «ты встал сытый из-за стола и взглянул на небо, и мысленно благодарил Бога — ты еще не благодарил. Уделил ли ты часть своей трапезы голодному? Или подумал ли умом и сердцем, как бы его насытить? Или, если все это тебе недоступно, поскорбел ли ты искренно об его голоде? О, тогда ты благодарил». Страдание способнее к состраданию, чем счастье (я говорю вообще, ибо иногда оно ожесточает), и поэтому благодарность, то есть выражение ее в деятельности любви к ближнему, труднее счастливому, чем несчастному. По этому самому человек, признавая страдание за последствие и следовательно за наказание греха, должен благодарить Бога, допустившего это страдание и убавившего, так сказать, тягость счастья, которой он не умел носить.

... Но тут снова встречается тот бесконечный вопрос, о котором я уже говорил, вопрос о совмещении

свободы и необходимости. Каким образом может человек, так сказать, требовать и вытребовать изменения логических законов мироздания? Каким образом может он от Бога, всегда умеряющего строгость логического закона, то есть враждебность мира (Его мысли) к человеку, отвергнутому святостью этой мысли, испросить еще большего умягчения закона в частном случае? Вопрос очевидно неразрешим вполне; но, в то же время, душа как-то чувствует, что различие между законом мысли Божией в отношении ко всему миру и в отношении той же мысли к каждому данному случаю выдуманно бредом нашей слепоты и не имеет никакой существенности. Законы нравственного мира также непреложны, как и законы физического мира (который есть в то же время и нравственный); а между тем мы чувствуем, что наша воля (разумеется под благодатию) изменяет нас самих и, следовательно, наши отношения к Богу. Почему же та же воля, выраженная в молитве, не могла бы изменить и отношений наших к миру внешнему? Скажете ли, что в одном случае молитва, явно законная (ибо есть требование улучшения), не может не быть исполнена, а в другом ее исполнение было бы, так сказать, незаконным, ибо оно нарушило бы логику всеобщих явлений? Тут более кажущейся, чем истинной правды. Я горд и прошу исправления от гордости; я тону и прошу спасения от воды. Гордость моя есть, так же как и опасность моя, логический вывод из целого ряда предшествовавших, внутренних проступков, увлекающих меня к новым проступкам или порокам; а за всем тем воля, под Божиим благословением, останавливает мое падение. С меньшею явностью относится этот закон и к физической опасности, но он остается тот же.

Однажды две дамы говорили целый вечер о чудесах; покойная жена моя, бывшая при этом, вернулась в дурном расположении духа и на вопрос мой, «чем она недовольна?» рассказала мне весь разговор: «Я все-таки не вижу, чем ты недовольна?» — «Видно, они никогда не замечали, сколько чудес Бог соверша-

ет в нас самих, что столько хлопочут о чудесах внешних». — Просите царства Божьего, и все приложится вам. Всякая молитва заключается в «Отче наш»; но, мне кажется, вы ошибаетесь неволью, когда идею воли Божией вы ограничиваете логическим развитием мировых законов. Они — выражение Его воли, но не оковы, наложенные на Его волю. К чему же просить нарушения законов, которым я подчинился вследствие греховности, то есть законов страдания внешнего, которые часто спасительны? К тому, что естественно просить избавления от него и улучшения внутреннего в жизни бесскорбной. Это естественно. Хороша покорность в страдании, еще лучше благодарение за страдание; но искренно пропетый благодарственный гимн (выражающийся всею жизнью) за избавление от скорби точно так же великолепен, как Иовово терпение; а душа просит всякого счастья.

Видимое улучшение жизни физической, происходящее от простого напряжения умственных способностей (в Англии), будущее усовершенствование жизни земной, которое вы предвидите, по-моему, весьма справедливо, ставят в ваших глазах все эти явления вне зависимости от закона нравственного. Это едва ли справедливо. Множество пороков, в их явной отрицательности и уродливости, делаются невозможными в образованной земле, так же как засуха или чума. Следует ли из этого, что нравственный закон также подчинен необходимому развитию? Англия выше России в жизни физической и общественной — правда; но она и выше ее и в приложении своих нравственных законов (хотя самые законы могут быть и ниже). Человек гадит свою внутреннюю жизнь, так же как и зажигает дом свой, часто из неведения. Во всех случаях мы просим разума и мудрости и во всех, кроме Божией милости, идем и путем внешним, размышлением, чтением, беседою и т. д. Я скажу более: самое улучшение в физической жизни народов едва ли не находится в прямой зависимости от чувства взаимной любви, старающейся приложить всякое

новое знание к пользе других людей-братий; не даром всякое просвещение дается только христианским народам. «Всякое даяние благо (в мире физическом) и всяк дар совершен (в мире нравственном) свыше есть, исходяй от Отца светов». Труд для пользы других, бескорыстный (хотя отчасти), есть молитва, и молитва не только высшая, чем лепетание славянских слов в уголке, перед суздальскою доскою, но высшая многих, гораздо более разумных молитв, в которых выражается какой-то загробный эгоизм более, чем любовь. Молитве, так сказать, нет пределов. Отрывать ее от жизни, формулировать, заключать ее в отыскании «серединной точки» и проч., все это нелепо. Она цвет жизни. Как всякий цвет, она обращается в плод; но она не лезет с своим великолепным венком из лепестков и семян пучком, без стебля, листьев и корней, прямо из сухого песка, лишенного всякой растительности. Она может возникнуть, как некоторые тропические растения, почти в один миг, с необыкновенною красотою и блеском, или развиваться медленно, как *Cactus Zeherit* (или столетний цвет); в обоих случаях у нее были жизненные корни. Кому в голову придет отделить молитву Иисуса от Его проповеди, от Его исцелений, от Его крестного подвига? А впрочем всякое счастье нужно человеку и всякое дается Богом: вспомните чудо в Кане Галилейской.

Искренно благодарю вас за ваше письмо. Оно много вытребовало размышлений; оно само проникнуто тем жаром и любовью к истине, которые одни только и могут оплодотворять жизнь. Видите, в чем мы не совсем согласны и что нигде прямого разногласия нет. Вы немножко слишком много приписываете общему закону; но это очень естественно потому, что вообще слишком много дают простора партикуляризму. «Голова разболелась — это от того, что на Кузьму и Демьяна я к обедне не ходила». Жаль только, что ни один помещик, когда у него болят зубы или спина, не подумает, что это — вознаграждение за оплеуху, данную камердинеру, или за синяки на спине кре-

стыянина. Если бы я видел партикуляризм, принявший то же направление, грешный человек — не стал бы и восставать против него, хотя в душе и отвергал бы.

Прощайте. Кажется, ереси в вас нет, а только не-который маленький стоицизм и боязнь вмешивать Бога в суету жизни земной. Впрочем, я уверен, что вы со мною согласитесь.

(VIII 342-350)

(1854 г.)

Александру Федоровичу Гильфердингу

8.

(1855.)

... Много перемен и мало перемен. Смерть Царя меня оправдала в моем о нем суждении: я не ошибался. Его ошибки были ошибки в понятиях и в ложной системе; но он был честный труженик, который действовал под ложно приложенным нравственным законом, и следовательно он прав перед судом совести. Человек отвечает только за свою волю. Дай Бог такой же доброй воли и яснейшего понимания молодому Государю! Особенно дай Бог ему доверия к России и неверия к тем, кто оподазривает всякое умственное движение. Мы дошли до великих бед и срама по милости одного — умственного сна; но перемены не могут быть слишком быстрыми. Здесь все радуется проявлению стремления к народному и русскому. Не знаю, как в Питере. Освобождение от наружного подражания важно как знамя, вызывающее освобождение мысли от чужого авторитета, как вызов к самомышлению. В добрый час молвить!

Слава Богу, кажется, участь Севастополя решена. Честь и слава кому следует! Эта защита разогрела все сердца; это происшествие, носящее на себе характер жизни, и жизни народной. Что бы ни было впереди, а головы русские приподнялись законною гордостью. Теперь говорю всем одно: труд, труд и труд, чтобы не посрамить себя и не подвергнуться великой ответ-

ственности. Вам этого говорить нечего. Вам надобно напротив сказать: не трудитесь через меру!

(VIII 312)

Граф. А. Д. Блудовой

10.

Нынче в Москве прошел слух, кажется, несомненный. Судьбы Божии неисповедимы и неотразимы. Есть человек, которого сердце исполнено теперь глубочайшей скорби и невольного страха перед великим служением, на которое он призван. Дай Бог, чтобы нашлись люди, которые бы сумели ему сказать слово отрады; дай Бог, чтобы его успокоили. Пусть только верит России: она никогда не выдавала, никогда не выдаст своего Государя. Будут мундирные, будут форменные молитвы; но, не дожидая их, нынче ночью уже десятки, сотни, тысячи станут на колени в своих домах и помолятся невидимо и неслышно, но усердно и тепло, за него, за его счастье и крепость в подвиге жизни. Не думаю, чтоб такие молитвы были бесплодны.

Суббота, полночь 19 февраля 1855 (Москва)

(VIII 390)

А. И. Кошелеву

5.

(1855.)

Печально письмо твое, любезный Кошелев, и видно, у тебя очень невесело на душе. Авось крымские вести — не поправят ли этого настроения; авось не ободрят ли народа? Хозяйственный год тебе так же тяжел, как и мне, с тою однако большою разницею, что у тебя и средств больше, и, главное, все именно свободно; но я уверен, что в тебе уныние не от хозяйственных неудач. Ты пережил за свой век неуда-

чи и заботы покрупнее этих и никогда не унывал. Тебя гнетет еще не освежившийся воздух, неизвестность общего будущего, современное страдание народное и неуверенность, чтобы болезнь была к росту. Многие, чуть-чуть не все, повесили носы. Я один еще бодрюсь, и ко мне приходили за утешениями. Мои обещания сбываются покада только в Крыму, и за это меня уже приезжал благодарить Бахметьев (Алексей Николаевич). Увидите, сбудутся все, но нам подобает подвизаться. На нас всех теперь великая ответственность.

Назимов еще ничего не сделал и, вероятно, ничего не сделает, но по крайней мере очень мил. Говорит, что непременно исполнит мое поручение (не называет прошением), но я все не верю. Если наше дело пойдет, и будет журнал, Попов обещает непременно, кроме своих работ, к каждому номеру по шести листов из Петербурга первого сорта от лучших сотрудников. Это было бы важно. Теперь о себе. Нынче получил из Питера письмо, по которому предполагаю, что моя вторая брошюрка вышла; впрочем это еще не верно. А верно то, что ее у меня потребовали или, пожалуй, попросил официально Олсуфьев от имени государыни. Я послал весьма некрасивый список (другого не было) и извинился поспешностью. В письме Олсуфьева государыня поручает мне сказать, что покойный император был первою очень доволен⁵⁸. Я в ответ сказал, что это мне потому особенно дорого (разумеется, слова другие), что смертью своею государь доказал искренность своих убеждений. Ведь это должно было сказать. Из другого источника знаю я и слова покойного, очень замечательные. Dans ce qu'il dit de l'Eglise il est très-libéral; mais dans ce qu'il dit de ses rapports avec l'autorité temporelle, il a parfaitement raison, et je suis de son avis.⁵⁹

58) Говорится о богословских книжках, вошедших во второй том сочинений А. С. Хомякова.

59) В том, что он говорит о Церкви, он очень свободолюбив; но в том, что он говорит об ее отношениях к светской власти, он совершенно прав, и я его мнения.

Многие тут хотят видеть лицемерие, но из чего и для кого? Все мы, и духовные, и светские, виноваты в его ошибках... Я думаю, он, по крайнему разумению, желал правды. Иные его бранят, иные им гордятся без смысла... (VIII 1383—139)

Александру Николаевичу Попову

32.

(Лето 1855 г.)

... Мне нынешний год из рук вон плох: свекловичу червь съел, яровые почти пропали, в оброке остановка от войны. Просто скверно. Вторая моя брошюра напечатана в Лейпциге, о чем я получил на днях известие; но как она принята в Питере, не знаю. Еще пишут, что мне какое-то очень приятное известие из чужих краев, но какое? Не пишут. Ведь почта не оказия.

Весело, что вы своего «Стеньку»⁶⁰⁾ кончаете. Много в нем не по сердцу придется старолюбцам; но эту эпоху необходимо понять, чтобы оценить последовавшие и яснее разуместь предыдущие. Посылаю вам экземпляр своего лексикончика⁶¹⁾. Мало кто за него спасибо скажет: оценить не оценят журналы; а ведь такого еще не имеет, да и не может иметь, ни один европейский язык. Я послал экземпляры к Ганке, Шафарику и Штуру. (VIII 216)

К. С. Аксакову

6.

(1855.)

Дела принимают новый оборот, но оборот также не безопасный. Некоторый дух жизни и свободы про-

⁶⁰⁾ «Бунт Стеньки Разина», исследование А. Н. Попова, появившееся потом в «Русской беседе».

⁶¹⁾ Санскритского. Прилож. к V тому.

будился, очевидно вызываемый правительством. Это уже видно из крайне замечательного приказа В. К. К. Н.⁶²), хотя я не знаю, на какую именно он записку ссылается (говорят, будто это записка Истомина). Но теперь что же? Все молчавшие, все рабствовавшие в то время, как мы одни смели небезопасно для себя просить свободы и протестовать против официального одурения, все вострепнулись и кричат, и поют про свободу мысли. Запад вострепнется, правда, уже лишенный своей резкой особенности, но тем не менее опасный, потому что опасность его состоит не столько в его цвете, сколько в его бесцветности. Что же тогда? Разве не тот же вздор, не та же фриivolность? Разумеется, надобно благодарить Бога за свободу слова, но благодарить как Аякс за свет дневной, то есть как за возможность сражаться и следовательно приниматься сильно за борьбу. Верьте мне, все, что мы сделали для пробуждения общественного сна, весь наш протест или забудется или же забыт. Если мы теперь не выступим с силою, наш нравственный авторитет (хоть и небольшой, но все-таки уже приобретенный) пропадет вмиг. Вспомните, что я сказал у Елагиных, кажется, при вас: «Для нас Николай Павлович умер слишком рано». Этого забывать не должно. Да, теперь дело идет завоевать Россию, овладеть обществом, и все это не невозможно. Следовательно, задачу надобно выразить иначе: дело идет дать обществу если не серьезность, то зачатки серьезности, заготовить торжество нашей мысли тем, чтобы люди несколько привыкли мыслить и подчинить жизнь мысли и убеждению; наконец, дело идет — ввести нравственное начало, определенное и строгое, в шаткость общественной и частной жизни. Несть наша борьба крови и плоти.

(VIII 336)

⁶²) См. этот приказ в «Русском Архиве» 1883 года. III, 201.

Александру Николаевичу Попову

33.

(Вторая половина 1855.)

... Западникам дано позволение на журнал с обзором политических событий. Редактором, говорят. Катков⁶³. Кошелев воспламенился и повел дело решительно. Берет «Москвитянина», которого название хочет переменить, и делает клич. Я еду дня на два к нему. Славный человек! Таких деятельных людей нам очень нужно, а мы немножко вяленьки. При свидании расскажу, что у нас в Москве было положено. От Норова об нас ни слова. А между тем я получил от Олсуфьева еще письмо с посылкою: перевод моей первой брошюры на немецкий язык, сделанный по заказу королевы Ольги Николаевны, и послан ко мне от императрицы. Все это вместе составляет нечто довольно комическое. Перевод сделан священником нашим⁶⁴) и слабенец, но меня радует невольная солидарность духовенства и, следовательно, вероятное позволение книжки. Вторая также отпечатана уже в Лейпциге. Ее молодой Гильфердинг видел и купил. Он хотел и той переслать несколько экземпляров в Россию; не знаю, исполнит ли. Я всячески постараюсь достать и той и другой несколько экземпляров и тотчас же доставлю один в Оптино, а другие перешлю в Смирну и Афины: там хорошо знают французский

⁶³) Это был «Русский вестник». При Николае Павловиче новые журналы вовсе не разрешались с самого 1836 г., т. е. с уничтожения «Телескопа». Даже Пушкину разрешены были только четыре книги «Современника», и после его кончины, по особому ходатайству великой княгини Марии Николаевны, — П. А. Плетневу. Начавшиеся с 1839 г. «Отечественные записки» считались возобновлением прежнего, Свиньинского издания этого имени. «Русский вестник» дозволен к изданию покойным Александром II, во время его бытности в Николаеве, в 1855 году, по ходатайству графа Д. Н. Блудова, при чем посредником был пишущий эти строки, привезший М. Н. Каткову известие о разрешении в день его именин, 8 ноября 1855 г. П. Б.

⁶⁴) Штутгардским прот. Базаровым.

язык и легко могут перевести и пустить в ход (теперь же, пожалуй, обрадуются и по причинам политическим); но Блудовых или кого-нибудь в Питере об этом (то есть пересылке в Грецию) просить не хочу: и тут, пожалуй, встретятся дипломатические затруднения. Вы знаете, вероятно, что князь Вяземский назначен в товарищи к Норову; едва ли можно было лучше выбрать. (VIII 217)

Александру Николаевичу Попову

35.

(Конец 1855.)

Вы меня зовете в Питер; признаюсь, мало жду я пользы от этой поездки, но еду, и даже скоро. Теперь говею в деревне, а потом детей в Москву, а себя на железную дорогу. Не говорите этого никому; лучше пусть не знают и не говорят. Я сказал, что мало жду пользы; видите, мне кажется, что именно против меня больше вражды, чем я прежде думал. Например, кроме меня и Киреевского, в катковском объявлении стоят же те имена, которые министр объявляет негодными, а журнал позволен. Итак, или моя личность, или, что еще вероятнее, — наше направление крайне оподозрены, потому что статья в чужом журнале не имеет той силы, что в своем. А все-таки я еду, чтобы меня не винули. Отзыв Норова (А. С.)⁶⁵) показывает, какая страшная слепота в Петербурге. Какое слово, какое лекарство может снять такую катаракту? Это нарост на зрачках в слоновую кожу толщиной. Ведь это человек и верующий, и душою искренний, и что делает и что говорит! Скажу опять: еду, но без большой надежды.

... Если бы воздух освежился внутри России, если бы перестали бояться правды, то, конечно, не было бы такой дорогой цены, которую нельзя бы было за-

⁶⁵) Новый министр народного просвещения.

платить; но все-таки дай Бог, чтобы и физические наши потери не возрастали без нужды. Я боюсь, чтобы не напала на нас беспечность и умственный сон, к которому мы привыкли, когда увидим, что в нашу пользу совершается диверсия на Западе. Правда, что, слава Богу, во многом становится легче, и что все до сих пор перемены служат добрым предзнаменованием для будущего (и как все благодарны!), но как еще много впереди! И как сильна дружина людей, находящихся свои выгоды в духоте земли и в темноте! Вот, по-моему, разгадка отношений Норова к нам; разумеется, я не говорю о нем лично. Вы меня зовете; не боитесь ли, что я еще напорчу? Ведь мне оправдываться нельзя: я поневоле буду обвинителем; а вы сами знаете, хорошо ли это средство для приобретения друзей. Не без страха поеду я, конечно, не за себя, но за друзей и за дело правды, которое есть дело Божие⁶⁶.

(VIII — 218-219)

⁶⁶⁾ В эту поездку Хомякова в Петербург императрица Мария Александровна пожелала его видеть. Он, как известно, ходил в русском платье, в то время ональном и для многих представителей высшего общества отвратительном. В тогдашней французской газете "Le Nord" была даже статья из Петербурга, в которой описывался Хомяков, показавшийся в поддевке в петербургских гостиных. Приехать в таком наряде образованному человеку во дворец считалось невозможным, и Хомяков на этот случай заказал себе фрак. Кажется, даже и день представления государыне был назначен; но случилось вот какое обстоятельство. У графа Блудова встретил его граф Киселев, и, разумеется, за словом Алексей Стопанович в карман не лез. Потом граф Киселев был у Государя и мимоходом выразил удивление, каких людей принимает у себя старик Блудов, причем комически описал, в каком платье и какого гостя он встретил. Немедленно выражена была воля, вследствие которой представление не состоялось. Надо вспомнить, что в это время покойная Государыня, ко благу России, еще имела большое влияние на государственные дела, и потому нельзя не пожалеть, что она не беседовала с Хомяковым. П. Б.

А. И. Кошелеву

11.

(Петербург, март 1856)

Любезный Кошелев! Я, несмотря на твое первое письмо, не стал бы тебе писать ничего, если бы не получил твоего второго письма. Оно писано под влиянием несколько раздраженным, но об этом при свидании; а вот покуда здесь до сих пор ничего я не сделал и думаю, что ничего не сделаю. После тебя, дело не двинулось ровно ни на волос. Н(оро)в очень хорош, очень мил, и только. Я несколько подозреваю, что Д(авыдов) его ставит в угол, когда он зашалится: по крайней мере таково мое впечатление. Вот положение, как я понимаю. Может быть, с нас снимут запрещение, но что толку? Мы останемся под страшным присмотром, и малейшее слово живое будет прихвачено. Отказ в журнале или наш отказ от журнала не значит ничего. Это нас не срамит; но если нас будут тщательно обесцвечивать и лишать всякого вкуса и содержания, мы потеряем всякое значение в мире людей мыслящих и погибнем навсегда или по крайней мере надолго. Поэтому я и решился действовать прямее и идти напролом: отдал Н-ву свою статью (за которую с меня взята подписка) и сказал: или она должна быть позволена, или мне их милость ни на что не нужна. Нынче я от него получу ответ. Чтобы ты мог понять взгляд здешних пошляков на наше направление, скажу тебе только то, что Н-в жаловался мне на Киреевского: «Киреевский мне писал; и вообразите: он просит разрешения и в то же время объявляет, что он нисколько не хочет изменить своего взгляда и образа действий и выражений». Я тут его перебил, будто не понимаю его: «Конечно, Киреевский смешно оговаривается; он должен вас знать и знать, что ваше превосходительство убеждены, что человек не меняет убеждения как рубашку, и что честный человек говорит, как думает». Вообрази его физиономию при этом! Впрочем, мы очень хороши, а дело

не подвигается. Нужен ultimatum резкий, и по крайней мере, если его примут, то мы сколько-нибудь можем надеяться, а без этого решаться ни на что нельзя. Мое требование насчет моей статьи достигает этой цели. — Теперь положение вдвое труднее, чем прежде. После мира (на который все согласились, кроме графа Д. Н. Блудова, который ведет себя как будто по заказу К. С. Аксакова), две дороги: или поправлять скверное впечатление бóльшим расширением пределов нашей умственной жизни, или безумно заупрямиться в войне против народности. Государь за первый путь; весь двор (то есть сильные) за второй, который, вероятно, и восторжествует. В обоих случаях нужно резкое определение, которое я и стараюсь вызвать. Если оно будет неблагоприятно, нам следует отказаться от всего и переждать.

Я везде в русском платье. Когда приеду, расскажу тебе все. Скандал был страшный, но я выдержал, хотя знают, что я заказал фрак на случай. Когда у меня спрашивают, отчего я не надеваю фрака, уже готового, я отвечаю: «Чтобы не думали, что Россия меня уступила вместе с берегами Прута». Прощай покуда.

(VIII 145-147)

Ю. Ф. Самарину

19.⁶⁷⁾

Ждали мы вас, любезный Юрий Федорович, а теперь вам и ехать сюда нельзя. А как вы были бы здесь нужны!⁶⁸⁾ Вы меня знаете; знаете, что я не совсем дифирамбического расположения, как наш общий друг, и нелегко поддаются увлечениям; но все же должен признаться, что время довольно живое. Один образчик даже и то, что об моей поездке в Питер напечатана в Le Nord шутовская статья. Очевидно, наша

⁶⁷⁾ Писано, вероятно, в апреле 1856 года.

⁶⁸⁾ «Дочитав письмо, увидите, что не нужны». Приниска под страницей самого Хомякова.

общественная жизнь получает какое-то новое значение. На долго ли? К добру ли? Это вопросы, которых решение предоставлено времени; но слава Богу, что хоть до вопросов дожили. Кошелев утопает в радости, не успевает все перехлопотать; Аксаков несколько подгулял и с Сакенского обеда⁶⁹⁾ не совсем протрезвляется; а Погодин просто пьян и наслаждается своим пьянством. Разумеется, во всем этом много излишества, и скажу более, много опасности для самой чистоты и трезвенности мысли, но все-таки небезрадостно видеть это оживление, тем более что во многих оно пробудило охоту к занятию серьезному и дельному. Чудная вещь, вообразите: еще «Беседа» не выходила, а уж беседы в Москве сделались попрежнему крикливы с одной программы. Что же будет, когда она выйдет в силу? Запад сначала очень к ней казался благосклонным; но была ли это только маска или недолговечная добродетель, а уж теперь переменилось. Впрочем, К.⁷⁰⁾ и другие порядочные из них говорили мне в Питере: «Мы с вами не согласны и не будем согласны, а это признаем: от вас только может услышаться первое серьезное слово, нам оно решительно не дается». Вследствие этого ли убеждения или от чего другого «Современник» (которого первые номера истинно славные) зовет к себе в критики решительного славянофила Григорьева⁷¹⁾. Впрочем, еще есть другое объяснение: не выдумали ли петербургские политики, что так как уж нельзя избавиться от славянофильства, так нельзя ли сделать свое ручное, в про-

⁶⁹⁾ Обед, данный в Москве начальнику севастопольского гарнизона графу Остен-Сакену, на котором К. С. Аксаков превозгласил тост «за общественное мнение», принятый с шумным, единодушным восторгом. Это считалось тогда истинным завоеванием, чем-то необычайным, и чтоб провозгласить подобный тост, потребна была отвага Константина Сергеевича! Письмо Хомякова живо характеризует эту эпоху обновления и возрождения после тридцатилетнего удушья.

⁷⁰⁾ К. Д. Кавелин.

⁷¹⁾ Аполлона Александровича.

тивоположность нашему дикому, *Slavenophilismus ad usum freilinearum*? Заменить натуральную оспу коровью. Как вы думаете? Господи, сколько бы хотелось вам рассказать: и эффект, произведенный дерзостью моего зипуна в петербургских салонах, и пугливую дружбу Норова... Впрочем это все комеражи; а гораздо серьезнее, какие статьи нам дают в «Беседе» и что за сокровище филологический комар⁷², обратившийся в пчелку златую и принесший из путешествия своего истинные сокровища, например, письмо современника о великом князе св. Владимире и Печенегах!!! Другое, его собственное письмо о Лужицах, просто чудо. А сказать ли вам всю правду, хоть нелестную? Были бы вы и И. С. Аксаков здесь, я был бы очень, очень рад; а что вас обоих здесь нет, я едва ли не более еще рад. Во-первых, за вас: поохотиться на волжском разливе, ведь это чудо; дохните тихим воздухом степей, право будет у вас веселее воспоминание; а потом, за вас обоих и за нас. Вам скучненько, и это хорошо. Здесь ходит маленький хмель, от которого трудно отбиться (сам я боюсь, вполне ли я свободен, и даже нет ли следов его в моем письме; о других и говорить нечего). Вы, И. С. Аксаков и И. В. Киреевский в деревне. Я думаю, вы нас отрезвите, когда подъедете. Средства не затемнили бы нам цели, той тихой, строгой, исторической, можно сказать, святой цели, которая была нам ясна в тишине посланного нам испытания, не огневого, сгнетающего, — ледяного. Я отчасти предвидел теперешнее искушение и осенью писал об нем к К. С. Аксакову с текстом: «Несть наша брань к плоти и крови и пр.» Он, разумеется, соглашался и теперь соглашается, но на деле удержу уж нет. Эпиграфы наши хороши. Один вам известный, предложенный Аксаковым: «только ко-

⁷²) Под «комаром» Хомяков разумеет здесь А. Ф. Гильфердинга, имевшего очень тонкий голос. Он проезжал летом по славянским землям.

реньем дерево крепко и пр.»⁷³), а другой от Филиппова⁷⁴): «Господь даст благодать, и земля даст плод свой». Страшно подумать, что надобно поворотить и откуда! Какой пропеть канон покаяния, какое нужно упорство воли, строгость занятий, жар любви, и как мы все привыкли жить, как живется. Счастливы те, которые этого не видят, или видя, не падут духом. Будьте здоровы и не скучайте, а любуйтесь на Божий мир, да пишите что-нибудь перед ним и перед собою⁷⁵. Не шутя, я жду от вас отречения для нас.

В Пит. уже слишком 400 проектов эмансипационных и просят более и более. Тут много утешительного, хотя уж по числу сочувствующих, хотя бы в самых проектах и мало было толку.

(VIII 280-283)

А. И. Кошелеву.

12.

(Июнь 1856)

Я к тебе не писал, любезный Кошелев, после нашей общей потери. Какая тяжелая, как неожиданная! Киреевский не только нам был дорогой друг: он был для Беседы (в этом я разумею не один печатный журнал) необходимым делателем. Его специальность не имеет другого представителя; да если бы и имела, то не найдется такого, который бы имел его собственные, свойственные ему одному достоинства. Знаешь ли, что когда мне сказали об его смерти (это сказано мне было при входе в дом, на возврате из Смоленской губернии), после первого потрясения мне тот-

⁷³) «Только коренью основание крепко, то и древо неподвижно; только коренья не будет, к чему прилепиться?» Из окружного послания патриарха Гермогена. Один только этот эпиграф и был принят редакцией «Русской беседы» и стоял на всех ее 20 томах.

⁷⁴) Тертия Ивановича.

⁷⁵) Вероятно, это значит: вдали от внешних суетных веяний.

час пришел в голову ты, его старейший друг. Как вынес ты этот удар? Он тем более должен был тебя поразить, что, судя по твоему письму к Самарину, ты как будто был особенно бодр и весел. Я долго не мог опомниться. Как-то вынесет Авдотья Петровна и бедный Петр Васильевич⁷⁶), который так давно хворает? Нынче в ночь я еду к ним⁷⁷): раньше не мог, потому что говел. Какая-то особенная судьба Ив. В. Кир! То цензура и власть царская останавливали его, то теперь смерть, и всякий раз на половине труда. Какое-то также особенно строгое испытание нашему направлению: как будто опыт нашего терпения и постоянства. Редает круг наш; жизнь обращается для каждого как будто в воспоминание. Подвиг становится все строже и строже. Видно, так надобно...

(VIII 147)

Степану Петровичу Шевыреву

6.

Лето (1856).

Да любезный друг, круг наш уменьшается, и какой человек из него выбыл! Потеря невознаграждаемая, не говорю для нас, а для мысли в России. Как судьбы Божии ведут наше просвещение, не сообразишь; но не должно слабеть или унывать. Смерть Киреевского была почти внезапная: с сыном обедал очень легко (у него было маленькое расстройство желудка, продолжавшееся несколько дней); после обеда лег отдохнуть; через час вскрикнул от боли; началась холера с корчами. Доктора нескоро достали; перед ночью приобщался, а к утру кончил. При смерти были Веневитинов и Комаровский. Вот и всё.

Кажется мне, об издании его сочинений и думать нельзя. Первые запрещены, последние заподозрены и

⁷⁶) А. П. Елагина — мать И. В. Киреевского, а Петр Васильевич — брат его.

⁷⁷) В село Петрищево, близ города Беляева.

почти запрещены; но собрать их надобно. Бедная мать! Бедный Петр Васильевич! Я больше всех боюсь за него. У него здоровье плохо, а душа нежнее женской. С Киреевским для нас всех как будто порвалась струна с какими-то особенно мягкими звуками, и эта струна была в тоже время мыслью. И когда же порвалась? В ту самую минуту, когда с нее снята была тяжесть, мешавшая ей звучать. Странная судьба! Ты узнал из газет, а я вот как. Я из смоленской деревни приехал в 10 часов в понедельник и по расчету думал Киреевского найти в Москве; вхожу и спрашиваю: «Киреевский здесь?» — «Как же. Его вчера привезли». Я долго не мог понять. Грустно; но все же он не даром пожил и в истории философии оставил глубокий след, хоть, может быть, и не доделал своего дела.

(VIII 424)

Александру Николаевичу Попову

35.

(Лето 1856.)

Жестокий удар для нас всех, любезный Александр Николаевич, в смерти Ивана Васильевича! Какая невознаградимая потеря для нашей бедной науки! Его специальность была философия, которой другие отдают только короткие досуги, и эта специальность строилась у него так своеобразно, что мы могли надеяться видеть когда-нибудь у себя начало новой философической эры, которой позавидовали бы другие народы. Судьбы Божии в отношении к нашему просвещению имеют какой-то характер особенной строгости: как будто бы в наказание за долгую нашу ложь падают удары на немногих, стремящихся возвратиться к истине, испытывая их терпение. Авось Бог же даст, что поле не опустеет, и что новые будут возникать деятели, как ветви на священном дереве: uno avulso non

deficit alter⁷⁸. Но для друзей, для семьи (то есть матери и братьев) замены, конечно, нет. Вынесет ли слабое здоровье Авдотьи Петровны? Да и Петр Васильевич не очень-то надежен. Вот два года все хворает. На другой день после Петрова я хочу к ним съездить дня на два. И как Киреевский было славно пошел! Теперь у меня корректурные листы его статьи. Нужно об нем сказать несколько слов и указать на его значение и на путь, который он отчасти проложил...

(VIII 220))

Александр Фёдоровичу Гильфердингу

9.

Сентября 12 дня (1856).

... О коронации только два слова. Въезд был удивителен, и я рад, что его видел... просто, какой-то волшебный сон. Золото, азиатские народы, великолепные мундиры и старые немецкие парики. Тысяча и одна ночь, пересказанная Гофманом. За всем тем чудно хорошо! Самой коронации я не видал. Достал места старшим детям и послал их; достал еще два билета себе и меньшей дочери; тут явились двое сербов из Триеста, приехавших собственно для этого. У них билетов не было; я отдал свои и, разумеется, не мог не отдать. Оставшись дома, написал стихи, которые посылаю к вам. Барыня одна критиковала последнюю строфу: «С чего он вздумал про душу говорить? Об этом и Филарет не говорил». Ведь не дурно!^{78а}

... В скором времени, может быть, примусь я и за третью брошюрку по случаю Бунзеновых *Zeichen der Zeit*⁷⁹). Курьезное произведение! Впрочем, тут же хочу я приплести и гадкую книжонку Гагарина: *La Russie*

⁷⁸) Если повержен один, его заменяет другой.

^{78а}) А ты, в смирении глубоком
Венца принявший тяготу,
О, охраняй неспящим оком
Души бессмертной красоту!

⁷⁹) Знамения времени.

*sera-t-elle catholique?*⁸⁰⁾ Вся цель этой дрянной штуки одна: сказать нашему правительству *que tout le mouvement orthodoxe et panslaviste de Moscou n'est que la révolution déguisée sous une forme orientale, forme bien plus profondément conçue, bien plus puissante et plus élastique que toutes celles qu'a pu inventer l'Occident*⁸¹⁾.

Каков подлец-иезуит! Отвечать на это я, конечно, не стану потому, что оправдание я считал бы уже уничтожением; но хочется мне негодя потаскать в его собственной грязи. Что это только может иезуитизм сделать из человека! Ведь, вероятно, была же в нем и добросовестность, и какая-нибудь вера, и теплота душевная. Без всяких внутренних побуждений не бросит же человек все выгоды общественного положения и удобства жизни, и роскошь, к которой с детства привык. Глядя на это, понимаешь, как ложно понятое чувство религиозное жгло, резало, развращало и унижало человека ниже скота. *Tantum religio potuit suadere malorum*⁸²⁾. Я разобрал Гагарина и не пощажу печатно, если буду писать: а мне очень жаль его.

... В Москве познакомился я с американцами и американками. Совсем особенное племя; в них что-то дикое при просвещении: одичалые *gentlemen* и *ladies*. Меня полюбили очень.

*They haven't met anybody half so funny in Europe. Why, they would have run after him (т. е. за мною) in America.*⁸³⁾ Я не ожидал такой характеристики.

(VIII 313, 315, 316)

⁸⁰⁾ «Будет ли Россия католическою?»

⁸¹⁾ «все движение православное и всеславянское в Москве есть не что иное как революция в восточной форме, которая гораздо глубже обдумана, гораздо сильнее и растяжимее, нежели все формы, какие мог придумать Запад».

⁸²⁾ Столько религия может внушить бедствий.

⁸³⁾ «Они не встречали никого в Европе, кто бы наполовину был так же забавен, как я. В Америке бы за ним (т. е. за мною) просто бегали».

Графу Александру Петровичу Толстому⁸⁴.

Когда вы нынешний год посетили меня болящего в Москве, вы спрашивали меня о нашем тульском архiereе Димитрии⁸⁵. Я сказал вам свое мнение, но теперь считаю обязанностью к своему личному мнению о нем прибавить рассказ о том, как выразилось мнение общественное. Может быть, вам уже это известно; но расскажу на всякий случай.

Приехал я в деревню в конце июня, и бездна хлопот долго мешала мне быть в Туле, чтобы проститься с нашим пастырем. Наконец, за три дня до его отъезда, был я у него вечером наедине. Разговор, разумеется, скоро обратился на его будущие действия в Одессе по делам наших единоверцев. Горячее его участие в их жалкой судьбе, увлечение, с которым он говорил о них, меня истинно порадовали, и вам приятно будет знать, что вы будете в нем иметь ревностного делателя, совершенно чуждого всяким личным видам, всяким любвям, кроме человеко-и правдолюбия. Особенно же, думаю я, будет приятно вам слышать, как он говорил об отношениях греков к славянам. «Первое дело в самом церковнослужении есть его действие на душу и нравственную жизнь христиан. Если язык не понятен народу, мы впадаем в латинство и в одно время разрушаем единство молитвы между пастырями и паствою и лишаем церковную службу всякого духовного влияния на домашнюю жизнь христиан. Это важно во всех случаях, а особенно в народах непросвещенных или неграмотных». На это я ему отвечал, что ведь тут еще важен вопрос о вселенстве, ибо народность и провинциализм не должны с ним входить в соперничество. «Именно так, — сказал он — это-то всего важнее. От этого самого и не должно допускать совершенного преобладания одной народности над другой; ибо та-

⁸⁴) В то время обер-прокурору Св. Синода, близкому знакомцу А. С. Хомякова еще по турецкому походу 1828-1829 гг.

⁸⁵) Преосв. Димитрий (в миру Климент Иванович Муретов), доктор богословия, род. в 1806 г., сконч. 14 ноября 1883 г.

кое порабощение в делах духовных было бы полным торжеством провинциализма, совершенно противного христианству и вселенству». Меня поразила такой, кажется мне, новый и высокий взгляд на отношение вселенства к народам. Я оставил его очень поздно и с чувством удвоенной к нему любви. Но это все личные мои впечатления, а вот как выразилось чувство общее. Три дня сряду от обедни до темного вечера приходили к нему прощаться все горожане и деревенские жители, случайно пришедшие в город. Ему положительно не давали даже обедать. Все оружейники, все мещане, женщины и мужчины, пересбывали у него. Этого не довольно: все, кажется, дети приходили просить благословения. Он роздал им до пяти тысяч крестиков. Наконец, в день отъезда (он захотел уехать прямо из церкви, так как и приехал прямо в церковь), собор был битком набит. Кремль также, площадь перед воротами и низ Киевской улицы также. Он служил, как и всегда, с большим чувством. Священники и диаконы беспрестанно останавливались, чтобы отирать глаза. После обедни он вышел проститься: благодарил за любовь, которой не заслужил; потом просил прощения за все, чем мог перед кем-нибудь провиниться. «Простите меня, вашего брата, как и сами просите, чтобы Господь вас простил», прибавил несколько слов наставления и увещания и, наконец, просил, чтобы его не забыли в молитвах, — живого, чтобы Бог дал ему силы для исполнения долга, на нем лежащего, или мертвого, дабы Господь простил ему его слабость в исполнении этого долга. Он был сильно тронут сам, и столько было слышно искренности в его словах, что весь собор плакал навзрыд. От собора до ворот Кремля дошел он только часа через два: так к нему толпились. Губернатор и полицмейстер хотели раздвигать народ, но не могли. Мещане добродушно обнимали их, упрашивая, чтобы им не мешали проститься со своим епископом. В воротах он сел в дорожную карету и ехал шагом в густой толпе. Она его провожала не только до шлагбаума, но еще версты с две, и тогда только остановилась, когда

он вышел, просил, чтобы его не огорчали видом такого труда, принимаемого из любви к нему, и еще раз дал общее всем благословение. Тут было что-то напоминающее первые века церкви, и, конечно, одна уже такая сцена облагораживает и очищает общую жизнь.

Этого не будет в газетах, и слава Богу. Там так много всякой лжи, официальной и неофициальной, что такой прекрасной правде там не место; но я счел обязанностью рассказать ее вам, особенно после разговора нашего о преосвященном Димитрии. Я уверен, что эти подробности будут вам приятны.

(Июня 1857 г.)

(VIII 429-431)

С. Т. Аксакову

2.

Тяжело было мне расстаться с матушкой⁸⁶). Я и ожидал и не ожидал ее кончины. Давно уже силы ее упали, но в ней была такая обманчивая живость чувств и мысли, то, казалось, ей можно бы было еще долго пожить; а это удаляло от меня ту уверенность в приближающемся конце, которую я должен бы был более иметь, если бы смотрел только на физические изменения. Я о ней могу сказать беспристрастно, что она была хороший и благородный образчик века, который еще не вполне оценен во всей его оригинальности, века екатерининского. Все (лучшие, разумеется) представители этого времени как-то похожи на суворовских солдат. Что-то в них свидетельствовало о силе неистасканной, неподавленной и самоуверенной. Была какая-то привычка к широким горизонтам мысли, редкая в людях времени позднейшего. Матушка имела широкость нравственную и силу убеждений духовных, которые, конечно, не совсем принадлежали тому веку, но она имела отличительные черты его: веру в Россию и любовь к ней. Для нее общее дело

⁸⁶) Мария Алексеевна Хомякова, скончалась в Москве 24-го июня 1857 года.

было всегда и частным ее делом. Она болела, и сердилась, и радовалась за Россию гораздо более, чем за себя и своих близких. Так, например, нынешний год она после тифа несколько дней не хотела даже, чтоб у нее спрашивали про ее здоровье, и очень удивила Свербееву тем, что на ее вопрос отвечала: «Что вы тут толкуете о здоровье старухи, когда разоряют всех купцов! Вот вы о чем должны теперь горевать!» В ней было, действительно, что-то благородное и облагородившее.

(1857)

(VIII 326)

М. С. Мухановой⁸⁷⁾

8.

Тяжела мне моя последняя потеря, может быть, более, чем я сам думал. Ее лета, ее со дня на день слабеющее здоровье заставляли меня ожидать ее кончины, и ожидание должно бы, повидимому, притуплять до некоторой степени самую горесть; но в матушке была еще такая живость чувства и мысли, что, казалось, смерть еще не так близка и что сперва отзовется ее приближение на ум и сердце, а потом только возьмет она все свои права. Вышло не так. Тело разрушилось, а душа до последнего дня сохраняла все свои силы. Разумеется, я не говорю о последних уже часах; но за сутки с небольшим она рассуждала о делах домашних, о строении церкви⁸⁸⁾, о судьбах России, как и прежде, в полном здравьи. Много настрадалась она в жизни, и тяжело было ее попроще, прежде чем она пришла к

87) Девица Марья Сергеевна Муханова, двоюродная сестра братьев Мухановых, приятелей Хомякова, известна была в Москве умом своим, многостороннею образованностью и благотворениями.

88) Марья Алексеевна Хомякова в 1812 году дала обет построить церковь в благодарность за избавление от французского нашествия. Церковь при селе Круглом (Данковского уезда) освящена в 1878 году.

отдыху; но и не бесполезна была эта жизнь, и много добрых воспоминаний связано с нею. Она, смею это сказать, была благородным и чистым образчиком своего времени; и в силе ее характера было что-то принадлежащее эпохе более крепкой и смелой, чем эпохи следовавшие. Что до меня касается, то знаю, что, во сколько я могу быть полезен, ей обязан я и своим направлением, и своею неуклончивостью в этом направлении, хотя она этого и не думала. Счастлив тот, у кого была такая мать и наставница в детстве, а в то же время какой урок смирения дает такое убеждение! Как мало из того доброго, что есть в человеке, принадлежит ему!

На днях кончил я свою третью брошюру, которая мне далась с немалым трудом. Вопросы затронуты все, которые только мог я придумать для строгого определения отношений Церкви к Богу, к своим собственным чадам и к кающемуся историческому развитию ее. При этом постоянные сопоставления двух ее отличительных свойств, крайней свободы и совершенного единства, в противоположность протестантской свободы и римского единства. Что-то из этого будет? В Германии до сих пор несколько объявлений газетных о первых двух, ни одного возражения или разбора; но по некоторым отзывам видно, что они озадачены. Журнал *Reportorium* говорит: «Книга стоит ответа; но советую возражателям приняться за дело, сильно обдумав свои возражения. Она похожа на укрепления севастопольские, и ее легким боем не возьмешь. Во всяком случае, должно признаться, что Россия крепка не одними вещественными силами». Это лестно, но мне бы хотелось настоящих ответов: тогда лучше можно бы их пронять. Добьюсь ли этого третьей брошюрой?

Дела много, а я, к несчастью, и ленив и рассеян другими делами. Дай Бог помощников! Но, к несчастью, так трудно русскому человеку проснуться да взяться за работу: так мало еще людей, желающих духовной и мысленной жизни, что иногда руки отпа-

дают. Одно утешение — смотреть, как дубы тихо растут. Может быть, так и надобно для крепкого роста...

Сентября, 10 д., 1857 г.

(VIII 405-406)

К. С. Аксакову

7.

...Но вообще, о чуде, *miraculum*, можно сказать только то, что сказано в самом его названии: вещь удивительная. Теперь, почему вещь удивительная должна считаться частным нарушением общих законов, я не вижу. В Америке нам показывают толстый брус железа, который висит в воздухе. Приглашают вас его опустить; вы налегаете, он подается и потом вас поднимает, и происходит забавная борьба между вами и висющим брусом. Ну, не чудо ли это? Нет, говорит Б., это гальванизм. Правда; но оно не чудо, потому что вы знаете силу, которою производится частное явление, повидимому, нарушающее общий и непреложный закон тяжести. Отнимите ваше знание, и остается дело колдовства, магии, чудо. Исцелен слепой; вы говорите — чудо, и правы: оно удивительно, но оно точно так же проявление силы, о которой вы еще не имеете полного знания.

Чтобы дело яснее понять, надобно бы сперва спросить: что такое сила, сила вообще? Это вопрос очень важный и который непременно ставит в тупик материалиста. Вещество является нам всегда в пространстве, в атомистическом состоянии. Очевидно, никакая частица вещества не может действовать вне своих пределов, т. е. действовать там, где ее нет. Итак, никакой частной силы быть не может, и сила является принадлежностью не дробного вещества, но все-вещества, т. е. уже не вещества, но идеи, уже не дробимой, но всецелой, не рабствующей чему иному, но свободно творящей силу. Итак, сила сама есть только иное название воли. Какой? Самая плохая логика доводит уже

тогда до идеи, что эта воля есть воля Божия. Тут явно исчезает всякий спор, всякое несогласие между чудом и обычным ходом мира. И в этом мире воли Божией, свободной, ходит опять свободная наша воля, всегда свободная в себе, хотя всегда подчиненная (как вы сказали) высшей воле в отношении своего проявления или последствий своего проявления. Так, желающий вредить может помочь нехотя, и желающий помочь — вредит нехотя. Но воля Божия проявляется не для себя, а для разумного творения, человека, и когда воля человека по своим чистым и святым побуждениям (всегда любви), совпадает с характером воли Божией (т. е. любви и святости), происходят новые явления, повидимому, чуждые общему порядку вещей. В этом, для меня, проявляется нравственный характер того, что мы вообще называем силою. Не знаю, ясно ли высказал я свою мысль; но для меня ясно, что всякое явление мира физического есть только непонятное нам проявление — грамота — воли святой, Божией. Очевидно, мы с вами согласны.

Заметьте, возвращаясь к молитве, что всякое исполнение молитвы есть чудо и что по тому самому ее исполнение обуславливается, как и всякое чудо, совпадением характера просьбы с характером воли Божией в любви и святости. Христос ходил хозяином в мире воли Божией по совершенству своего духовного существа; но Он отверг всякое чудо ненужное в ответе, обличавшем сатану: «не искушай Господа Бога».

(VIII 339-340)

И. С. Аксакову

2.

Посылаю вам окончание Лютера⁸⁹). Вы ждете от меня примечаний; но о примечаниях я ни от Кошелева,

⁸⁹) «Гус и Лютер», диссертация Е. П. Новикова, печатавшаяся в «Русской беседе», 1858 года.

ни от Макс.⁹⁰⁾ ничего не слышал. По-моему же они не нужны. Иное бы было дело — введение с определением реформации и эпохи реформационной; да ведь это была бы целая статья, и статья многотрудная. Мне было поручено исправить то, что могло подать повод к ложным толкованиям, и все слова и выражения, которые Новиковым употреблены неосторожно, по неясному пониманию отношений католицизма и реформации к древнему понятию о Церкви. Это я и сделал. Более, думаю, не нужно. Вы увидите, что я в нескольких местах сделал весьма важные перемены. Одно мне сомнительно: вторая мною теперь посылаемая вам половина не была бы слишком огромна для одного №. Статья о Лютере много ниже статьи о Гусе; она уже и тем ниже, что она, собственно, обнимает жизнь Лютера только до его истинной деятельности и собственно должна была называться “Meister Luther’s Lehrjahre”, но она все-таки высокого интереса и для многих наших читателей важна, показывая христианина искреннего и горячего в человеке, которого привыкли считать чуть не извергом рода человеческого.

...Был я в Туле, хотел собрать справки об эмансипационном вопросе, и ничего не мог дознать. Одно ясно: дворяне все против, и на за что бы не тронулись, да боятся правительства и подличают ему. Так, крапивенский предводитель объявил губернатору, что все дворяне отказываются⁹¹⁾ и показал ему их отказ; а потом, когда побывал у губернатора⁹²⁾, и тот на него крикнул, стал уверять, что его не поняли, что, напротив, все согласны, и действительно через неделю привез согласие всего уезда. Довольно важно то, что все мирволившие дворянам (в том числе и губернский наш) столько получили оскорблений от ультра-консерваторов, что сделались жаркими эмансипаторами с досады. Есть и кроме этих соображений приметы, что

⁹⁰⁾ М. А. Максимовича, известного писателя, исследователя истории и быта Малой России; в 1858 году он жил в Москве.

⁹¹⁾ Вероятно участвовал в комитете.

⁹²⁾ Тульским губернатором был тогда генерал Дараган.

вопрос в комитете будет рассмотрен довольно дельно с хозяйственной стороны.

О крестьянах выхожу я опять прав и против Самарина, и против многих. Они так мало надеются на всю землю и даже на всю свою землю, что многие навоза не вывозят, не по причине заливных дождей, а потому, что говорят: «не знаем, что́ достанется нам в крепость». С одной стороны, это невыгодно для хозяйства, а с другой — весьма хорошая примета. Из дворян многие за собственность крестьянскую (разумеется, с выкупом) и полагают, что другого выхода нет. Так сказывал мне Арсеньев⁹³): а сам я в этом удостовериться не мог, но верю. Скажите Елагину⁹⁴), что стыдно будет, если он не постарается в депутаты по Белеву.

Известие ваше о батюшке, по моему мнению, весьма хорошее, и по всей вероятности было бы еще лучше, если бы погода была поблагоприятнее; но теперешние беспрестанные потопаы вовсе не благоприятны для лечения. Кланяйтесь ему, пожелайте ему доброго лова рыбьего; я и сам хочу ужением заняться и готовлю удочки. Ловить же буду, если погода не переменится, прямо из окошек. До этого уже недалеко: луга по вечерам как-то странно пищат, до того напитаны сыростью. При этом такая теплынь, какой я не запомню.

Прощайте, любезный Иван Сергеевич; будьте здоровы. Что-то делает братец? Я же читаю то, что не успел прочесть в Москве — Устрялова и восхищаюсь его всесовершенной глупостью. Впрочем, я все более и более убеждаюсь в одном: все ошибки Петра оправдываются (т. е. объясняются) странным бессмыслием допетровской, романовской, московской Руси. Еще раз, прощайте. Ваш А. Хомяков.

(VIII 350-51-52)

⁹³) Тульский губернский предводитель.

⁹⁴) Николаю Алексеевичу, единоутробному брату Ивана и Петра Васильевичей Киреевских. Н. А. Елагин позднее был избран депутатом.

Ю. Ф. Самарину

21.

Октября 3-го (1858 г.)

Sumas

Historiae Senatus Anglici temporibus Tudor quolibet
autore librum

Misce fiat cum

Historiae Germaniae saeculo XVII-mo.

Recipe paginam pro dosi.⁹⁵⁾

Вот, любезный Юрий Федорович, лекарство для вас, за которое ручаюсь. Мы живем и действуем в современной истории и, забывая историю, требуем не-исторических явлений. Я глубоко понимаю и чувствую ваше чувство; думаю, что оно то самое, которое выражено мною в пьесе⁹⁶⁾, может быть, самой личной из всех мною написанных (слов не помню, но прошу Бога послать пророка и дать людям уши для слушания его). Дурно бы было, когда у нас не было бы этого чувства; нехорошо, когда этому чувству мы позволяем преобладать. Медленного явления жизни мировой не довольно для нас. Давай, Господи, чуда! Из темного гноища цареградской патриархии вышло слово вдохновенного христианства⁹⁷⁾; из цветного гноища петербургской ямы вышло слово, вызывающее миллионы на свободу и на жизнь умственную: это чудеса. Мало! Давай, Господи, чудес по нашему рисунку, и людей для понимания этих чудес, и для восприятия их в свои сердца! Вековая апатия, со дня на день усиливавшаяся, должна исчезнуть в один миг?! Привычки, устаревшие или, лучше сказать, уматоревшие и в то же

⁹⁵⁾ «Возьми книгу какого-нибудь автора истории английского сената времен Тюдоров; вели смешать с историею Германии XVII века, принимай каждый раз по странице».

⁹⁶⁾ «Как часто во мне пробуждалось» и т. д., т. IV, стр. 253. Замечательно, что, при своей необыкновенной памяти, А. С. Хомяков вовсе не обладал памятью на стихи, что и подтверждает сам в этих словах.

⁹⁷⁾ Намек на окружное послание патриархов.

время еще питаемые всем современным строем, должны быть брошены разом?! На всех язвах должно вдруг нарасти румяное тело?! Возможно ли? Правда, пророк говорит: «ты очистишь меня, и проказа моя осыплется с членов моих, как мука, и плоть мой выйдет из-под нее румяна, как плоть новорожденного младенца» (что-то в этом смысле; подлинных слов не помню), но такое личное обновление не принадлежит обществам. Простите меня, что я так резко вам отвечаю; но вы сами пишете о себе, как о больном, а болезнь ваша — моя болезнь; это вы, конечно, знаете без всяких от меня уверений. В вас, говорите вы, есть чувство саморазложения — верю; но, кроме того, знаю, что это чувство обманчиво и что его начало — недостаток веры в силу правды. Не в правде сомневаетесь вы, а в ее силе; и это сомнение растет у вас в то самое время, когда вы напрягаете все свои личные силы на ее самое в данном, теперешнем случае. Разумеется, это сокрушит хоть кого; но где же право на сомнение? «*Magna est veritas et praevalerebit*»⁹⁸), сказано давно и сказано навсегда. Горько, тяжело современное, но говорю с полным беспристрастием. Тело, оголившееся от мазей, которыми его смазывали или штукатурили, далеко еще не так гнусно, как я ожидал. Правда, общество пляшет, дворянство играет в карты, чиновник крадет, поп меняет каноны на гривенники; да ведь это делали всегда; разом не переменишься. И тогда, когда придет Сын Человеческий, разве не то же Он найдет — мир, плетущийся по своим привычным колеям. Из чего же бояться? Если бы вы не полагали лучшего возможным, если бы вы нигде его не видали на земле: вы не приходили бы ни в негодование, ни в уныние, когда вы не видите его в России. Правда, это лучшее только сравнительно лучше и разумнее; но к нему обязаны мы стремиться, и оно будет достигнуто. Надежда так же обязательна, как вера и любовь. Горькое чувство современных болезней и особенно бесчувственности больных к своим болезням в вас теперь особенно

⁹⁸) Велика истина и превозможет.

сильно. Думаю, что это приписать можно двум причинам: во-первых, двум ударам, поразившим нас почти одновременно и, правду сказать, это такие два удара, которые не легко перенести (смерть Шеншина меня с ног сбила); во-вторых, силе, с которой вы, к великой похвале вашей, обратились к труду. Если с трудом не растет надежда, он гнетет человека, и дурное, против которого борешься, кажется с каждым днем и грознее, и хуже. Но я не могу поверить, чтобы в вас надежды не было; мне кажется только, что в вас надежда подавлена некоторым нетерпением. Невольно забываете вы, что та борьба, в которую мы вступили, есть только отрывок не только вековой, но и вечной борьбы, на которую осуждено человечество, и что в каждую эпоху победа правды отхватывает от лжи такие маленькие вехи, что современники их почти не замечают: только нарастанием составляют они что-нибудь важное. Я скажу более: плохо дело, когда эпоха радуется какому-нибудь великому приобретению; того и смотри, следующим придется дорого за него заплатиться. Только медленно и едва заметно творящееся полезно и жизненно; все быстрое идет к болезням. Пусть будут балы вечером и молебны поутру, как прежде, бега и скачки; пусть все идет своим путем или хоть беспутием: дело общественное совершится с успехом. Я радуюсь малой пробужденности общества (полной летаргии не признаю). При теперешних умственных данных большая пробужденность пугала бы явлением лихорадочным. Строй общественный должен быть приложением внутренней жизни народов к их жизни внешней. Но готова ли внутренняя жизнь к проявлению? Воспитана ли она? Насколько в ней зрелости? Вспомните ее за 25 лет. Вы, Акс., Кир., Кошелев и все мы, были бы возможны? Недавнее время воспитало нас, а мы, очевидно, опередили других, и так — все дело в воспитании. Мы передовые; а вот правило, которого в историях нет, но которое в истории несомненно: передовые люди не могут быть двигателями своей эпохи; они движут следующую, потому что со-

временные им люди еще не готовы. Разве к старости иной счастливец доживет до начала проявления своей собственной, долго носимой мысли. Разумеется, люди во власти (как Петр) составляют исключение; но и это даже сомнительно, ибо и они делают не то, что хотят в смысле положительном, а успех их по преимуществу выражается в фактическом отрицании. Мы (я возвращаясь к состоянию общественного здоровья, которое можно видеть из частных случаев) еще счастливы. Добро пробивается сильнее, чем можно было ожидать. То невольное признание, которое нашего милого Шеншина призвало к делу⁹⁹⁾, Кошелева, Черкасского, вас, разве оно ничего не значит? Или это бессознательно? Утвердительно говорю, что оно вполне сознательно; это очень ясно из речи, говоренной Государем московским предводителям. Неужели не важно то обстоятельство, что имена ваше и Кошелева сделались притчами, привлекая или отталкивая, по всей Великороссии? Я знаю это не по догадке, а потому, что было говорено громко десятками на выборах. Конечно, наши выборы были не хороши, но гораздо лучше, чем можно было ожидать. Например, Белевский уезд выбрал трех самых отъявленных эмансипаторов, Елагина, Н. А. Черкасова и Павлова (брата верейского предводителя); и много других обстоятельств было весьма успокоительных. . . . Письмецо это доставит вам Дмитрий Сергеевич Арсеньев¹⁰⁰⁾, брат Евг. С. Шеншиной, славный человек и во многом, если не ошибаюсь, напоминающий нашего милого Николая Васильевича. Он вам передаст бумаги от сестры, бумаги весьма интересные, и, вероятно, будет вас уговаривать принять немедленно приглашение в Питер¹⁰¹⁾. Я думаю, что на это и уговаривать нечего. Вам нельзя не ехать. С вами будут Ми-

⁹⁹⁾ Т. е. по устройству крестьян.

¹⁰⁰⁾ 1832—1915; был впоследствии Директором Морского Корпуса, адмиралом, генерал-адъютангом и членом Госуд. Совета.

¹⁰¹⁾ Т. е. приглашение в состав редакционной комиссии по крестьянскому делу.

лютин, Соловьев¹⁰²), князь Черкасский в одном отделении. Не замедлите, пожалуйста. Меня при этом радует, что вас скоро увижу и что знаю, что вы едете уже на настоящее дело.

... Кошелев не назначен в комитет. Это просто возмутительно. Как объяснить это со стороны Ростовцева? Просто уступкою озлоблению общему и отсутствием поддержки со стороны придворных эмансипаторов; Ростовцеву хотелось его признать, но он не решился. Надобно, будет выдумать средство делу посодействовать. Его это огорчит, и мне за него больно, тем более, что независимое содействие посредством журнала¹⁰³) затрудняется с каждым днем.

(VIII 284-8, 290-91)

И. С. Аксакову

3.

Посылаю ее, и в одно время сам ею доволен и огорчен. Мне хотелось было, чтобы Иванов ее прочел. Тяжело класть какой бы то ни было венец на гроб, будь это хоть венец святости или мученичества. На беду еще я познакомился с ним¹⁰⁴) и почувствовал, что он точно был наш, всею душою нам сродни. Подите-ка, спросите у Константина Сергеевича, как это

¹⁰²) Яков Александрович, бывший потом членом учредительного комитета в Варшаве и скончавшийся в звании сенатора.

¹⁰³) Александр Иванович Кошелев, независимо от «Русской беседы», издававшейся на его счет, при первом появлении знаменитых рескриптов дворянству, положивших начало работам по эмансипационному делу, предпринял издание «Сельского благоустройства», исключительно посвященного этому делу. Он же был и редактором и главным сотрудником этого превосходного журнала, поставившего и разъяснившего много вопросов и содействовавшего разрешению задачи. В том же журнале помещались статьи братьев Самариных, кн. Черкасского и других. Журнал издавался в течение всего 1858 года и частью в 1859 году. С открытием редакционных комиссий он прекратился.

¹⁰⁴) Т. е. с Ивановым.

такие люди могут родиться в Петербурге, а родятся же! Впрочем, я ему в некоторое утешение скажу, что Иванов, хотя и не бывал никогда в Москве, но признается в заглазной любви и влечении к ней. Надеюсь, что друзья его скажут мне спасибо за мою статью, которая, впрочем, писана совершенно по совести. — А вот нет и Шеншина¹⁰⁵)! У меня просто кровью сердце залило при вести об его кончине. Славная, чистая, добрая, нежно-любящая и детская натура! Он простудился и едва уже ноги таскал; и как его Гильфердинг¹⁰⁶) и доктор ни отговаривали, поехал в комитет, потому что «заседание важное, а нас, стоящих за крестьян, мало». Гильфердинг справедливо говорит: *“Il est mort sur la brèche”*¹⁰⁷). Меня радует, что его как будто оценили, и какое-то приходит странное, вероятно, мечтательное убеждение, что лучшие чувства заговорят после его смерти даже в душе тех, которые с ним не соглашались в жизни. Но бедная жена! Я о ней даже думать не могу: становится страшно. А я к ней имею какое-то особенное чувство, как будто к дочери; иначе я его назвать не могу. Кажется мне теперь, что самое лучшее, что о ней мне могут сказать, это то, что она не пережила мужа. Мне за нее в сердце холодно, как будто туда лед попал. Она, говорят, не уронила ни одной слезы, не простонала ни разу; а умри она, мне бы казалось, что смерть ее укачала, как огорченного ребенка. Дай ей Бог силы!..¹⁰⁸)

(1858 г.)

(VIII 353-4)

¹⁰⁵) Флигель-адъютант, Николай Васильевич Шеншин, член СПб комитета по освобождению крестьян. См. о нем «Русская беседа», 1858, кн. 3, заметку М. П. Погодина и биографический очерк в «Русском архиве» 1864 г.

¹⁰⁶) Федор Иванович, отец слависта, Александра Федоровича.

¹⁰⁷) Он умер на боевом посту.

¹⁰⁸) Вдове Н. В. Шеншина, Евгении Сергеевне (ур. Арсеньевой) А. С. Хомяков послал стихи свои: «Подвиг есть и в сраженьи».

Евгении Сергеевне Шеншиной¹⁰⁹)

(По кончине ее супруга, 1858)

Вы у меня спрашиваете совета, дорогая Евгения Сергеевна, о том, что вам делать и чему посвятить жизнь свою, а я и не отвечал, и не умею отвечать. Никогда, кажется, не сумеешь придумать такого совета для другого, и еще менее придумает мужчина для женщины. Что делать в жизни? Знаете, это все равно, что сказать: чем святить жизнь свою для будущей? Кто на это ответит для другого? Пусть ухо прислушивается к голосу Бога в сердце своем, а ответ будет; и во всяком сердце розно Бог говорит, смотря по тому, на что он создал каждого человека, так или иначе поставил его в таких или иных обстоятельствах, и наложил на него такой или иной крест. Слава Богу, я слышу, что вы не дождались чужих слепых советов, а настроили уже отчасти жизнь и совершенно душу на подвиг жизненный, святя свое горе покорностью и служением тем человеческим, христианским сочувствиям и попечениям, которые наполнили сердце покойника, никогда не умирающего для вас. Через вас продолжится его деятельность к добру в более тесных пределах, но, может быть, тем с большею и более проникающею силою. Великое утешение для мысли то, что добрый не умирает даже на земле: в нем есть сила, переживающая, укрепляющая тех, которые имели счастье любить его.

Сами вы знаете, какое пережил я горе или, лучше сказать, в каком я горе живу. Пережить горе настоящее нельзя, да и не дай Бог; но мне часто в утешение приходит чувство и ясное сознание того, чем и как многим внутри себя обязан я моей покойной Катеньке, и часто слышатся мне внутренние упреки за то, что я далеко не разработал и не разрабатываю все наследство духовного добра, которое я получил от нее. Дай Бог вам свой подвиг совершить лучше моего. (VIII 398)

¹⁰⁹) Рожд. Арсеньева (1833—1875), основательница Об-ва вспоможения раненым.

И. С. Аксакову

5.

... Я прискакал из Донкова в Тулу к выборам¹¹⁰⁾ по чувству долга, и не жалею. Общая физиономия собрания была лучше, чем ожидали. В первый день встреча мне была свирепа до комизма; во второй придрались к тому, что я во фраке, и потребовали моего удаления; я возвратился в чужом мундире.

В последний день у меня же спрашивали совета те, которые сначала хотели меня повесить. В уезде нашем выбраны негодные депутаты, в том числе Коптев, брат воспетого; за то в Белеве Елагин, б. Черкасов и Павлов, брат Верейского. Вообще, итог депутатов очень сносен, хотя есть и большие негодяи и много плантаторов. Большинство сомнительно. От правительства князь Черкасский и Самарин¹¹¹⁾. Черкасский приобрел доброе мнение почти всех и привел в истинное благоговение Д. Н. Свербеева ловкостью своего поведения. Пять дней собрания подвинули дело эмансипации на основании собственности части земли для крестьян весьма значительно. Теперь вопрос, что́ будет в комитете.

(1858).

(VIII 357)

И. С. Аксакову

11.

... Ваше желание уединенного труда и сосредоточенной мысли очень понятно, и я точно так же радовался бы, как и все ваши домашние, если бы это желание исполнилось, но не на такой длинный срок. Я знаю вас и уверен, что вы так бы компактно устроили этот труд, что вам далеко меньше двух лет понадобилось бы для прекрасных результатов; но чего желать для пользы общей, право, не знаю. Странно наше, так ска-

¹¹⁰⁾ Дворянским.¹¹¹⁾ Петр Феодорович.

зять, островное положение в русском обществе. Чувствуешь, что мы более всех других люди русские и в то же время, что общество русское нисколько нам не сочувствует. Чувствуешь, что нельзя по совести не стараться образумить это общество, а в то же время, что это чисто внешнее действие не может быть нашим призванием; а нас так мало, что никому нельзя отлучаться от своего дела: не кем заменить. Вот и теперь Самарин уехал, и слава Богу; пусть отдохнет, окрепнет, освежится; пусть хоть сколько-нибудь в жизни погуляет; а все-таки чувствуешь, что есть уже для нас потеря в одном деятеле, если не литературном, то общественном. (Надеюсь, что он будет в Беседу письма писать). Но его отсутствие из Петербурга уже для общего дела нехорошо, и я за Кошелева больше боюсь, чем при нем. Очевидно, он (т. е. Кошелев) несколько запутался; но что же Черкасский? Этот других путает, да ведь не трудно при этом и самому сбиться с толку. (VIII 268) (1859)

Александр Фёдоровичу Гильфердингу

10.

Про себя я вам до сих пор ничего не писал. Причина та, что и писать нечего. Как-то я оглупел сильно, точно будто в высокие чины пошел. Утешаю себя надеждою, что это явление временное и не обязательное для будущего. Приписать его занятиям охотою и хозяйством не могу потому, что не замечал такого влияния прежде; скорее можно приписать его большой возне с Комитетом и беспрестанному соприкосновению с представителями дворянства. Здесь Комитет идет довольно скверно, несмотря на присутствие многих дельных и хороших людей. Теперь возимся с получением согласия Комитета на публичность заседаний. Я говорю, как будто сам участвую; действительно, я беспрестанно в Туле и в совещаниях домашних. Князь Черкасский (депутат от правительства) великолепен: образец парламентского деятеля и оратора. В этом ему отдают справедливость даже враги. (VIII 316)

Е. И. Свербеевой¹¹²⁾

Несправедливы вы, уверяя, что я никогда вам не отвечаю. Я помню, что я отвечал всегда или почти всегда; но именно на сей раз отвечать не могу, или лучше сказать, отвечаю не своею рукою. Меня так искусно кучер вышвырнул из тарантаса, что я три дня мог только лежать и то с большими болями в левом вертлуге. Не переломлено, и я думаю, не вывихнуто; но все бедренные сухожилия так растянуты, что в них стоит постоянная боль, как будто бы их вымолотили цепами. Теперь немного могу сидеть, но вовсе не в таком положении, чтобы можно было писать. Не будь только этого, я, хотя не ожидая вашего письма, а по известию от Аксакова, уже написал бы тому дня три то письмо, на которое вы меня вызываете.

Известие о болезни Самарина¹¹³⁾ меня очень огорчило, хотя я уверен, что последствий никаких не будет. Еще прежде, т. е. зимою, когда неизвестно еще было, что он поступит в петербургский комитет, я советовал ему отдохнуть в чужих краях от самарского комитета и признавал это необходимым.

Человек этот не может работать через пень-колоду: он весь в своем деле и умом, и душою. Во всем видит он исполнение долга. Самолюбие в теперешнем деле он, конечно, к делу не примешивает; затерянный в толпе сорока человек, которые сами затеряны в Ростовцевской фирме, конечно, он вовсе не думает о прославлении себя. Им управляет глубокое чувство человеческое и христианское, и вот почему работа и неудовлетворенное желание добра опасны для его жизни. Да, вы совершенно правы, говоря о моем братском или оте-

¹¹²⁾ Воспетая Е. А. Баратынским и Н. М. Языковым, Екатерина Александровна Свербеева (урожденная княжна Щербатова, родственница жены А. С. Хомякова) — супруга Дмитрия Николаевича, «Записки» которого были изданы в свет.

¹¹³⁾ Юрий Федорович Самарин, по приезде в Петербург для участия в трудах так называемых Редакционных Комиссий, тяжело заболел и должен был уехать на некоторое время лечиться в чужих краях.

ческом чувстве к нему. Мне кажется, что эта натура, выработавшая в себе волею и совестью всю чистоту, которая Валуеву была прирождена (разумеется, я, впрочем, знаю, что они друг на друга вовсе не похожи). Скажите только, как этот другой, любезный фанатик долга не любит его? Разве как Кальвин не любил Сервета?

Душевно вас благодарю за ваше доброе дело. Если Бог даст, дня через два, мне можно будет сесть к письменному столу, первые мои строки будут к вашему назначению. Еще раз душевно благодарю вас и за него, и за себя. Ваша добрая дружба никогда не изменится. (VIII 407-408)

(1859).

И. С. Аксакову

13.

... Я все еще не оправлюсь и даже вовсе недоволен своей ногой: подозреваю внутренний разрыв в сухожилье. Впрочем, жду снега, да все задерживают здесь открытия. Кажется, я напал на след, на признаки божества, которого ищут для газа. На днях узнаю повернес¹¹⁴).

Я очень рад, что было публичное заседание общества, и без меня. Мне кажется, что для разнообразия лучше. А хоть и кланяюсь Шиллеру глубоко, немцев бы не потешил. "Möge Ihnen auch ein Schiller entstehen". Чувствуете тут скрытое свинство? Чорта с два! Будет, дескать, у вас дураков Шиллер. Ну, да все-таки хорошо¹¹⁵).

(VIII 370)

(1859).

¹¹⁴) А. С. Хомяков открыл залежи каменного угля и начал его разрабатывать при селе Обидиме, близ Тулы.

¹¹⁵) Это относится к ответу, присланному из Германии, на приветствие Общества Любителей Российской Словесности по поводу столетнего юбилея Шиллера. Приветствие было послано, вопреки горячему возражению К. С. Аксакова.

Князю Владимиру Александровичу Черкасскому

Получено на Камен. Острове в июне 1860 г.

Любезный князь!

После многих треволнений, кажется, Комиссия не далека от пристани, и при входе в нее едва ли можно ожидать слишком опасных подводных камней. Последние шквалы только доказали, что есть решительное течение, пособляющее нашему пути.

Вы знаете, и я нисколько не скрывал, как во многом я несогласен с направлением Комиссии, как досадно мне, что она нигде не утвердила прав крестьянина на поземельную собственность, не утвердила за ним инициативы в деле освобождения, не утвердила за ним значения непосредственного гражданина, не утвердила за общиной ее естественной и исторической автономии и т. д. Все это было возможно только при обязательном выкупе. Все уже переговорено не без больших споров и маленьких раздражений; но, во-первых, я признаю, что ваш проект, помимо выкупа, из худых лучший, а, во-вторых, желаю успеха всякому принятому проекту, лишь бы он давал свободу не безземельную и не разъединенную. Вот почему я вам теперь посылаю предложение о финансовой штучке, которая, по-моему, крайне нужна; ибо весь успех эмансипации зависит от финансовой жизни во всем обществе. Пожалуйста, сообщите ее вашим финансовым сотрудникам и, если вам будет не скучно, сообщите мне свое и их мнение. Лично я уверен в ее успехе и боюсь только, как бы она не показалась слишком простою. (Не погневайтесь на сию московскую иронию). Если же вы будете согласны с нею, т. е. не с штучкою, с которою не согласитесь, а с предлагаемою операцией, то употребите все силы для ее осуществления. Поверьте, она все или почти все уладит...

(VIII 465-6)

ОГЛАВЛЕНИЕ

А. С. ХОМЯКОВ (его личность и мировоззрение)	3
Из воспоминаний Ю.Ф.Самарина о А.С.Хомякове	44
I. СТИХОТВОРЕНИЯ	49
II. СТАТЬИ ИСТОРИКО-КРИТИЧЕСКОГО И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА:	
Мнение иностранцев о России	79
Мнение русских об иностранцах	102
Разговор в Подмосковной	136
Предисловие и послесловие к биографии лорда Меткальфа	163
Речь, произнесенная в обществе любителей русской словесности	170
К сербам. Послание из Москвы	172
III. БОГОСЛОВСКИЕ СТАТЬИ:	
Опыт катихизического изложения учения о Церкви	207
Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях	230
По поводу одного окружного послания Парижского архиепископа	274
По поводу разных сочинений Латинских и Протестантских о предметах веры	300
IV. ПИСЬМА А. С. ХОМЯКОВА	317

Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.

Цена: \$3.00

